

ISSN 0132-0637

1997

2

Октябрь

Октябрь

2 1997

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

2

1997

ФЕВРАЛЬ

Общественный совет: Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ,
Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛГИН, А. ГЕЛЬМАН,
Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Р. КИРЕЕВ, Д. КУГУЛЬТИНОВ,
А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, Р. САГДЕЕВ, Л. САРАСКИНА,
Вад. СОКОЛОВ, Л. ФИЛАТОВ, И. ФИЛОНЕНКО, Ю. ЧЕРНИ-
ЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

В Н О М Е Р Е:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Вячеслав ПЬЕЦУХ. Два рассказа	3
Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР. Новые стихи	18
Олег ПАВЛОВ. Дело Матюшина. Роман. Окончание	23
 <i>Послесловие</i>	
Беседа с Олегом Павловым	75
Денис ВИНОГРАДОВ. И время ждет стрелы... Стихи	77
Мария ГОЛОВАНОВСКАЯ. Противоречие по сути. (Contradictio in anjecto) Маленький роман	81

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Ирина МЕДВЕДЕВА, Татьяна ШИШОВА. Новое время — новые дети?	122
Евгений ПЛИМАК, Вадим АНТОНОВ. Накануне страшной даты. К 60-летию процесса Тухачевского	149

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

«Это светлое имя — Пушкин»

По страницам Онегинской энциклопедии. Вступление
Н. И. МИХАЙЛОВОЙ 161

Николай БОЛДЫРЕВ.
Чистое истечение бытия. Пушкин и дзэн 175

Записки литературного человека

Вячеслав КУРИЦЫН, Алексей ПАРЩИКОВ.
1996 184

В несколько строк

Рубрику ведет Б. Филевский 191

Распространением журнала «Октябрь» в зарубежных странах занимаются государственная внешнеторговая фирма «Наука-экспорт» и акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах.

Адреса фирм-агентов «Науки-экспорт» вы можете узнать

по факсу: (095) 334-74-79, 334-71-40,

по телефону: (095) 334-76-10, 334-70-49.

Адреса фирм-агентов А/О «Международная книга» —

по факсу: (095) 238-46-34,

по телефону: (095) 238-49-67,

по телексу: 411160.

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **И. Н. БАРМЕТОВА** (заместитель главного редактора),

Н. К. ЛОШКАРЕВА (заместитель главного редактора),

И. К. НАЗАРОВА (отв. секретарь).

Редакция: **А. Н. АНДРЕЕВ** (проза), **И. А. БРЯНСКАЯ** (публицистика),

А. В. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ (критика), **И. Ю. КОВАЛЕВА** (проза).

Технический редактор **Т. С. Трошина.**

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Сдано в набор 30.12.96. Подписано к печати 24.01.97. Формат 70x108½.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.

Тираж **10185** экз. Заказ № 1008. Цена 14 500 руб.

Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 1794 экз.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор — 214-62-05, заместители гл. редактора — 214-63-64,

214-69-37, ответственный секретарь — 214-34-44, отдел прозы — 214-51-68, отдел

поэзии — 214-69-37, отдел критики — 214-71-34, отдел публицистики — 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

Типография издательства «Пресса». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

© «Октябрь». 1997. Электронная версия журнала в: Русский клуб <http://russia.agama.com>.

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Два рассказа

ЛЕВАЯ СТОРОНА

Село Покровское, что на Оке, стоящее не так чтобы близко, но и не то чтобы далеко от того места, где Ока под Нижним впадает в Волгу, издавна делилось на две недружественные части, искони существовало тут как бы два самостоятельных поселения — левая сторона и правая сторона. Возможно, по той причине, что на правой стороне жили выходцы из Сибири, вроде бы даже отдаленные потомки польских сепаратистов, причастных к мятежу 1830 года, заборы здесь глядят прочно, как свежее войско, ворота у мужиков тесовые, наличники все фигурные, сельхозтехника покоится под окнами такая ухоженная, что любо-дорого посмотреть. Не то — левая сторона: словно на обитателей левой стороны нашла повальная меланхолия или им не благоприятствует здешний климат — такое у них кругом нестроение и разор. Впрочем, виды на левой стороне не просто неприглядны, а как-то затейливо, неспроста, например, у цыгана Есенина изба крыта соломой, но не по обрешетке, а по железу, имеется каменная пожарка, в которой никогда не стояло ни одной пожарной машины, и при ней облупленная каланча, с которой видать чуть ли не Арзамас, на задах у Вени Ручкина торчит памятник генералиссимусу Сталину в виде бюста, почему-то выкрашенный в жидкий зеленый цвет.

Уже погаснет на востоке Венера, звезда весенняя, уже красно солнышко взойдет, всегда дающее поутру прежние государственные цвета, и задымятся черные крыши сараев, уже на правой стороне отголосит сельхозтехника, оставив по себе смрад, вылезет откуда-то, весь в соломе и картофельных очистках, деревенский дурачок Гамлик, которого на самом деле дачники прозвали Гамлетом, принцем датским, поскольку он безнаказанно поносил советскую власть даже в самые опасные времена, уже дети пойдут в школу, по дороге тузя друг друга пестрыми рюкзачками, когда мужики левой стороны начинают подтягиваться к пожарке, рассаживаются где попало, кашляют, курят, охают, сопят, вообще скучают, пока у них мало-помалу не наладится разговор.

— Суки вы, парни! — говорит цыган Есенин. — Совсем я с вами сбился с жизненного пути!

— Ты давай не обобщай, — говорят ему с другого конца скамейки, — а всегда критикуй конкретно. Ты с кем вчера, предположим, пил?

— Да с тобой и пил, ты чего, совсем уже опупел?!

— Что пил, я помню, а с кем конкретно пил — это туда-сюда...

— Ну и что же ты, предположим, пил?

Напротив пожарки хлопает калитка, и в сторону компании направляется мрачный Колян Угодников — в оскаленных зубах папироса, руки в карманах брюк. Его жена по пояс высовывается в окошко и вопит так, что ее слышит вся левая сторона:

— Ты куда, стервец? А картошку сдить?!

Кажется, один Угодников ничего не слышит, мужики же возле пожарки посмурнели и нехорошо задумались про картофельную страду.

— А пил я, товарищи, самогон. Приехала ко мне вчера теща из Ардатова и привезла тамошний самогон. Ничего... Все-таки домашнее, только мышами

пахнет. А наутро теща и говорит: «В следующий раз я целый чемодан самогона привезу, чтобы ты обпился и околел...»

— А я вчера,— говорит Угодников,— украл у своей скво мешок картошки и продал дачникам за две бутылки какого-то заграничного шнапса.— Не сказать, чтобы это была водка, но и не подумаешь про вино.

— Я интересуюсь: а самочувствие твое как?

Угодников внимательно призадумался и сказал:

— То-то я чувствую, будто мне, братцы, как-то не по себе...

— Я про это и говорю. Пить, мужики, тоже надо с умом, а то недолго и до беды. Вон в прошлом году Ивановы из Васильков выпили с похмельюги невесть чего, а потом их по весне выловили в Оке!

— И ведь, помните, они всей семьей в валенках плыли — и смех, и слезы!

— Это значит, что они зимой окончательно допились.

— Понятно, что зимой, летом в валенках особенно не походишь.

Больше разговаривать было вроде бы не о чем, и мужики опять принялись кашлять, сопеть и охать, мучительно раздумывая о том, где бы добыть винца. Выпить хотелось страстно, как в другой раз жить хочется, если твое существование находится под угрозой, и даже физически необходимо было выпить, ибо у всех то и дело замирало сердце, к горлу подступал спазм и ходили перед глазами оранжевые круги. Общее чувство у мужиков левой стороны было такое, словно их несправедливо лишили чего-то чрезвычайно важного, без чего нельзя полноценно жить, вроде обоняния или запаса дров.

Веня Ручкин сказал:

— Прямо хоть воровать иди!

— А я бы и пошел, даже не задумавшись, если б было чего украсть.

— Вообще-то дачников можно было бы почистить, но это до осени нужно ждать.

— Осень еще не скоро...

— До осени еще глаза вытаращишь — это да.

И опять молчат, слышно только, как напротив хлопает на ветру незапертая калитка.

— Если бы я был верующий,— сказал Угодников,— то я бы прямо упал на колени и взмолился: «Господи, пошли рабу твоему стакан!» А Бог, видя такое мое отношение, взял бы и спустил мне с неба на веревке пол-литра водки...

— А ты попробуй,— подначил кто-то на дальнем конце скамейки,— авось пошлет.

Поскольку алкоголь у Коляна еще со вчерашнего не выветрился из крови, он вдруг действительно рухнул на колени, зашевелил губами и перекрестился неловко, как-то наискосок.

Из-за угла пожарки показалась весьма пожилая женщина, однако не то чтобы совсем уж старуха, Раиса Измайлова, которую на левой стороне все звали тетка Раиса, вдова тракториста Ивана Измайлова, умершего в прошлом году от жестокого перепоя; этот Иван два раза в Оке тонул вместе со своим трактором, замерзал по зимней поре в сугробе, как-то ему проломили колуном голову, но умер он, как ни странно, в своей постели. Тетка Раиса подошла к мужикам и сказала с выражением, ей не свойственным, в котором просклизнула некоторым образом артистическая печаль:

— Обломилась вам, охломонам, нечаянная радость, то есть милости просим выпить и закусить.

Наступила какая-то испуганная тишина, все посмотрели на Угодникова, Угодников посмотрел в небо.

Цыган Есенин сказал:

— Что-то ты, тетка Раиса, загадками говоришь.

— Уж какие тут загадки! — со злостью молвила та и утерла рот уголком платка.— Покойник мой за два дня до смерти, видать, почувствовал недоброе и закопал на огороде канистру браги. А мне наказал: в том несчастном случае, говорит, если я помру, откопаешь бражку через год, пусть в день моей смерти

ребята меня помянут. Сегодня как раз годовщина, как мой пропойца отдал концы.

Мужики левой стороны все как-то сразу приосанились, посвежели, и на чудесном расположении духа отнюдь не сказалось то, что, во-первых, откапывать канистру предстояло собственными усилиями, во-вторых, было даже доподлинно неизвестно, где точно она зарыта, где-то между засохшей яблоней и уборной.

— Ё-моё! — засомневался Угодников. — Ведь это же как минимум пять соток нужно будет перекопать!

— Да ладно тебе, Колян, подумаешь, час-другой помахать лопатой!

— Тем более сегодня так и так картошку тебе не содить.

— Моя скво меня не поймет.

— А ты почаще проводи среди нее воспитательную работу!

— Вот что, тетка Раиса, — сказал Венья Ручкин. — Если ты про канистру бражки правду говоришь, то низкий тебе поклон от нашего сельсовета. Но если это провокация, если тебе нужно просто-напросто огород перекопать, то я тебе кур дустом потравлю, чтобы ты знала, как дурачить простой народ.

— Это вы как хотите, — равнодушно сказала Измайлова, — мое дело — волю незабвенного усопшего передать. Я сама не пью, я через эту пьянку такого натерпелась, что до самой смерти не забуду, а для вас двадцать литров бражки, поди, не шутка.

Двадцать литров браги — это точно была не шутка; мужики заплевали свои окурки, побежали за лопатами по дворам, и минут через десять все собрались на задах у тетки Раисы, именно в пространстве между засохшей яблоней и уборной, где была навалена прошлогдня картофельная ботва. Не явился один отщепенец Шукин, которого, как впоследствии оказалось, жена связала и засунула под кровать.

Уже солнце стояло порядочно высоко, уже мужики с правой стороны своим ходом приехали на обед, обдав село смрадом, загадочный дурачок Гамлик забрался под крыльцо магазина слегка соснуть и в обыкновенное время пронесся в направлении Ардатова молоковоз, когда первая штыковая лопата врезалась в землю и работа, что называется, закипела.

Откуда только силы взялись: и получаса не прошло, как между засохшей яблоней и уборной образовался чуть ли не котлован. Весенним делом было еще свежо, но мужики левой стороны работали голыми по пояс, обливались горячим потом, кряхтели, матерились, а недра все не отдавали канистру с заветной бражкой.

— Сейчас мы проверим, есть Бог на небе или это одна фантазия, — подзадоривал товарищей цыган Есенин и, в общем, напрасно, потому что азарта мужикам было не занимать.

Так прошел час, и два, и уже третий час открыл хладнокровный счет, компания начала нервничать и с ненавистью поглядывать в сторону тетки Раисы, которая варила на костерке картошку для поросят, когда чья-то лопата отчетливо звякнула о металл.

Мужики на мгновение замерли и выкатили глаза, словно у всех одновременно схватило сердце, потом все поглядели на Угодникова, — Угодников поглядел в небо. Тем временем Венья Ручкин припал к земле и, ухватив у штыка лопату, принялся ею орудовать, как совком. Через пару минут показалась круглая алюминиевая крышка, обличавшая молочную канистру, которую еще называют флягой, и компания восторженно замычала. Радость, однако, была преждевременной, ибо даже после того, как канистру окопали со всех сторон, вытащить ее оказалось невозможным.

Мужики расселись по краям котлована и начали совещаться.

— Что-то я не пойму, ребята, в чем тут загвоздка, — говорил Венья Ручкин. — Двадцать литров бражки плюс сама канистра потянет килограмма на три, а создается такое впечатление, что эта зараза весит, как «Беларусь».

— А может быть, там не бражка, а клад золотых монет?

— Держи карман шире! Ты покойника Измайлова не знаешь, он, гад, по-ди, кирпичей туда наложил.

Юля.— Кирпич тоже денег стоит. Разве что он натолкал в канистру булыжников, или ржавых гвоздей, или другую какую дрянь.

Кто-то заметил:

— Тайна, покрытая мраком...

— Ничего! — сказал Венья Ручкин. — Я все равно эту тайну разъясню, загнусь тут на месте, а разъясню!

И он, призадумавшись, что-то зачертил палочкой на песке.

— Все-таки причудливый у нас народ, — сообщил Угодников, теребя и комкая свое ухо. — Год, как человек помер, должно, уже истлел полностью или частично, а таки исхитрился через год после смерти кинуть подянку товарищам по беде!

— А у него вообще была такая вредная повадка, он всю дорогу насмешки строил. Помню, как-то говорит: «Вы, мужики, напрасно не рвите сердце, вы, говорит, главное, возьмите в толк, что культурный уровень нашего села приближается к африканскому, только заместо тамтама у нас гармонь».

— А хрен его знает, может быть, так и есть. Что мы вообще знаем о положении дел в природе? То-то и оно, братцы, что ничего!

— Вон ежик бежит, — подхватил Угодников эту мысль, и все стали озираться по сторонам: действительно, неподалеку от засохшей яблони мелко сел ежик. — Вот ежик, а ведь он даже и не знает, что он, ежик, из разряда млекопитающих, так и мы. Я думаю, что я Николай Петрович Угодников, а на самом деле, может, я никакой не Угодников, а герцог аравийский или пуговица от штанов.

— Ежика-то, положим, не жалко, хотя ежика тоже жалко, раз ему выпала такая доля пожить у нас, а по-настоящему жалко... вот так сразу даже и не сообразишь, как назвать, жалко чего-то до слез — и все! Бывало, оторвешься от журнала «Огонек», поглядишь в окошко на свой забор, и прямо слезы душат, точно мимо родного покойника пронесли...

— Кстати о покойниках: это у Измайлова фляга архиерейского образца, во всем нормальном мире давно перешли на тару из искусственного стекла...

Между тем Венья Ручкин в мучительной задумчивости по-прежнему что-то чертил палочкой на песке. Он время от времени поднимал глаза к небу, щурился, загадочно улыбался и что-то нашептывал сам себе. Мужики уже давно сбились на другую тему и говорили о безобразных закупочных ценах на молоко, когда Венья Ручкин значительно кашлянул и сказал:

— Значит, мужики, так! Ты, Есенин, возьми кого-нибудь с собой и тащите сюда лагу, которая у тебя валяется на задах. Ты, Колян, иди попроси у тетки Раисы трос. У нее точно должен остаться трос, я сам видел, как Измайлов на лесопилке его украл. Остальные несут гвозди и топоры. Общественное дело, ребята, надо постараться, а то к чему все эти перипетии, зачем живем!..

Вскоре прибыло лежалое бревно, обтесанное с двух сторон, обнаружился целый бунт троса, явились гвозди, топоры. Полных два часа левая сторона оглашалась стуком лопат, тюканьем топоров, кличем «раз-два взяли», вследствие чего над строительной площадкой даже повисло что-то вроде марева, еще издали пахнувшее горячей смолой и потом. Ровно через два часа на задах у тетки Раисы, между засохшей яблоней и уборной, можно было видеть странное сооружение, в котором было что-то грозно-изящное, древнеегипетское, радующее глаз проблеском той шероховатой, но победительной мысли, какой не знает механически существующая природа. Уже на правой стороне механизаторы обмывались из бочек с дождевой водой, задымили летние кухоньки, слышались приятные вечерние голоса, чья-то затренькала мандолина, когда Венья Ручкин величаво взмахнул рукой: мужики поднатужились, блоки заскрипели, и канистра словно через силу, этаким побеспокоенным покойником тяжело вылезла из земли. Вылезла, воспарила примерно на двухметровую высоту и закачалась на тросе туда-сюда. К днищу канистры был приварен отрезок рельса.

— Вот зачем он это сделал? — произнес в тяжелой задумчивости Веня Ручкин. — Поди пойми...

— А зачем он в восьмидесятом году выкрасил своей короле зеленкой хвост?

— Погодите, товарищи: еще окажется, что он в канистру булыжников на-толкал...

— Нет, это вряд ли. Это будет даже для Измайлова перебор.

— А если в канистре все-таки бражка? Ё-мое, ребята, это ж неделю пить!

— Ну, неделю не неделю, а до завтра заботы нет.

Угодников сказал:

— Не берите в голову, мужики. Послезавтра, если что, я еще раз Богу помолюсь, и, глядишь, опять совершится чудо.

— Я пятьдесят два года существую в этой стране и, кроме налога на ябло-ни, что-то не упомяну других чудес.

— А, по-моему, у нас кругом сплошная таинственность и прочее волшеб-ство. Вот, предположим, наша бригада который год собирает по десять центне-ров зерновых, и ничего, стоит Россия — разве это не чудеса?!

Тем временем Веня Ручкин спустил канистру на землю, с некоторым уси-лием открыл крышку, и воздух сразу наполнился хлебно-пьянящим духом.

— Бражка! — ласково сказал цыган Есенин, и лицо его расцвело. — Я, ре-бята, обожаю бражку, хотите верьте, хотите нет. От водки все-таки дуреешь, а бражка как-то скрашивает, окрыляет... Одним словом, правильное питье.

Тут подоспела тетка Раиса с вареной картошкой, кислой капустой, соле-ными груздями, пирогами с рыбой и поминальным гороховым киселем. Мужи-ки левой стороны расселись вокруг канистры и начали пировать. Бражка вооб-ще не сразу сказывается на рассудке, и поэтому первое время развивался худо-бедно содержательный разговор. Впрочем, уже после третьей кружки заметно ослабли причинно-следственные связи и как-то взяли патинкой голоса.

— Я интересуюсь: а чего пьем?

— Не чего, а по какому поводу. Сегодня пьем благодаря безвременной кончине Ивана Измайлова, который, если по правде, был заноза и паразит.

— Каждый день у нас, товарищи, праздник — вот это жизнь!

— Я сейчас разьясню, почему. Потому что настоящих народных праздни-ков у нас нет.

— А у меня, наоборот, такое понятие, как будто я каждый день именинник, ну и приходится соответствовать настроению, то есть с утра заливать глаза... После, конечно, настроение понижается, и к вечеру обязательно требуется че-го-нибудь изломать.

— Это я понимаю, вернее сказать, не понимаю, а знаю, что так и есть. Вон мой Васька давеча в школе глобус ножом изрезал. Я его спрашиваю: ты зачем, паскуда, изрезал глобус? А ему и самому невдомек, изрезал и изрезал, видно, что-то в крови у него не так.

Вдали показался отщепенец Шукин, который волочил за собой обрывок бельевой веревки, зацепившийся за ремень. Подойдя, он присел на корточки возле канистры, достал из кармана кружку и стал ее внимательно протирать.

Веня Ручкин ему сказал:

— Все-таки слабо в тебе, Шукин, бьется общественная жилка. Обидно, ко-нечно, но это так.

Ко всем прочим добродетелям мужики левой стороны еще были и незло-памятны, и в скором времени Шукин уже храпел, лежа на земле и трогательно сложив ладони под головой.

Колян Угодников говорил:

— Я почему обожаю выпить?.. Потому что примерно после третьего ста-кана мне приходят разные красочные видения. Я уже не вижу, что у меня на-против вонючий пруд, а мерещатся мне какие-то мраморные лестницы, фонта-ны, и моя сква разгуливает в газовом платье до полу и по-иностранному гово-рит. Я что думаю: вот обитаю я в Нижегородской области, а может быть, от природы я рассчитан на Амстердам?!

— Я вот тоже десятилетку закончил, мог бы, предположим, выучиться на зоотехника, а вместо этого я имею нищенскую зарплату и сахарную болезнь.

— Не говорите, мужики, не жизнь, а тайна, покрытая мраком!

— Это точно, соображения в нас не больше, чем в каком-нибудь млекопитающем, ну ничего непонятно, аж жуть берет!

— Ты еще про ежика расскажи...

Затем разговор мало-помалу мешается, сбивается с пятого на десятое, и, когда мимо усадьбы Раисы Измайловой проезжает на велосипеде механизатор с правой стороны и неодобрительно покачивает головой, мужики уже положительно не в себе.

Характерное обстоятельство: на правой стороне и живут дольше, и собирают без малого канадские урожаи, а между тем левая сторона дала России одного лирического поэта и одного видного изобретателя, который замучил одиннадцать министерств.

ЧЕЛОВЕК В УГЛУ

В городе Грибоедове, на улице Дантона, в деревянном ветхом домишке с обломанным петушком жил бывший учитель рисования 2-й городской школы Валентин Эрастович Целиковский, который был тем известен завсегдаям грибоедовского базара, что он все ангелов рисовал. Ангелами по субботам торговала его жена, маленькая тетка с темными-претемными, какими-то нехорошими глазами, поскольку сам Целиковский был человек нездоровый и, вероятно, часу не выстоял бы в ряду, где продавались глиняные копилки, игрушки, поделанные из дерева, шкатулки, сшитые из цветных открыток, тряпичные коврики, вышивка под стеклом и прочий бедняцкий аксессуар. Валентин Эрастович страдал сахарным диабетом, гипертонией, ишемической болезнью сердца и бессонницей, к тому же он был туг на левое ухо, как государь Александр I Благословенный, но только, разумеется, не в результате учебных стрельб, а в результате того, что младшая дочь гвоздем у него в ухе поковыряла, когда он однажды призадумался невзначай, а тут еще он занемог глазами и начал мало-помалу слепнуть. Сходил Целиковский в поликлинику, но там ему ничего вразумительного не сказали, только велели реже бывать на солнце. Помотался по докторам, практикующим частным образом: один предписал пить настойку пустырника, другой наказал обматывать на ночь голову полотенцем, третий посоветовал как можно больше ходить пешком.

Как раз пешком ходить Валентин Эрастович не любил. Еще в первой молодости, когда он носился с идеей универсального растворителя, ему достался по наследству старый зимовский велосипед, и с той поры он ездил на двух колесах во всякое время года. Зимой езда была неудобной, но Целиковский изобрел скаты с шипами из авиационного алюминия и ездил себе под едко-неодобрительными взглядами горожан, пока весной 1949 года у него не украли велосипед. Эта потеря не сильно его опечалила, поскольку он твердо решил построить новый аппарат оригинальной конструкции и давно копил деньги на детали и материал. Дров купить было не на что, семья обносилась до последней возможности, за электричество не платили с Октябрьских праздников, сам Валентин Эрастович довольствовался одной ложкой сахарного песка, которым он весело похрустывал на весь дом, зато как раз к весне сорок девятого года у него в сарае стоял аппарат оригинальной конструкции, чем-то напоминавший обыкновенный велосипед. Но, когда и его украли, Целиковский впал в настоящее неистовство и даже ходил бить морду начальнику райотдела милиции, которого он считал виновником всех грибоедовских безобразий; скорее всего Валентина Эрастовича посадили бы за нападение на первого городского милиционера, но, к счастью, его хватил жестокий сердечный приступ, и вместо тюрьмы он угодил в больницу. С тех пор Целиковский ходил пешком.

Как ни гнушался он этим способом передвижения, а под старый Новый год, стало быть, 13 января, ему пришлось тащиться пешком к известной веду-

нье Маёвкиной, которая, по отзывам, хорошо помогала от слеза и слепоты. Валентин Эрастович надел джемпер с пуговицами на левом плече, ватное пальто и трюх, обмотал шею длиннющим вязаным шарфом, сунул ноги в подшитые валенки и отправился на прием. Идти предстояло через весь город, на самую его окраину, на Татарки, и Целиковский три раза взопрел, три раза высох, пока дошел.

Дверь ему открыла сама Маёвкина, приятная женщина в пестрой шали. Она провела Валентина Эрастовича в комнаты, опять же приятно пошевеливая плечами, усадила его за стол, покрытый плюшевой скатертью с бахромой, и после молчала минуты три, так пристально глядя ему в глаза, что он сначала опешил, потом испугался, потом взопрел; он вообще часто потел и считал это фундаментальным признаком нездоровья.

Наконец Маёвкина сказала:

— Дайте под мышками у вас понюхаю...

Понюхала и вынесла приговор:

— Весь организм у вас, товарищ, ни к черту не годится, чего ни коснись — труха.

— Это такой диагноз? — с едкостью в голосе спросил Целиковский и от огорченья скосил глаза.

— Это такой диагноз, — подтвердила Маёвкина, — хотите верьте, хотите нет. Как вы понимаете, специальным медицинским образованием я похвастаться не могу, и поэтому человечно, попросту говорю: наблюдается отмирание всех частей.

Валентин Эрастович призадумался, посмотрел на обкусанные свои ногти, потом через окошко на улицу и сказал:

— Интересно, с чего бы это? Что ли, питаемся мы не так?..

— Главная причина болезней — страх. У нас все чего-нибудь трепещут: кто органов, кто пьяных шоферов, кто, что хлеба не завезут, кто старости, кто собак. Поэтому здорового человека у нас практически не найти. Вот у меня, скажем, застарелый гастрит, который развился по той причине, что как, бывало, объявят открытое партсобрание, так я заранее вся дрожу. А вас, товарищ, оттого заели болезни, включая омертвление зрительного нерва, что кто-то вас сильно напугал, когда вы еще существовали в утробе матери, на пятом месяце беременности кто-то вас вредительски напугал.

Целиковский этому сообщению не поверил, но так удивился, что у него выкатились глаза. На всякий случай он решил созвониться со своей матерью, которая вот уже третий год помирала в городе Душанбе.

— Поэтому у вас и организм ни к черту не годится, будем правде смотреть в глаза. Чему нас учит товарищ Сталин? Он нас учит прежде всего правде смотреть в глаза.

— Я правды не боюсь, — сказал Валентин Эрастович, — но полечиться хотелось бы, поскольку годы мои не те.

— Обязательно полечитесь, авось пройдет. Я вам назначаю топленый барсучий жир. Будете его принимать по стакану на ночь — глядишь, организм-то и отойдет.

— Помилуйте, да где же я его возьму?!

— Очень просто: запишитесь в охотники и самосильно добывайте барсучий жир.

— А чего нельзя?

— Ничего нельзя. Хотя хорошо было бы вам влюбиться...

— Сделаю, что смогу.

С этими словами Целиковский положил на плюшевую скатерть сторублевую бумажку размером с ученическую тетрадь, откланялся и ушел.

По дороге домой он завернул на почту и позвонил матери в Душанбе. Стрость как было жаль тридцатки за разговор, но когда разъяснилось обратное пророчество Маёвкиной, эта утрата сместилась на задний план; оказалось, действительно на пятом месяце материнной беременности отец велел ей сделать

аборт, поскольку он прикинул на арифмометре, что в пору зачатия находился в командировке в Талды-Кургане, и, хотя мать не послушалась отцова распоряжений, как видно, для плода без последствий не обошлось.

По дороге домой он думал о медицинском значении страхов и, уже заворачивая в свою улицу, пришел к заключению, что, во всяком случае, в Грибоедове он совершенно здоровых людей не встречал, что по крайней мере жизнь пропитана страхами, как водой. Он спрашивал себя, чего и кого именно он боится, и отвечал: неизлечимых болезней, толчеи на трамвайных остановках, эпилептиков, смерти, удостоверений, бандитов, голода, угара, пожара, зонтичных грибов, секретарей партийных организаций, венерических инфекций, хотя этих ему как будто поздно было бояться, стихийных бедствий вроде смерча, который недавно пронесся над областным городом Ивановом, престонародных физиономий, скандалов, телефонных звонков, женских слез, ночных посетителей, слов «задержитесь на минутку», крыс, почтальонов, атомной войны, последних известий, конца света, автомобильных катастроф, бешеных собак в частности и собак вообще, электричества, купания в водоемах, покойников, высоты, езды на перекладных, диспансеров, контролеров на транспорте, всякого рода физических страданий, битого стекла, сновидений, органов следствия и суда.

Придя домой, Валентин Эрстович устроился в любимом своем углу, между русской печью со стороны лежанки и крашеной тумбочкой у стены. К этому углу он пристрастился после того, как изобрел противопожарную смесь и они с соседом Федором Котовым договорились поставить эксперимент, а именно: пропитать смесью соседский дровяной сарай и поджечь с четырех углов в рассуждении — что-то будет, причем Целиковский уповал на могущество человеческой мысли, а Котов пошел на риск из мрачного скептицизма и предубеждения против людей умственного труда. Сарай сгорел дотла, и Валентин Эрстович трое суток просидел в углу между русской печью со стороны лежанки и крашеной тумбочкой, поскольку сосед караулил его на улице с топором.

Хорошо было в углу, тепло, уютно, как-то умственно, в печи пощелкивало осиновое бревно, безумная дочь Танюша, жившая на лежанке, рычала во сне и посучивала ногами, интересные мысли разворачивались в голове, за окном ветер поднимал поземку, и она билась о стекло, как пригоршни песка. Вошла жена и спросила вкрадчиво:

— Валя, обедать будешь?

Целиковский ответил резко, со злобой:

— Нет!

Единственным человеком во всем Грибоедове, который вызывал в нем тупое раздражение, была, как ни странно, его жена.

По всему выходило, что по его душу явилась старость, если уже ничего нельзя. Он не пил, не курил, не бедокурил по женской линии, и тем не менее противопоказания от Маёвкиной вгоняли его в тоску. Очевидно было, что жизнь кончена, впереди только медленное умирание от сахарного диабета, гипертонии, ишемической болезни сердца и бессонницы, не считая надвигавшейся слепоты, однако представлялось чрезвычайно странным, что такое случилось с ним, точно кто вдруг явился и обобрал. Разумеется, Целиковский осознавал, что со временем к каждому человеку непременно приходит старость как нормальный этап развития организма, если, понятное дело, ты в молодые годы не умер от неизлечимой болезни, не отравился зонтичными грибами, не стал жертвой бандитов, не подох с голоду, не утонул во время купания в водоеме, не угорел... ну, и так далее, но то, что его самого постигла эта гнилая участь, казалось ему удивительным и обидным. В конце концов смерть не так уж и страшна: ну, подумаешь, вырубился, как заснул, разве что навсегда, о чем, между прочим, даже и не узнаешь, а вот когда старость тебя обкорнает со всех сторон, когда сегодня того нельзя, завтра сего нельзя, так это, пожалуй, будет похуже смерти, поскольку ты заживо осознаешь, что мало-помалу превращаешься в огарок человеческий, которому требуется, чтобы его только не шевелили и позволили самостоятельно догореть. А так — ничего не жаль: ни города Грибоедова, который и без него будет постепенно рассыпаться в прах, пока его не покинет последний житель, ни жены, которая поплачет-поплачет и успокоится,

ни ветхого своего домишки, которому осталось стоять максимум десять лет, ни бессмысленной природы, которой ни до чего нет дела, а жаль милого своего угла, единственного прибежища во Вселенной, где и думается привольно, и дышится хорошо. Да еще жаль своего знания о мирах, потому что его некому передать, потому что ни одна зараза по-настоящему этим не интересуется. А так ничего не жаль. Кстати заметить: как, в сущности, разумно устроена утомительная русская жизнь, что смерть тут как бы освобождение, а не смерть.

Особенно досадно, что вместе с его трупом заруют и его знание. Между тем жизнь на Земле уладилась бы куда лучше, если бы люди умели настроить свой разум на глас небес, если бы они слышали общительные шумы...

А вот и общительные шумы: откуда-то издалека и сверху донесся ровный, приятный гул, точно по небу, разрезая воздух, на большой скорости шел троллейбус, и вот уже первый из посланцев мелькнул в окне...

Вошла жена и спросила вкрадчиво:

— Ужинать, Валя, будешь?

Валентин Эрастович ответил резко, со злобой:

— Нет!

Он вообще был плохой едок, и это неудивительно, ибо семья Целиковских, за редкими исключениями, питалась картошкой, капустой и огурцами, а на сладкое подавали одну и ту же шарлотку из сухарей.

Все-таки человек — поразительное создание, а люди с областного радио того пуще. Нет, редкие чудачки, эти люди с радио, ей-Богу: говорят, будем делать передачу о нашем советском Леонардо да Винчи районного масштаба, который и рисует, и изобретает, ну, только что не поет... Отлично, говорю, давайте я вам про ангелов расскажу... Нет, говорят, про ангелов нам не надо, это не созвучно, а лучше расскажите про смесь против пожара или про всепогодный велосипед. Ну, чистые дети: дурням предлагаешь отведать хлеба, а им подавай гвоздика пососать...

Грибоедовское общество охотников помещалось в том же доме, что и парикмахерская, районный земельный отдел и управление леснадзора, в небольшой комнатке в конце длинного и темного коридора, за легкой фанерной дверью. Председателем его был отставной генерал Букетов, маленький бойкий старичок, подстриженный под мальчика, в синих штанах с малиновыми лампасами, в генеральском кителе без погон и с металлическими зубами. Когда Валентин Эрастович пришел записываться в охотники, то даже не сразу его увидел, так как Букетов некоторым образом терялся за несоразмерно большим канцелярским столом, крашенным под орех, среди шкафов для входящих и исходящих, заставленных почему-то банками с заспиртованными пресмыкающимися, и прочих предметов, вроде несгораемого шкафа общества «Саламандра», головы лося на стене с окаменевшими рогами и обиженными губами, наградных вымпелов, ведерного самовара, надраенного до солнечного сияния, копией перовской картины «Охотники на привале»... Даже не так: генерал Букетов как будто представлял собой деталь обстановки, вроде несгораемого шкафа общества «Саламандра», и поэтому сразу его было не углеть. Это помещение показалось Целиковскому настолько не приспособленным для деятельности человека, что он сел на венский стул и ни с того ни с сего спросил:

— А где же вы проводите отчетно-выборные собрания?

Генерал сказал:

— Да в клубе фабрики «Красный мак».

— Так-так, — как бы одобрил это сообщение Валентин Эрастович. — Скажите, пожалуйста, а бывает у вас охота на барсуков?

— Хоть на бегемотов, если имеются охотничий билет и лицензия на отстрел. Но вообще, доложу я вам, последнее время дичи мало, зверь измельчал, хоть прямо со скуки стреляй ворон! Это, конечно, не то, что прежде...

— Когда прежде-то?

— Да хотя бы в гражданскую войну. Бывало, заберешься в плавни с ручным пулеметом системы «Максим» и давай сшибать лебедей — тем, собствен-но, и кормились.

— Неужели вы участвовали в гражданской войне? — усомнился радостно Целиковский, поскольку Букетов казался скорее чином старичок, чем возрастом старичок.

— Да захватил немного, как раз двадцатый, последний год. Воевал я в армии краснознаменного товарища Жлобы, отделенным в седьмом запасном полку. Это, доложу я вам, опасная считалась должность, потому что, попади я в плен, сразу мне пулю в лоб. У черного барона Врангеля было такое правило: весь командный состав вплоть до отделенных — к стенке, а рядовых в строй. Так у нас рядовой состав и таскался туда-сюда, сегодня за единую и неделимую, завтра за Третий Интернационал. Только в последний месяц перед вторжением в Крым наши красноармейцы в плен мало сдавались, зубами колючую проволоку рвали, а в плен не шли. Это потому, что барон Врангель сильно Красную Армию разобидел...

— Чем же он ее разобидел? — с душевным участием спросил Валентин Эрастович, которому очень понравился и рассказ генерала Букетова, и сам генерал Букетов.

— Да тем, что он стал к нам за линию фронта уголовников засылать. У черного барона было по суду только три приговора: смертная казнь, каторжные работы и высылка в Советскую Россию. За военные преступления — смертная казнь, за спекуляцию продовольствием — каторжные работы, те строили ветку Джанкой — Юшунь, а обыкновенное ворье барон высылал за линию фронта, в Советскую Россию. Вот за это оскорбление мы на него и озлились.

Целиковский отчего-то почувствовал в Букетове родственную душу и вдруг спросил:

— А скажите, генерал, вам ангелов видеть не доводилось?

— Об ангелах ничего не скажу, а вот черта видеть доводилось, причем настоящего, при рогах. В сорок третьем году у нас начальник смерша помер своею смертью, все мужики как мужики погибали на поле боя, а этот загнулся от рака прямой кишки. В госпиталь он под дулом пистолета не шел, потому что опасался за свою часть, как бы немец не разложил ее изнутри, и под конец донельзя стал плохой. Выписали к нему жену, а он ее даже не узнает. Она приносит ему обед из офицерской столовой, а он ее спрашивает: «Ты, женщина, кто такая?» Та спокойно так отвечает: «Я, Константин Константинович, ваша супруга Тая».

— Ну а черт-то тут при чем?

— Черт при том, что у этого смершиста, доложу я вам, рога выросли после смерти. Лежит он в гробу, а у него по бокам головы два таких нароста, ну, точь-в-точь похожие на рога!

— А вот мне, поверите ли, генерал, ангелов доводилось видеть, — сказал проникновенным голосом Валентин Эрастович, и в его глазах, как в двух лампадах, затеплились зеленые огоньки.

— Охотно верю, — сказал Букетов. — Если я лично видел черта, то, наверное, и ангелов можно видеть.

— Сердечно рад, что вы меня за сумасшедшего не сочли. А то ведь люди обыкновенно верят в привычные вещи, будь они даже самого фантастического накала. Это как в религии, которые все, как ни странно, держатся на том детском убеждении, что истина, например, в Коране, а все остальное — литература.

— И как же они выглядят, ангелы-то эти, как в церквах нарисовано или как?

— А примерно так и выглядят, как в церквах: тела мало, головы много. Правда, глазки у них крошечные, носик крошечный, ушек почти не видать. Это, наверное, потому, что органы чувств им заменяет разум и они практически не едят. Интересно, что они не видения какие-нибудь, а физически существующие существа, способные как-то передвигаться в космическом пространстве, может быть, просто усилием воли, а может быть, они сами по себе летательный аппарат. Полагаю, что ангелы представляют собой конечный пункт эволюции человека.

— Да где же они водятся, эти ангелы? Откуда они прилетают к нам?!

— Во всяком случае, мы с ними разнопланетяне. Видимо, где-то в бесконечных просторах Вселенной человек развился до того пункта, что сделался ангелом, то есть таким существом, которое живет не интересами плоти, а интересами разума и души. У этой гипотезы имеется то подтверждение, что в каждом новом поколении люди становятся чуточку лучше, незаметно для глаза, а точно лучше. Это как деревья растут; глазу не видать, а они растут. Я по своим детям сужу, которых у меня народилась целая волейбольная команда: что-то, а нервная система у них потоньше. Я как-то прижился, притерпелся к нашим героическим будням, а они — никак. Старший сын под электричку бросился, дочь молодой умерла, консервами отравилась, вторая дочь повесилась ни с того ни с сего, младший сын в тюрьме сидит за политику...

— Враг народа? — сурово спросил Букетов.

— Да нет, его за гиксосов посадили, было такое кочевое племя — гиксосы, которые завоевали Древний Египет в семнадцатом веке до нашей эры. Вот мой младший сын и ляпни при людях, дескать, в жизни мало что изменилось со времен гиксосов. За это необдуманное высказывание его, баламута, и упекли. Следовательно, младший сын в тюрьме сидит за политику, только последняя дочь при мне.

— А чем она занимается?

— На печи лежит. Она у меня, знаете ли, не в себе, сильно затронутая тонким миром и временами впадает в буйство. Ни один сумасшедший дом ее не берет, а меня слушается как Бога, я скажу: «Ну, будет, Таня, детка, угомонись», — она еще немного покобенится и заснет.

— У меня с детьми тоже наблюдаются нелады. Дочь, доложу я вам, вышла замуж за чеха, в Братиславе живет, как будто своих пахарей мало, а сын день и ночь дрессирует свою собаку. До того он ее довел, что она команды по-писаному читает и исполняет. Он напишет, например, мелом на доске «голос», она и залает, пока он не напишет «фу». В результате у собаки открылся сахарный диабет...

— Это, наверное, потому, что он ее во время дрессировки сахаром закормил. Вот у меня тоже диабет, а все потому, что для упрочения связи с ангелами я каждый день съедал по килограмму сахарного песка. Вообще общаться с ангелами могут только исключительные натуры, один из миллиона, а может быть, и того меньше, но появляется дополнительный шанс, если жрать много сахарного песка.

— Между прочим, у меня тоже диабет, — сказал генерал Букетов и весело улыбнулся; сверкнув своими металлическими зубами, как будто это обыкновенное заболевание было отметиной свыше, объединявшей избранный круг людей.

— Тем более приятно было познакомиться, — сказал Валентин Эрастович, встал и надел треух.

Уже выйдя за дверь и остановившись посреди коридора, у бачка с питьевой водой, к которому была приторочена кружка на собачьей цепи, он стал мучительно вспоминать, зачем он сюда зашел. Наконец вспомнил, воротился и заглянул в дверь.

— Я, собственно, приходил записаться в общество охотников, — сказал он, чего-то стесняясь, — чтобы ходить на охоту за барсуком.

— Милости просим, — ответил ему Букетов. — Правда, существуют кое-какие формальности, но мы их по-приятельски обойдем. Давайте прямо завтра и отправимся на охоту. Только на первый случай я вам дам духовое ружье, от этого самого... от греха. Как прикажете записать?

Целиковский назвал себя.

— Ну как же, знаю! Леонардо да Винчи районного масштаба, наша, так сказать, грибоедовская достопримечательность, как не знать! Тот-то я гляжу, мне памятен ваш треух...

Хотя Валентин Эрастович и серьезный был человек, а точно его жаром обдало от этих приятных слов.

Треух же его был действительно знаменит, поскольку во избежание посторонних влияний на головной мозг он таскал его и в теплое время года.

Воротаясь домой, Целиковский вытащил из почтового ящика, приколотенного к скалке, письмо от ведуньи Маёвкиной, удивился и засел с ним в любимом своем углу.

«Вот пишу вам письмо, — разбирал он сквозь стекла очков с большими диоптриями, — куда уж дальше, что уж тут скажешь, кроме того, что теперь вы меня можете презирать. Но, если вам меня хоть капельку жалко, прочитайте, пожалуйста, до конца.

Сначала я хотела молчать, и вы никогда бы не узнали моего стыда, если бы у меня была возможность видеть вас хоть через день.

И зачем только вас нелегкая принесла к нам на Татарки? Так бы я жила себе поживала, не зная сердечной муки. Но уж, знать, на то не наша воля, от судьбы не уйдешь, недаром вы мне снились еще до того, как пришли ко мне за советом. А как вы вошли в дом, так я вас сразу узнала, что вы мой суженый, и прямо вся вспыхнула от любви. Но только что из всего этого получится, счастье или грех, уж вы, пожалуйста, разрешите мои сомнения. Может быть, все пустое.

Только знайте, что с того самого дня вы моя единственная надежда и отрада, родственник человек, и, кроме вас, меня не поймет в городе ни одна живая душа. Короче говоря: да или нет?

Ну вот и все. Даже перечитать страшно. Стыдоба, конечно, только и надежды, что вы сознательный человек».

Валентин Эрастович сложил письмо вчетверо, спрятал его в ящик тумбочки и подумал, что, видимо, это Маёвкина лечит свой застарелый гастрит или у нее такая хитрая терапия против отмирания всех частей. Впрочем, было не исключено, что это серьезно, что у Маёвкиной в самом деле возникло чувство, которое требовало ясности отношений; с одной стороны, лестно было, что при сонме болезней, при самой невзрачной внешности да в его-то годы он сумел ненароком влюбить в себя приятную женщину, но, с другой стороны, это выходила новая тягота, требующая определенного, а главное, совершенно излишнего напряжения разума и души.

— Па-па, — проговорила с печи безумная дочка Таня.

— Что тебе, детка?

— Пи-ить...

Целиковский зачерпнул солдатской манеркой воды из кадки, подал манерку дочери и опять примостился в своем углу.

А все старость, все болезни, будь они неладны, потому что не огорошь его проклятая слепота, не пойдешь он на прием к ведунье Маёвкиной, на него не легло бы бремя чужой любви, и он по-прежнему весь принадлежал бы общению с ангелами, рисованию, тягучим, уютным мыслям и, пожалуй, тяготился бы только охотой на барсуков. То ли дело в системе Альдебаран: живешь себе безболезненно до восьмидесяти пяти лет по нашему счету, потом на законном основании принимаешь специальную таблетку, и твои малотелесные формы растворяются навсегда... А на планете Земля хулиганство, очереди за мукой, свирепствует американский империализм, соседи ненормальные какие-то, чуть что хватаются за топор, и нет того дня, чтобы жена из-за пустяка не вывела из себя...

Вот теперь еще эта охота на барсуков! Человек с ангелами общается, он, может быть, единственный провидец на все восточное полушарие, который владеет знанием о мирах, который то есть знает, что во Вселенной действует масса совершенных цивилизаций, далеко опередивших земной бардак, — и вот изволь брать в руки какое-то духовое ружье и проливай кровь несчастного барсука...

Все-таки сильно было не по себе оттого, что предстояло расхлебывать внезапный роман с ведуньей. Валентин Эрастович тяжело вздохнул, вытащил из ящика тумбочки перо, чернильницу, ученическую тетрадь и начал писать ответ:

«Прочитал ваше письмо. Мне понравилась ваша доверчивость, искренность, а чувство, которое возникло у вас по отношению к моей скромной особе, взволновало меня до крайности. Но, посудите сами: я человек в годах, занятый делом и вообще не созданный для счастья. Поэтому я недостойн вашей любви и ваша приятная внешность не про меня...»

Завозилась, тихо зарычала на печке дочь, потом между ситцевыми занавесками высунулось ее злое и бессмысленное лицо.

— Ну что ты, Таня, детка, — сказал Целиковский, — угомонись.

Рано утром на другой день, едва побледнела видимость, Валентин Эрастович оделся потеплее, прихватил авоську с вареной картошкой, хлебом, солеными огурцами и отправился к месту сбора. На душе у него было почему-то предчувственно, тяжело.

Сбор был накануне назначен у того самого дома по улице Парижской коммуны, где помещалось городское общество охотников, а также парикмахерская, районный земельный отдел и управление леснадзора. Между сугробами высотой в половину человеческого роста, поскрипывая на снегу и пуская молочные клубы пара, уже переминалась компания охотников, одетых кто во что горазд, например, на отставном генерале Букетове была маленькая тирольская шляпка с пером и самодельными наушниками, которая придавала ему комичный, нездешний вид. Букетов представил новообращенного, охотники незло посмеялись над его ватным пальто и вдруг замолчали, точно все, как один, задумались о своем.

Вскоре подошел крытый грузовичок, который в просторечии называли «полуторкой», компания погрузилась, мотор взвыл, завесив улицу Парижской коммуны густым выхлопом, точно пороховым дымом, и грузовичок, скрипя рессорами, покотился в сторону железнодорожного вокзала, где Грибоедов по касательной задевало Архангельское шоссе.

Примерно через два часа езды прибыли на место, именно в охотничье хозяйство «Тургеневское», которое знаменовал бревенчатый барак, изба егеря и еще какие-то мелкие постройки, стоявшие вкривь и вкось. Спешились и цепочкой прошли в барак, нетопленный, с обледневшими углами, где показалось гораздо холоднее, нежели на дворе. Впрочем, не минуло и четверти часа, как в несколько рук затопили печь, сразу наполнившую помещение теплым чадом, вследствие чего охотники оживились, загалдели, потом повытаскивали из сидоров провизию, бутылки с водкой, запечатанные сургучом, трофейные еще термосы, опасного вида ножи, целлюлоидные стаканы и тесно расселись вокруг стола. Генерал Букетов, однако, не дал компании разойтись; когда охотники сладко задымили папиросами, трубками и махоркой, он поднялся из-за стола, одернул на себе ватную безрукавку, подпоясанную тесемочкой, и сказал:

— Все, товарищи, закругляемся, зверь не ждет!

Задвигались стулья и табуреты, кисло завоняли окурки, сунутые в тарелки с объедками, охотники принялись расчехлять ружья и скоро отправились становиться на номера.

Соседа слева было не видно за кустами сильно разросшейся бузины, а соседом справа оказался маленький мужичок, инспектор райотдела народного образования, который постоянно сморкался, зажав большим пальцем одну ноздрю. Холодно было стоять на номере, скучно и даже глупо; у Целиковского было такое чувство, точно он дал втянуть себя в какое-то ребяческое занятие, малопочтенное по его положению и летам. Он повздыхал-повздыхал и спросил своего соседа:

— Интересно, здесь водятся барсуки?

Инспектор ему в ответ:

— Леший его знает! Я в своей биографии не встречал.

Валентин Эрастович молчал минут пятнадцать, потом спросил:

— А с ангелами вам встречаться не доводилось?

Инспектор высморкался и ничего не сказал в ответ; он помнил Целиковского еще по 2-й городской школе и знал, что на отвлеченные темы с ним лучше не говорить.

Пока в лесу было тихо, разве что зимняя птица сядет на ветку и с нее опадет ком слипшегося снега, произведя звук мягкий, почти неслышимый, словно сосед что-то неразборчивое шепнул. Сыро пахло снегом, ели кругом стояли высоченные и как бы себе на уме, серое небо наводило уныние, но, когда вдруг на пару минут проглянуло солнце, в воздухе точно заиграли металлические пылинки, и на сердце несколько отлегло. Если бы инспектор не сморкался, совсем было бы хорошо.

Думалось о том, что здоровая жизнь, обеспечивающая долголетие и бытоустойчивость человеческого организма, есть жизнь, очищенная от налета цивилизации, от всевозможных свывчаев и обычаев, сложившихся, как нарочно, наперекор естественному строению личности и общества, такая жизнь, которая жила бы на простых интересах, нормальных потребностях и коренных инстинктах. Вот он всего с час простоял на номере, тронутый первобытным духом охотника, а уже заметно чувствует себя лучше. Таким образом, освобождение человека от излишних культурных навыков, от тлетворного влияния цивилизации ведет к возрождению по-настоящему жизнеспособного существа. Но, с другой стороны, род человеческий как раз выбрал себе путь физического и духовного обнищания через постоянно расширяющийся круг всевозможных благ, научно-технический прогресс и расслабляющее общественное устройство. Следовательно, человечество само обрекло себя на вырождение вида, последовательно двигаясь от простого и здорового к сложному и больному, и это больше всего похоже на неосмысленное стремление к суициду. К тому все, кажется, и идет: человек окончательно ослабнет, разумная жизнь на Земле пресечется, и настанет вечная тишина. Если, конечно, люди своевременно не станутся с ангелоподобными существами на тот предмет, чтобы перенять их опыт организации здоровой и долгой жизни...

Слева и справа раздались оглушительные ружейные выстрелы, и Валентин Эрастович не сразу сообразил, по кому и зачем палят; впоследствии оказалось, что егеря выгнали на номера здорового косача. Целиковский, подчиняясь какому-то неясному побуждению, тоже решил стрельнуть; он повертел в руках духовое ружье, нажал на скобу, потом на какую-то пупочку, заглянул в ствол, интересуясь, отчего ружье не стреляет, но как раз тут и раздался выстрел: пулька пробила левую ушную раковину, и на снег закапала кровь неправильного, кирпичного цвета, похожего на цвет ягоды бузины, которая там и сям виднелась между темными ветвями и белым-пребелым снегом.

— Так тебе и надо, старый дурак! — сказал сам себе Целиковский. — Не лезь куда не надо, а сиди сиднем в своем углу!

По дороге домой он разглядывал огромную тушу добытого косача, похожего на спящего бегемота, с желтыми вытарашенными клыками, с мутными полуприкрытыми глазными яблоками, и ему было нестерпимо совестно оттого, что он, единственный провидец на все восточное полушарие, по легкомыслию участвовал в таком безобразном деле. Думалось вот о чем: если путь очищения от скверны цивилизации и культуры лежит через такие мерзости, как охота, то уж пусть лучше человечество погибнет в силу цивилизации и культуры.

Инспектор вполголоса жаловался генералу Букетову, указывая глазами на Валентина Эрастовича:

— Всю настроению мне испортил...

На другой день, едва поднявшись с постели и позавтракав холодной картошкой с хлебом, Целиковский засел между печкой со стороны лежанки и крашеной тумбочкой у стены. Еле слышно бубнила радиоточка, печь источала вчерашнее, не пахнущее тепло, безумная дочь Татьяна храпела во сне, как пьяный мужик, верхние стекла окон светились предрассветной голубизной, тоскливо, по-собачьи выл сменный гудок на фабрике «Красный мак». А мысли все хорошие, светлые двигались в голове: это ничего, что жизнь, в сущности, кончена, поскольку так и не удалось разжиться барсучьим жиром, верным средством против отмирания всех частей, зато человечество лет через сто одумается наконец и войдет в сношения с ангелами, которые обучат его спасительной методике бытия; тогда наступит искомый «золотой век», когда все люди станут братьями, сама собой отпадет проблема хлеба насущного, когда государство из мрачного соглядата превратится в добродушного дядьку, когда планета безболезненно избавится от негодяев и дураков; это время наступит сравнительно скоро и непременно, ибо не может такого быть, чтобы род людской, дивно приблизившийся к ангельскому обличью, выдумавший аэроплан, музыку, детекторный радиоприемник, литературу, планомерно двигался бы к нулю...

Кто-то продолжительно и властно стучал в окно, но Валентин Эрастович не услышал стука и поэтому немало был удивлен, когда дверь в комнату распахнулась и перед ним предстал генерал Букетов.

— Вот зашел вас проведать, — весело сказал он, сверкнув металлическими зубами. — Как настроение, ухо как?

— Настроение трогательное, — ответил ему Целиковский, — а на ухо наплевать, потому что оно все равно не слышит. Хоть отрезать его совсем по примеру художника Ван Гога, так как проку от него нет. Только вот думаю, приключение такое мне как будто не по летам.

— Судьба, доложу я вам, не разбирает, кто стар, кто молод, кто предатель родины, кто герой. Вот я в сорок втором году попал к немцам в плен во время нашего весеннего наступления: контузило меня булыжником, свалился замертво и лежу. Ну подобрали меня немцы, посадили в лагерь под Великими Луками, и я через четыре месяца убежал. У наших уже прошел госпроверку, оправдали меня по всем статьям, но в строй назад не берут, потому что у меня голова дергается и в сумерках я ничего не вижу, говорят: давай, капитан, в тыл сапоги тачать. Только на самом деле я нитку в иголку вдеть не мог, не то что сапоги тачать, а существовать не на что, поскольку бывшему военнопленному мне пенсию не дают. Тогда продал я шинель, баян и поехал в Москву добиваться правды. Являюсь в Наркомат обороны, так и так, говорю, в строй назад не берут, работать я через контузию не могу, давайте пенсию, потому что все же надо как-то существовать. Или не надо?.. Ну почему же, говорят, надо, только вот какая закавыка: насчет вашего брата, военнопленного, пока никаких распоряжений не поступало, ждите конца войны...

Безумная дочь Татьяна зарычала, заворочалась на печи.

— Ну-ну, Таня, детка, угомонись, — сказал Валентин Эрастович.

Девушка пару раз всхлипнула и затихла.

— Ну так вот, говорят: ждите конца войны. Я говорю: я не могу ждать, у меня средства на исходе, да еще вчера пропил с инвалидами семь рублей. Хорошо, если война кончится через месяц, а ну как через год? Что же мне, с голоду помирать? Они, как попугай, талдычат одно и то же: ждите конца войны. Ну, думаю, хоть воровать иди! Нет, честно, пришла мне в голову такая больная мысль — пойти к черту, к дьяволу воровать... На мое счастье, один приятель устроил меня командиром банно-прачечного отряда, а то бы я точно сбился с истинного пути.

— У меня в жизни, — сказал Целиковский, — был примерно такой же случай... Когда я строил всесезонный велосипед, понадобилась мне легированная сталь, из которой делают болты для крепления рельсов к шпалам...

Вдруг Валентин Эрастович прервался и сделал тонкое, чрезвычайно внимательное лицо, ибо в эту минуту ему послышались сообщительные шумы. Он тронул Букетова за рукав и спросил его шепотом заговорщика:

— Слышите, генерал?

— Слышу... — сказал Букетов и тоже сделал тонкое, чрезвычайно внимательное лицо.

— Видите, генерал? — Целиковский указал пальцем на неясные лики, появившиеся в окне.

— Как будто вижу...

— Больше сахару надо есть!

— У меня, как вы помните, диабет.

— А вы сходите к ведунье Маёвкиной, она должна помочь.

Впоследствии они частенько собирались в ветхом домишке по улице Дантона, усаживались рядом напротив окна и за душевными разговорами ожидали, не послышатся ли вновь сообщительные шумы. От этого занятия они не отстали даже после того, как между ними черная кошка пробежала, поскольку Букетов женился на ведунье Маёвкиной, и у Валентина Эрастовича с досады возникло к ней чувство, похожее на любовь.

Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР

НОВЫЕ СТИХИ

Ист.мат

ИЗ «СТИХОВ НА ПОЛЯХ»

...колесо истории...

Из газет

Дорожных жалоб праздная усталость —
Неутешительный улов.
Ну, разве что влечение осталось
К мерцанию подтекста между слов
Да пагубная блажь вникать в детали
Движения по встречной полосе,
Где памятные дни, что миновали,
Грызутся, будто волки в колесе.
А в стороне, с которой взятки гладки,
До горизонта плоской и пустой,
Трусит отсюда без оглядки
Единорог с козлиной бородой.
И впрямь — кому охота стать мишенью
И жертвой покаяния, пока
Повсюду зыблется изображенье
Двуглавого цыпленка-табака?
И при заведомом аншлаге,
Очередной очерчивая круг,
Идет раздача мест в ареопаге
И составленье перечня заслуг.
Закладывает уши медным звоном.
И рябь в глазах от ликов и харизм.
И красное спешит прослыть зеленым
В расчете на всеобщий дальтонизм.
Опять к миражному подобью лада
Приводит расстройство свое
Почти материальная триада:
Похмелье. Память. Забытье.
Но снег идет. И ветер дует.
И затевается буран.
Зима. Никто не торжествует.
За неимением крестьян.

Паутина

Бесполезны уловки	Столкновенье мгновений,
С тем, что не удалось.	Остановленный час
Замышляется ловко.	В тесноте полутени —
Получается вкось.	Полусвета, где нас

Под негрозною тучей
 Над зацветшей водой
 Поджидает паучий
 Напряженный покой —
 Тот, который условен
 И почти нарочит
 И не словит на слове
 Никого, кто молчит.

Это старая тема,
 Как четыре стены
 Современности, где мы
 Предопределены

И вольны, и повинны
 Ненароком задеть
 Вековой паутины
 Серебристую сеть.

И сейчас же беззвучье
 Упадет с высоты
 На безлистые сучья,
 На сухие кусты.
 Словно кануло в Лету,
 Не оставив следов,
 Мимолетное лето
 Патриарших прудов.

Последний

...Вдруг произносит имя Сергей,
 Мне схватывающее грудь.
Шервинский

1

Дожив, так сказать, до седин
 И обремененный наследьем,
 Из множества сверстников некто один
 Назначен остаться последним.

А время дыханьем своим
 Развеяло мало-помалу
 Сожженной листвы астматический дым,
 Нечистого снега завалы.

И незачем, в общем, пенять
 На якобы скудость итога,
 В котором всего лишь уменьше понять
 Естественность пережитого.

И всех в заблужденье введя
 Незыблемой мягкостью нрава,
 Небрежно повесив на шляпку гвоздя
 Свою иллюзорную славу,

Однажды обмолвился он,
 Улыбкой смягчая признание,
 Что даже, пожалуй, слегка удивлен
 Медлительностью угасанья,

Что к жизни еще не привык,
 Когда проступили воочью
 Последнего лета мерцающий блик,
 Последней любви многоточье...

И сквозь нарастающий гул
 Никак не могу разглядеть я
 Тот угол, куда он внезапно свернул,
 Едва не дойдя до столетья.

2

Над полднем, который не прожит,
 Натянут линияльный покров,
 Где ветер старательно множит
 наброски резных облаков.
 Морская волна непрогрета.
 Туманится профиль горы.
 И вовсе не тешат приметы
 Какой-то грядущей поры,
 Куда заглянуть — не заслуга,
 И где несомненно одно —
 Что не пережившим друг друга
 Расстаться уже не дано.

Не близясь и не отступая,
 За линией жизни видна
 Пустая от края до края,
 Нездешняя, та сторона.
 И, нашего не разрешая
 Сомнения ни одного,
 Ни мудрость никчемна чужая,
 Ни опыт. И нет ничего
 Бесмысленней и совершенней,
 Чем время, вернее — часы,
 Стремительных стрелок вращенье
 Вокруг неподвижной оси.

Быть может, мы кончимся прежде
 Двойного следа на листе —
 В своей повседневной одежде
 И в смертной своей наготе.
 Что отдали — тем и богаты,
 Да стоит ли помнить о том,
 Когда подытожим утраты —
 И поле, как жизнь, перейдем.

Шехтель

Очертания столицы отчей
 Тонут в зимнем пухе и пере.
 И тысячелетье на дворе,
 У которого бездомен зодчий
 В смутной коммунальной конуре.

Впору усомниться в том, что были
 И другие нравы у страны.

Да и то сказать — кому нужны
Росчерк замка в мавританском стиле,
Плеск зеленокаменной волны?

Линии судьбы несоразмерна
Вечности пунктирная канва.
Хрупкость этой жизни такова,
Что приоткрывает суть модерна,
Не переводимую в слова.

Впрочем, настроение угрюмо.
Делать нечего. И все дела.
Перспектива, как зола, бела.
Слишком резко изменяет сумму
Перемена мест добра и зла.

Так что ни к чему впадать в притворство,
Дескать, брезжит несказанный свет,
Очутившись там на склоне лет,
Где пространственное чудотворство
Неуместно, то есть места нет,

Где ночной дозор стучится в двери
И пореволюционный люд
Без нужды и попусту не лют,
Даже милосерд — в известной мере, —
И лежачего — в гробу — не бьют...

В этом хаотическом движеньи
От ночей неотличимых дней
Совершенно только разрушенье.
Замысел не стоит завершенья.
Звук без эха. Луч без отраженья.
Камень в воду без кругов по ней.

Вариации на летнюю тему

Переживать всего трудней
Июльской лютостью отпетый
Один из бесконечных дней
Точь-в-точь посередине лета,

Когда налево и направо,
То бишь на запад и восток,
Распространяется ожог
Пузырящегося расплава.

Когда нашествие жары,
Сошествие огня без дыма
На переулки и дворы
Несосно и неодолимо.

И поглощает все подряд
Котел кипящего сумбура.
Отчасти, вероятно, ад
С подобной писан был натуры.

И надыхаться можно всласть,
Невольно подойдя вплотную,
Как эта плазменная власть
Перешивает страсть любую.

А после утомленный зной
В своем закатном помраченьи
Багрово-дымной полосой
Сулит отнюдь не облегченье.

Ну, разве что сквозняк со льдом
И то едва ли помогли бы
Подобию двуногой рыбы
С незакрывающимся ртом,

И возвещает, что пора
В ночном участвовать кошмаре,
Надсадный зуммер комара,
Кровососущей Божьей твари.

Калейдоскоп

1

В состояньи одиноком,
Наливая в чашку чай,
Размечтался невзначай,
И помстилось ненароком,
Что по сути и на вид
Все устроится иначе,
Если выпадет удача,
То есть если пофартит,

2

Где-нибудь на белом свете
Затаившись, аки тать,
Поразмыслить — как бы эти
Годы переогодовать.
Что пройдет, то будет мило,
Но боюсь, что на земле
Никого не вразумило
Философствование.

3

Между тем всю клубится
Пестрота и толчея
На засаленной странице
Фолианта бытия.
И в томлении по кошкам
От темна до хрипоты
Серенадят под окошком
Ре-минорные коты.

4

И не пошлость, и не диво
Побывать в чужом пиру,
За которым терпеливо
Поджидают поутру
Недосыпная нирвана,
Чуть похмельная ленца
И двоящийся туманно
Контур женского лица.

5

И, как видно, шансов мало
Догадаться по лицу:
Дело движется к началу,
То ли близится к концу...
Вероятно, чувство мнимо,
Потому-то вновь и вновь
То ли жаждет псевдонима,
То ли рифмы: кровь — любовь.

6

И хотя довольно скуден
Сей лирический навар,
На него летит из буден
Взапуски и млад, и стар.
И клянут потомков предки,
Мол, почтенья нет как нет.
Нынче только этикетки
Соблюдают этикет...

7

В этой суете интимной
Сознаю свою вину,
И ни с кем не по пути мне,
Мне в другую сторону,
Где целительным магнитом
Помогают стол и стул
Не проснуться знаменитым,
Потому что не заснул.

8

Но, в сомненья вовлекая,
Каркнул ворон на дубу:
Если сам творишь судьбу,
То зачем она такая?..
А накатанный маршрут
Дребезжащего трамвая
От чистилища до рая
Тратит несколько минут.



Дело Матюшина

РОМАН

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Он открыл глаза. Над ним стоял бригадир и возвышался в голодном с утра и светлом воздухе. Свежеумытый, с еще мокрыми зализанными волосами, но бескровный, как выжатый.

— Теперь ты встал по-тихому. Привел себя в порядок, чтоб, как у коня, блестело. Больше тебя тут не будет. Шевелись, машина там подкатила... Ну, твое счастье, а то б накормил!

Он дремотно встал, и бригадир повел его, как под конвоем.

В пустующей палате — все едоки поутру сторожили в садике, ждали кормежку — содрал и сгреб в охапку свинцовой серости бельишко. Каптерщик встретил их свеженький и такой же зализанный, но с порога отказался признавать, важничал.

— Полотенец где?

— А чем после душа вытирать? — вцепился бригадир.

— Утрется! Я не давалка, по сто раз выдавать тут принимать. Полотенец мне чтоб сразу был, и барахло пускай забирает.

— Мне помытых приказано сдавать, а потом одетых! Как сказал, так и будет. Ты решил, сучара, ты умней?

Началась было всегдашняя их грызня. Но бригадир и вправду спешил. Матюшин же, блуждая по лазарету под его конвоем, облился водой вареной из душа, нарядился в прокисшую старую гимнастерку, штаны, от которых отвык; и вышли они на жаркое пыльное крыльцо, распаханное со всех сторон солнцем.

— Шагай, шагай! — толкнул в спину бригадир. — Рано еще... Не загораживай... — Окликнул другого, тоже карантинщика, который стоял неподалеку, как новенький, и прощался отчего-то с лазаретными: — Эй, боец, как там тебя, желтушный, окончена свиданка, за мной! — И крикнул оставшимся, сходя в развалочку с крыльца: — Если чего, искать будут, скажите, ушел в штаб!

Матюшин пошагал вперед, волоча колодками никудышные свои сапоги. Вспоротые в Дорбазе военмедом голенища он зашил еще в прошлые дни, когда — не помнил, будто во сне. Сапоги, с рубцом уродским из бечевы, походили на что-то раненое, живое. Точно б выскакивая, по-жабьи выпрыгивая из-под земли, лезли они в глаза и заплетали каждый шаг, тошно кружили голову.

У штаба, всю дорогу к которому застила глаза серая асфальтовая муть, бригадир с желтушником вдруг растворились. Он стоял столбом у этого, похожего на школу, пустопорожнего здания, покуда не услышал, что кричат его фамилию, и только тогда заметил горстку солдат, развалившихся у штаба на скамейке, как придавленных его тенью.

— Матюшин! Ну, чего стоишь? Скажи, не узнал!

От скамейки оторвался и подошел к нему, ухмыляясь, не торопясь, тощий, приклатненного вида солдат, которого он и не узнавал.

— Ну и послал мне Бог землячка, глухого и слепого! Ну, здорово, земляк! Зазнался, что ли?

— Известно, зазнался...— аукнулся со скамейки, обнаруживаясь, довольный собой желтушник.— Мы на полах умирали, а он в столовке, обеды там разогревал.

— Дураки всегда первые умирают,— ухмыльнулся тощий.— Умирай, раз ты дурак. Верно говорю, братва? Я вот в госпитале ничего, тоже не умираю.— И по этой ухмылочке, чуть затаенной, себе на уме, Матюшин вдруг разглядел в нем какого-то состарившегося Реброва.— Вот и свиделись... Как знал, что вместе служить будем, а ты, правда, не дурак, здорово от Молдавана-то сбежал... А сапоги-то, сапоги у тебя, ну и сапожки!

Они стояли в первую минуту одиноко, без желания сойтись ближе, поговорить. Открытие, что оказались они снова в одном времени и месте, было для них одинаково тягостным, хоть Ребров и притворился, что обрадовался землячку. Другие так и сидели рядом, молчали, ждали чего-то бездвижно у штаба, но Матюшин опознал их сам, понимая теперь, что и это свои.

— Нас из госпиталя взяли, а вас, значит, из лазарета. Ты чего знаешь? Куда это нас могут? — цеплялся Ребров, бодро оглядываясь кругом, боясь чего-то не увидеть.— У нас в неделю шесть человек из Дорбаза померло, русских, говорят, от солнца, какой-то токсикоз, так покоя нам не давали, среди ночи подымут — и на осмотр, как на допрос! А у вас чего слышно? Я так понимаю, могут с нами что-то важное, раз дело касается штаба, небось в роту простую не пошлют.

— Ты ж в сержанты хотел...

— Хотел, да расхотел, фруктов грязных объелся.

В этот миг из штаба выскочил бригадир и заголосил:

— Которые с карантина, за мной!

В штабе было чисто и прохладно, только чистота здешняя была поважней — как бумажного листа. Их сопроводил ставший неуклюжим, боязливым бригадир в комнату на первом этаже, которая оказалась красивой, полной бумажных шорохов и будто ослепительно голой от сидящих в ней женщин. Сколько их сидело тут, Матюшин не успел постичь. Но грудь сперло их пряным тепловатым духом. Они сидели повсюду за конторками, заглоченные по горло зеленью тоскливой армейских рубашек, точно болотной жижей, всплывающие только своими круглыми, воздушными от причесок головками. Посреди этого мирка, лишний здесь, томился служивый человек, простой прапорщик, большеголовый, похожий поэтому на собаку. Он молчал тяжело, будто рот его набит был камнями, но молчанием умудрялся производить столько шума — двигал руками по столу, поворачивался и трещал стулом, пыхтел, сопел,— что даже употел. Женщины, верно, были бухгалтеры.

— Будем знакомы,— истужился сказать он, побагровел, смолк.

— Разрешите идти, Климент Лазаревич? — отпрапортовал бригадир.

— Возможно,— буркнул служивый, а когда тот улепетнул, обратился, багровея уж от стыда, к самой пожилой из всех женщин: — Прошу вас начать.

Сидящая у сейфа женщина стала подзывать к себе по списку и выдавать деньги, залазая то и дело в железную утробу рукой. То, что она долго сосчитывала все до копейки, а потом заставляла расписываться, брала и отпускала бумажки денег, точно немая, разговаривая этими жестами, делало очередь потусторонней, долгой. Потом, когда вышли они из штаба и он нащупал в кармане деньги и вынул на свет, их оказалось, без копеек, семь рублей. У него в руках были синюшная пятерка и два деревянных на вид рублика. А у других деньги были то рублями, то трешницами и рублем. Из штаба вышел с ними и служивый, который их теперь сопровождал, сказал обождать и пошагал к стоящей

одиноко невдалеке машине медпомощи — туполобой извозке с крестом. Матюшин удивился, куда можно на ней ехать. Спросил про нее у других и узнал, что забирали их на этой машине поутру из госпиталя. Тут стали смеяться и понимать, что это дали им первую зарплату и отслужили они месяц. Легкие, радостные денежки, будто душонки, парили разноцветно над началом тягостным дня, делая его бесконечно светлым да радужным. Потому слова приклеившегося к ним служивого про отъезд поняли как-то иначе, как и нельзя их было понять, а когда пошагали за сухим пайком, то казалось, что идут на прогулку.

Марево полуденное дышало волей, и, гуляя по полку, как подарков, набирали они консервов, сухарей, даже конфет, и каждый нес в руках по картонной, гремящей гостинцами коробке. А после служивый повел их в чайхану, приказав всем купить себе лимонаду.

В чайхане они накнулись на этот лимонад, выполняя как завороченные приказ, тыча в руки остолбеневшей буфетчице все деньги. Служивый, стороживший на входе коробки с сухпайком, которого крикнула перепуганная женщина, вбежал в чайхану и растерялся, не понимая, чего они хотят. Он стоял милиционером посреди пахнущей халвой, печеньями чайханы, а они у прилавка ненавидели его, как пытку, выдерживая эти запахи. Глядя на них, пытая терпением, сказал сдать каждому по рублю — и так, в складчину, лимонад был все же взят.

— По три бутылки с человека,— сосчитал он вслух даже не лимонад, а деньги их и после разрешил потратиться на сигареты.

Сигарет Матюшин купил украдкой три пачки, самых лучших, уничтожив второй свой рублик. Бутылки сложили в коробку, которую служивый понес сам, а возвращались они отчего-то обратно к штабу, так что Ребров пристроился к прапорщику и шагал с ним впереди, хоть прежде трусил. Но прошли они с удивлением, минуя здание штаба, к унылой, пыльной машине медпомощи, куда в кузовок служивый сказал загрузить коробки да грузиться самим — занимать места, дожидаться.

Он вытащил из кабины бедной коричневый портфель, заспешил в штаб. Никто не двигался с места. Ребров глядел на всех голодно, как-то безжалостно, ничего больше не боясь.

— Лимонад-мармелад...— твердил он про себя, трезвея и смеривая всех с той цепкостью во взгляде, точно высчитывал, кто здесь жилец, а кто не жилец, кому быть лишним.

Покуда они не ехали, стояли как чужие у медпомощи, коробки необычные с сухпайком начали привлекать внимание, накликать беду.

Сползлись к машине серые, щетинистые солдаты. Видя, что офицеров нет, они заглянули хозяйчиками в коробку, где обнаружили бутылки. Ребров, беспokoясь за свой лимонад, подал тут голос, пугнул их начальником:

— Да это нашего командира коробки, не троньте, ребята, он же сейчас придет!

Солдаты, как если б только приметили чужого, остановились, подняли от земли глазастые морды и стали долго, угрюмо на него глядеть, ничего не говоря. Ребров стих. Солдаты — а расхватали они чуть не весь лимонад — подумали и сложили бутылки в коробку.

Когда полковые шатуны отошли, Ребров, опасаясь уже всего движущегося, скомандовал живо, как исподтишка, грузить коробки в машину, так что ему мигом подчинились, а потом и сами заползли в кузов, тоже стали чего-то опасаться. А служивый явился из штаба, обрадовался их порядку, но вернулся он, оказалось, на время, с делом: зачитал две фамилии и, выдернув, что зубы, тех двоих из машины, повел их обратно в штаб; то были Ребров и желтушник, успевший запомниться, отличаться тем, что подхихикивал Реброву, думая, что Ребров из них будет самый верткий, сильный.

Ребров же, когда прапорщик выкликнул его фамилию, стал как стеклянный, глядя на коробки, ведь и слова не было про его сданный в общак рубль.

Желтушник, тот радовался, что их уводят, не вспоминая про свой рубль, потому что был, верно, человеком не таким жадным. В кузове стало тихо. В кабине сытно, неприметно дремал солдат-шофер, откинувшись на сиденье, может, что-то про себя и понимая. Когда они грузились в кузов, он открыл глаза, но ничего не сказал, не сделал, а когда выводили наружу двоих, хлопала дверкой, снова дернулся, поворотил с сонливым прищуром голову, но сказал, зевая и опять усыпляясь сладко:

— Да никуда не поедем...

Это словечко его зевотное вертелось у Матюшина в башке, и он ждал каждый миг, что возвратится, заглянет в кузов служивый и выпустит оставшихся, как по очереди, на свободу. Отчего-то казалось ему, что Ребров с желтушником, когда выпустили их рыбешками обратно в полк, были спасены.

— Трогай! — ворвался в кабину и уж погонял развеселившийся прапорщик, а к ним в кузов впихнулся вдруг из дверки какой-то другой, будто подменили, полный гордости за себя Ребров и крикнул уже им, оглушивая:

— Поехали, братва, прощай, Ташкент! На север отправляют!

Шофер услышал, что надо ехать, важно проснулся, сгрудился над баранкой — так медлительно, с таким трудом, будто взваливал на себя воз этот и все должны были видеть, как он горбится, надрывается, — и вздохнул, как пригрел:

— Ну, поехали...

И когда мчались легко по белоснежному теплему городу с домами-печками, будто среди зимы утопающими в цветах и в зелени, то вспомнили о желтушнике, что радовался так своему счастью, как солнышку, да сам-то отстал, сгинул в штабе, а лимонад его был теперь у них. На платформе вокзала, куда донеслись быстрее ветра, еще безлюдной, команда растянулась по человечку, и Матюшин ясно их всех увидал. Их было как пальцев на руке, и сами собой сочтались в его мозгу — вместе с ним шесть доходяг. Ребров же еще дорогой к вокзалу внушил, что отправляют их в учебку на поваров, будто подслушал он в штабе, что команду их повезут в Казахстан, а что на поваров учиться, это он уж сам сообразил. Если так далеко засылают, денег не жалеют, значит, дело серьезное, учиться везут, а чему их учить, таких, после болезней, да только на поваров, ведь и спецов среди них, об этом он живо расспросил, электриков иль по связи, тоже нет. Ребров старался, тужился, соображая каждую минуту, отдыха не давая себе и другим. Он почти не знал тех, с кем забрали его этим утром из госпиталя, и прибирал их походя теперь к рукам, не обращая внимания только на Матюшина, который был сам по себе, ни во что не вступал, ни в какие эти разговоры. Скоро перрон затмился местным народцем, и они стояли в том море, не тонули, как островок. Подали поезд, он чуть двинулся, издыхал от жажды, и люди потекли в распахнутые глотки вагонов живительными ручейками, и стар, и млад. Пронзительный людской шум — вот все, что осталось в душе Матюшина в конце прожитого этого невероятного времени. Но в той душе, над ее пропастью, где слыли вопли детей, крикливая брань, лай хриплых проводников, так и дышало уж не предчувствие, а одинокое чувство конца, что не убивало его, Матюшина, а разливалось по груди теплотой, баюкало простой дорожной грустью. И успел приметить бляхи белые на бортах вагонов, с тиснением ровным, как на могилках: «ТАШКЕНТ — ЦЕЛИНОГРАД».

II

Здесьняя плацкарта сродни была караван-сараяу, то ли тюремному, то ли товарному вагону: жесткие места без матрацев, схожие с нарами, и хоть битком народу, а видно было только только стены пахнущих истошно фруктами серых ящиков, горы разноцветных тюков — и лица людей глядели сдавленно из их щелок. Ушлый проводник сажал на одно место семьями, и чуть не все были тут безбилетники, а потому, зная свою власть, орал на этих людей благим матом, почти

им приказывал, хоть успевал и помочь, пожалеть их, как детей,— полуголый, но строго при фуражке, прокопченный и по-змеиному ловкий, с пропитой, сиплой глоткой, орущий и понимающий на разных языках, будто было у него столько же голов и душ. Метался проводник по бездвижному вагону, точно и не стояли дремотно у перрона, а катились под откос. Делом его было утрамбовать безбилетный, цыганистый вагон. Башка с фуражкой совалась и в отсек к солдатам, но служивый, тоже при фуражке, отпугивал всякий раз проводника от честных их мест, рычал, багровея:

— Не встрявай...

Когда ж тронулись, поехали, то в вагоне не оказалось советской власти, кроме прапорщика и солдат. Народ жался да висел по стеночкам, боясь отчего-то горстки военных людей, а проводник разгуливал по вагону, как на воле.

Всю дорогу от Ташкента они пили горячий, гревшийся от солнца лимонад и будто сжевали короб конфет. А весь вагон, от проводниковской до сортира, оказался, как колодец пересохший, без воды. Взмокли, что в бане сухой, и разделись до трусов, но жарче сушила да засахаривала живьем та лимонадная жажда. Пошли тогда по людям, и Матюшин отчего-то опять сдружился с Ребровым, будто только у них двоих были смелость и сила пойти просить. Люди густо сидели семьями в закутках, ели, но пить у них было нечего. Говорил с ними Ребров, а Матюшин стоял позади него, и когда входили они так в закуток, то, слушая Реброва, люди отчего-то замирали, глядя поверх его головы на Матюшина. Ребров показывал, когда они не понимали, будто верблюды, что им нужна вода, и говорил, как вдальблывал, «пить, пить», но его никто не понимал, и глядели на полуголых солдат, как трезвые глядят порой на пьяниц. Уже испугавшись жажды, требовали воду с проводника, ломались к нему в купешку. Проводник не растерялся, заломил цену. Когда поняли они, что вода продается, то радостно побежали, поугади своих той ценой и вытряхнули из них легко деньги.

Вода пряталась в баке, где должен был кипятиться для пассажиров чай. Проводник отпер бак и отлил в лимонадные бутылки мутного теплого чайного киселя. Упившись, ехали безмолвно и будто под землей, до той поры, пока не вкрался голод. Тогда запестрели и станции. Поезд тихо, надолго вдруг вставал. В сумерках на станциях стала виднеться далекая покойная степь, что днем врезалась едко в глаза, стояла одной песчаной стеной у лица, когда глядели из мчащегося поезда в оконце. Слышной в вагоне стала еда. Пахли от еды и станции. Торговки носили вдоль вагонов пироги, лепешки и кричали, проходя под оконцами, проплывая в них цветастыми, в косынках, головами. Через три часа поезд от Ташкента шел по земле, населенной киргизами,— киргизы садились в поезд, киргизы сходили с поезда... Все продавалось по рублю: и пироги, и пельмени, и лепешки. Мужчин было не видеть. По желтой пыльной земле у вагонов ходили низкорослые крепенькие женщины с ведрами, тяжелыми от того, что надобно было продать. А за ними бегали их дети, выпрашивая у тех, кто высывался в оконца и дышал воздухом, курево или по копеечке. С голодухи мутило от станций, что всходили в закатных степях, как хлеба, и от ходьбы по кормящемуся в сумерках вагону. Прапорщика никто не спрашивал, точно каждый выживал в том вагоне, как хотел, и полезли в сухпай. От мыслей, что сокрыто в банках, кубрик наполнился шумом, верно, и кричали они, вытряхивая и не зная, с каких им начать банок. В одних, гадали, была халва, в других, промасленных, тушенка. Чувство голодное уже душило их крепче радости, братства, и голода такого Матюшин еще в жизни не знал, будто все они терпели в одной утробе и от голода рождались вдруг на свет. В миг этого удущья кто-то один сумел понять, что нет у них ножей, даже и острого ничего, чтобы вскрыть консервы. Камень жестянок в руках, тупых, немощных, будто взвыл. Сорвались с мест, побежали по вагону, но у людей этих не было хоть гвоздя. Тут только Матюшин постиг, что едят они вовсе без ножей — кусками, шматками. Ребров пилил, тыкал пустой рукой, показывая, что ищут они нож, а люди упрятывали по-

черепашины костяные, сохлые головы, пугались, что-то верещали, протягивали солдатам навстречу, как отдавали, куски своей пахучей еды. Ножа не было и у проводника, а, верно, он-то врал, что нету. Он услышал о консервах, понял их беду и потихоньку стал с ними торговаться, уговаривать сменять мясные, сгущеночные жестянки на дармовой хлеб с фруктами или продать за деньги по его цене, потому как никто у них больше тут не купит. Они воротились в кубрик, рассказали своим, стали думать, что же делать. Жестянки разобрали, мучаясь с ними каждый по-своему, потом побросали их и до ночи сидели тихо, а служивый, сам голодный, сидел с ними в кубрике и молчал. Совались они в соседние вагоны, да состав был перекрыт наглухо проводниками.

Похолодало. Стремительно. Будто продувать стало ветром. Так и слышалось в потемках, что гудит где-то черная дыра, откуда врывается в теплющийся людьми вагон дикий пустынный простор. Матюшин забыл о сне, хоть в кубрике все улеглись и давно не подавали голоса. Они устали, заснули от голода, а он сидел без памяти, точно посреди ночи в хозблоке, и удивлялся холоду, ветру — нездешним, как из другой земли. В один миг представилось ему, что голодают, мерзнут они — едут в обратную, домой. Вот здесь был Ельск. Из Ельска убыл в Пензу, на юг, а из той Пензы убыл в Ташкент, опять на юг, а теперь их отправляют на север, на север! Матюшин увидел эту дорогу. Кусок земли выловился, будто б рыбаина, холодная до немоты, приятно округлая. Ельск, Пенза, Ташкент, этот Целиноград. На север, радовался он, в обратную, холода пробирает — и рыбаина не трепыхалась, глядела одноглазо, точно карта. В мозгу его человечьем, поглупевшем от радости, уместилось тогда не иначе, как полмира. Эти полмира, все равно что хмельные, улетучили времечко, и пошел Матюшин бродить по вагону. Его вынесло в тамбур. Там стояли друг против друга и курили двое неизвестных чудесных морячков с одинаковыми портфелями-«дипломатами» у ног. Их лица скрывались в клубах табачного дыма. Эта их одинаковость, но и раздвоенность как в зеркале заморозила Матюшина. Потому он шатнулся тихонько в пустой угол и закурил, уже из-за одного того, что эти двое курили. Они ж сговаривались не понятно о чем, что-то обсуждали, никак не замечая чужого человека. Матюшин глядел из угла своего на морячков, и скоро начал ему глуше и глуше слышаться стук колес, а мерещился гул моря. Моря он никогда в жизни не видал, но вагон их, чудилось, покачивался на волнах да плыл. Кругом же на много сотен километров простиралась только холодная пустыня. Морячки явились в ту земную сушь будто из какой-то выси. И свершилось другое чудо: в тех коренастых, увесистых, скуластых морячках узнал он двух похожих до близнячества жителей степей, тмутаракань, и он уж путал, кто это был, киргизы ли, казахи... Поезд замедлился, подходила станция. Свет прожекторов ударил столбом в тамбур — и во лбах морячков, на бескозырках, вспыхнуло ярко серебро кованых буковок какого-то флота. И вмиг вспыхнули они сами в слепящем столбе света, белые, тугие в рубахах своих моряцких, а потом тамбур опрокинуло в черноту ночи и минуту стояли они как обугленные, покуда снова не шарахнуло светом. В оконце, высвеченная прожектором, увидалась во всю ширь узловая: серое, блестящее меленькой росой рельсов поле, со стадами товарняков, что быками стояли бесхозно, недвижно. И грудились, ожидали, как на бойне. Поезд медлил и медлил — вагоны кралась, будто на цыпочках, к станции, по серому этому полю. Встали у серебристой от пыли, казавшейся снежной в ночи платформы, и теперь было время дыхание перевести. По земле пробежал человек, ящеркой прополз. Ухнул соевой по селектуру бабий заунывный голос, который кем-то командовал, а потом баба звала из дремучести воздуха неведомых людей и сорилась с ними, оралась. Вокзальчик, весь белый, безмолвно дышал покоем. Матюшин увидел на здании, как называлась та местность, куда они прибыли: на крыше вокзальчика стояли в человеческий рост, обнявшись, две русские буквы, похожие на неизвестных морячков: «ЧУ». Морячки ж ободрились, и слышно от них было только

это «чу, чу, чу»... И так звучали их воля и покой, непонятные, таинственные Матюшину.

Один из них присел, раскрыл «дипломат» и стал в нем перебирать, раскладывать, искать, а другой возвышался и посмеивался. Одна вещица блеснула, выскользнула у него из рук и брякнулась на пол — самодельный стальной нож. Он остался лежать в сторонке. Морячок долго его не подбирал. Матюшин глядел на нож голодно, жадно, но боясь отчего-то шевельнуться. В голове его вспыхнула мысль, что надо заполнить этот нож, и он вдруг выпалил:

— Дай нож!

Морячки поворотили головы и рассмеялись. А был их смех так громок в тишине, будто б смеялись и не два человека. От этих тайн да чудес стало ему вовсе не по себе, точно его куда-то ташут да обманывают. Морячок уложил нож в «дипломат», достал оттуда кренделек колбасы, разломил надвое — теперь они жевали эту колбасу и не смеялись. Матюшин исчез из тамбура, отселся в спальном своем кубрике, а потом вернулся, когда поезд проехал за полночь, и снова обнаружил их стоящими в тамбуре, без колбасы. Была еще станция, маленькая, потом еще одна, а морячки все стояли и к чему-то готовились. Люди в вагоне спали — их тела лежали штабелями, и, обкурившись, воротившись в последний раз из тамбура, Матюшин больше не мог заставить себя пройти через вагон. Он лег и теперь пытался не думать о морячках с ножом, уснуть, но они так и стояли перед глазами. Состав то обмирал без движения, то бесшумно трогался — на полустанках, где в оконце не видать было ни зги. Пустынные стоянки, хоть и были коротки, даже стремительны, навевали тоскливый ужас, будто б давно они съехали с верной дороги, блуждали в пустыне. Чудилось, что вагоны пограбили, что сбежали давно с поезда машинисты и орудут в нем темные личности вроде этих морячков, а никто о том не знает — спят мертвым сном.

Каждая остановка казалась Матюшину уж последней. Вдруг топот, радостные вопли, дружный людской гул явились как из-под земли и рассеяли заунывный призрак ночи. Он извернулся зверьком и ткнулся в оконце. В круг света, что вьюжился подле вагона, слетелся целый народец. Мелькали огоньками смеющиеся раскосые лица, будто б полоснуло радостью по ртам, плясали враскорячку тени, пели звонкие, сильные голоса. Мужики с плетками, бабы, дети, даже лошади, которых держали чуть в сторонке под уздцы, кружили подле вагона. В объятиях однообразных бедноватых одежд утопали два белоснежных пятна. На руках морячков утащили в круг, давились, только б их коснуться. Морячки бултыхались, резвились — плыли на спинах, держась бескозырок, чтоб не сорвались с голов. А другой рукой, которой сжимали свои хрупенькие теперь «дипломаты», махали в воздухе точно флагами. Два этих флага долго вздергивались, торчали над толпой, куда их не опустили на землю. Опустили ж морячков, когда поднесли к коням. Они влезли тяжеловато-осанисто на коней, которые просели под ними, будто утлые лодочки, и захмелели, оказавшись куда выше земли, раскачиваясь в седлах, маясь в них поначалу. Кругом загикали, то ли подбадривая их, то ли восхищаясь, глаза на плоские лепешки тонюсеньких шапок с ленточками и золотыми буквами, на костянистые сплюснутые маленькие предметы, что держали они в руках, как сумки, на брючины, расшитые юбками, и золото чистое блях. В ночи было не разглядеть лиц, но все они казались Матюшину какими-то родными и красивыми. Выказывая свою удаль перед родичами да на глазах морячков, пускались вскачь, впиваясь в косматые гривы коней, мелкие ребятишки, похожие на мушек. Стайки их черные носились вдоль вагонов. Пролетая, они стегали вагон плетками — и секли по спальным слепым его оконцам, как по глазам, что дико было Матюшину понимать, видеть, но никого они все же не разбуживали. Вагоны молчали, что неживые бочки, потому, верно, и смели их ребятишки хлестать. Скоро, отхлынывая от вагона, народец весь расселся, как по местам. Мужики все равно что отсели — каждый приосанился на отдельном скакуне. Бабы с детьми уместились по двое,

а то и по трое на широкоспинных одутловатых конягах и готовы были побрести за мужчинами. Важными были и силу излучали новую, неведомую морячки. Они обвыклись с этой своей силой и теперь восседали, позволяя себе сомкнуть покойно уста, молчать.

Довольные, что больше не надо ждать поезда, и усталые от ночного этого набега, всей ордой отошли они поначалу от вагонов, стояли впотьмах полустанка, будто б теперь кого-то провожали, и кони их слышно топтались, роптали да выдыхали, как покуривали, клубы пара.

Когда поезд поехал, то и всадники тихонько двинулись вровень с вагонами. Поезд разогнался, но и люди на конях разогнались, не отставали, мчались за ним — и кинулись вдруг неведомо куда, в черноту, пропали из виду. Еще долго чудилось, что всадники близко, но время потекло дремотней. Матюшин устал ждать, отлепился от окна.

— Домой приехали, — раздался одинокий голос с верхотуры, из темноты, где лежжался, а оказалось, сторожил служивый.

Той ночью полустанок за полустанком вагон их обезлюдил. После Балаша, где проснулись с утра, поразбудили друг дружку и увидели полупустой вагон, поезд устремился налегке к Целинограду, будто б конечный этот пункт уже виделся машинисту в близкой дали. Ехать стали быстрее, однако ж остановок бестолковых не поубавилось, и обрадовал ни с того ни с сего служивый — отправляли их не в Целиноград, а ближе, в беззвучную, о которой не говорили и не думали, Караганду. Прибыть должны были к полуночи, но стало казаться посреди степного серого утра, что небо смеркается и полночь приходит сама собой, стоило о ней вспомнить. На первой же станции вылезли они в окна и понакупили жратвы — больших пельменей. Весь товар и на этой станции продавали торговки по рублю, хоть отличались здешние от киргизок, были попримистей, бедноватей — и кульки у них отощали. А когда на одной станции проходил под окончем пыльный мальчонка с велосипедом и крикнули они для смеха, за сколько продается велосипед, остановился тот всерьез да назначил без раздумья цену:

— Руб стоит, один руб!

И никак не отставал, поверив, что хотят купить. Его уж отгоняли, надоел, а он стоял и клячил под оконцем, отказываясь от велосипеда:

— Ну, за руб!

Потом же озлился, когда вагон тронулся, поехал, схватил в кулачок песка и сыпанул им в глаза, в оконце, закричал, отбегая, припрыгивая:

— Солдат-дурак, солдат-дурак! — За что кинули в него со злости консервой, а он увернулся и был рад, бросившись за жестяночкой в пыль.

Так, подъезжая на станциях, растратили они все деньги, а когда отдали сухпай за червонец дождавшемуся проводнику, тот налил еще бесплатно в бутылки чайного киселя, дал немного винограду. Служивый сутки на их глазах ничего не ел, но ухмылялся; как ни поглядишь, себе на уме. Червонец лихой на станции Жарык снова разменяли на манты, хотелось хоть какого мяска. Из них один был получех из Сызрани, портной с фамилией Гусак, сам маленький, но с огромными, будто плакал, глазами и с ногой, от рождения кривой, — Матюшину запомнилось, как смешно он шагал по перрону в Ташкенте, подволакивая ногу, точно мамаша тащит за собой упирающегося мальчика. Был и спокойный, плоховидящий, из таких, что любят учиться, звался Сергеем, рассказал, что из музучилища, умеет на трубе. Были похожие после гепатита, что братья, Анкин и Кулагин, земляки из Пензы, один — озеленитель в прошлой жизни, другой ничего не умел. В безвременье оставшегося пути, товарищи по счастью, мечтали дотемна, что везут их учиться на поваров. Было Матюшину тоскливо: думают, их выучат и поваром каждого сделают, чтоб всем поровну, а он и поваром не хотел, и делить с ними даже воздух в пути — задыхался, сутки минули, тоской.

Они высадились из пустого вагона в Караганде, сразу увидели зад орудейный армейского грузовика, торчащий глухо, зелено из темноты. Поджидали, знали о них, встречали. Служивый вскочил на подножку, поговорил с тем, кто был в кабине, и, верно, оказался грузовик, посланный забрать их с вокзала. Они ж зябли от холода и ветра на черной, будто мокрой, платформе. Ветер гнул деревья, болотные в ночи, и воздух сырой пахнул болотом. Но тогда не понимали они, что город прозябает который день в дождях, а казалось, что такой Караганда эта была вечно, прикованная к серости, холоду, сырости, будто цепью. Огоньки вокзала зловеще мерцали в той полночи, в час их прибытия. После радости бескрайней света, тепла чудилось, оказались они в сыром, холодном подвале — не на земле, а в подземелье.

Служивый хранил бодрость, ехал он с ними в кузове: правда, сидели в кабине двое, ему не хватило. В дыру, над которой нависал полог брезента, дорогой глядели огоньки — ползали, копошились. Ехали в молчании, точно дремали. Куда приехали, там уж не встречали. Кто был в том месте дежурным, ругался и упряился, держа их на холоде у грузовика: что и кормить ему нечем, и класть некуда, и надо решать. Вспыхнула было надежда, что они и вправду оказались здесь чужими, ненужными, но служивый ее потоптал. Ругался он да упрявился крепче дежурного. Стало ясным до тоски смертной, чья возьмет. Дежурный разуверился, отпрянул, дал служивому волю — и койки сами собой среди ночи нашлись. Здание это примыкало одной стеной к дежурке. По душку в комнатке да и по всему узнавался лазарет. Они улеглись тут же и уснули, а глубоко ночью их разбудили — раздался шум, вспыхнул свет, в комнатку к ним проник бодрствующий, верно, из дежурки, солдат. Матюшин лежал с открытыми глазами и слушал.

— Откуда, братаны?

— Из Ташкента, — взялся отвечать Ребров.

— Ишь, к нам, сколько отслужили?

— Только призвались...

— А с каких мест, с Хабаровска имеются?

— Пензенские мы...

— Ну, давай, пензенские, прописывайтесь... Заложники есть? Такие, кто в Ташкенте залаживал? Мы ж из того полка узнаем, земля тесная, тогда ж всех подвесим, ну, лупоглазый, чего целкаешься, ты ж лупоглазый, рвись! Ух ты, да ты конвойник честный! Ну, будя. С тебя панама, честный, у нас таких нет. Все гоните панамки, не жильтеся. На пилотки сменяем, а то не мы, так старшие сменяют, все равно пропадут. А нам дома пофорсить. Служить будем вместе, братаны, а подыхать врозь!

Когда солдат исчез, очень скоро в комнатку наведалься служивый, мелькнул вспышкой света, как сфотографировал, и ушел, а ранним утром, часу в пятом, поразбудили их здешние, что слышали ночью шум, хотели поглазеть. За оконцем колыхался на ветру дождь. Место это было видно из оконца во всю ширь. Деревянный колючий лесок заборов, пустоты неба, грибы бледные домов. Здешние притащили кастрюлю прошлой сопливой солянки, но, и холодная, была она вкусной, кормили здесь подобрей, чем в Ташкенте. В лазарете было четыре палаты, и болело у них своих всего три человека, отчего жили эти трое почти семьей, похожие не на солдат даже, а на взрослых детей. От них узнали, что это конвойный полк, где служили, а не учились на поваров. Объяснить себе, отчего ж отправили из конвойного ташкентского в этот полк, не могли.

Поутру входили в комнатку какие-то майоры, глядели на них молчаливо, как на больных, заразных животных, и уходили.

— Хотели вам климат изменить. А сильно больных отказывается Караганда принять, — явился служивый. — Трогаемся назад на наши юга.

Однако ж не тронулись они никуда весь день. Со следующего утра стали их возить по серому, пропитанному дождями городу, затирать по больничкам — в

одной кровью на анализ возьмут, в другой животы щупают. И на комиссию одну и ту же по три раза возили. Вернут в лазарет, покормят обедом и обратно увозят к врачам на осмотр. Они успели уж сговориться, что будут жаловаться на болезни, чтобы их возвратили, раз больных боятся, служить в Ташкент. Матюшин жаловался комиссии, что ничего одним ухом не слышит, а Гусак — что не может одной ногой ходить. Было весело, что боятся их тут как огня, да и по глазам сердитым комиссии было видно: их отправят в Ташкент. Ждали ответов на анализы. Служивый квартировал в лазарете и встречался им всякий новый день. Он брился, ел, спал, ходил гулять на плац и оброс покоем, стал чужой — да исчез в одно утро без следа... Потом отделили, забрали Гусака, и он не вернулся. Пропали Аникин с Кулагиным, увели в казарму ночевать. Разъяснять никто ничего не хотел — жадничали простых слов. В другой день, показалось, пришли за теми, кто остался. Сказали выйти на воздух. Тянулись за колючкой холмики ангаров, складов, они ж брели по обочине за офицериком. У склада, где простаивал безмолвно фургон, распахнутый, набитый головастыми свиньями тушами, сунулся он в низенькую дверку.

— Глебыч, достал рабочую силу!

— Ууу... — всплыл из глубины, куда уводила железная лесенка, одобрительный гул, и они спустились, оказавшись в холодном каменном погребе, благоухающем духом жареного мяса. Жарил себе мяско расхристанный, сердобольный мужик — на плитке, будто творил чудо.

— Сразу кушаешь? — заластился офицерик.

— Пробу беру! Вот не знают, а может, она отравленная кем, эта свинина. С меня ж и спросят! А это кто такие, ты ж кого приволок?

— Да они из лазарета, пусть работают...

— Из лазарета... Ну, понятно, работа, она ж лечит. Что, сынки, видали тех дохлых свиней, они вас не замарают, не бойся, главное, вы их там не роняйте: мясо — штука подлая. Уронишь — завоняет.

После часа работы свинина, туши которой были взвешены и вздернуты молчаливо здесь же под потолком, без перебора румянилась и чавкала на булыжной, без дыма и огня, плитке. Покуда она жарилась, этот Глебыч успевал от запахов разомлеть — потому, поев кусок, отмахивал тесаком и бросал на сковородку еще кусище, не боясь никакой заразы, а когда отработали, с последней сковородки раздал и каждому по куску, похожему на ломоть хлеба. Офицерик, верно, брезговал, но злился, глядя на жаренку и как стали они есть. Глебыч отдыхал и подбадривал:

— Кушайте, кушайте, вы ж тоже люди, витаминов-то и вам нужно.

Вдруг сверху ударило окриком, что палкой:

— Откуда машина? Это что за срач? Кто это делает?

Офицерик дернулся и выкатил глаза. Глебыч обмер.

— Это ж надо, комполка нелегкая принесла... Ну, сынки, живо за свиней прячьтесь, хрена лысого он найдет... А ты сиди, скажешь, мимо проходил... — И крикнул парадно наверх: — Товарищ полковник, это продукты я выгружал!

— Что значит «выгружал», прапорщик? Порядка не вижу!

— Так точно, товарищ полковник, нужно навести, навожу...

— Наводят они, наводят... сидят в навозе. Надо, так иди, наводи!

Глебыч полез наверх, откуда долго еще колотили палочные окрики комполка. Офицерик подлез ближе и слушал. Они ж скукожились за свисавшими до пола шубами свиных туш, покуда не сказали вылезать на свет.

— Всех не задавишь, строгач отыскался... Вот жили-то мы при старом командире, не тужили! — спустился Глебыч и отводил душу. — Этот орет, орет, а продуктов не берет. Не понимаю, порядков ему подавай, чтоб говно блестело!

— А чего ему брать, у него полно, он не за продукты твои старается, — осмелел офицерик. — Мы-то как будем? Я обожду, потемней загляну, а ты уж меня не обидь, Глебыч.

— Да не обижу... Хорошие ребята, хваткие, еще приводит, а то устал бегать, выпрашивать.

— А у нас снега зимой не выпросишь, такие люди стали.

— Нет, время такое — лишнего не выпить. Мне б солдатика в подмогу, хоть одного... Эти вон чего болеют?

— Этим помирать пора, этих фруктов из Ташкента к нам подкинули, — доложил с ухмылкой офицерик. — А гляди-ка, работают, как живые. Ты к нашему подбегу, может, он порадует, тогда бери любого, а то ушлиот на хрен в роты, людей-то в ротах нету.

Глебыч оглядел всех троих и кивнул.

— Тебя как звать? Хочешь ко мне, в склады?

— Не, я со всеми буду, нам обратно, в Ташкент.

— Да ты дурак, парень, лучше, чем у меня, службы нету. В рай не хочешь попасть! — рассмешился кладовщик. — Да кто ж его будет спрашивать, куда он хочет!

Офицерик возвратил их тишком в лазарет. Когда засели в палате, Ребров вскинулся, вопил:

— Какой Ташкент, с кем ты будешь?! Ты, сука, ты ж должен был что ему сказать, тебе ж для всех нас надо было говорить, что мы все хотим, ты ж слышал, у них же людей нету, чтоб он нас всех взял!

Матюшин привалился к стенке и глядел молчаливо, как боялся броситься в драку и бесился хилый Ребров. Он замолк сам собой, выдохся. А который на трубе умел, третий из них, вечером сорвался, рискнул: прознал от здешних, что водится в полку этом музыка, где они сидят с трубами, в клубе, и сбежал в клуб. И тоже не вернулся больше, улетучился.

А за ними приехала похожая на хлебовозку, с окованным кузовом машина, какой никогда в жизни Матюшин не видал. Он понимал, что увозят их навсегда, и стерпеть не мог Реброва, его опостылевшей рожи. Сбылось его желание, вечное, подлое, — быть вместе. Ребров же сам был убит, что увозят их вместе, навсегда. У машины покуривали усталые солдат и начальник.

— Карпович, ебана мат! — полыбился солдат, будто б узнал знаконца, не отлепляя вьедливых глазок от Матюшина.

— Ткнись ты, черт нерусский, чего ребят мне сбиваешь, вылупился! — остегнул добрый начальник. — Ну, залазьте в автомобиль, поехали. Зеков сгрузили, прокатимся с ветерком. Курево имеется, ну, лады, курите, только окурки в фортку. Водила у нас строгий, в салоне не сорить. А дома уж поговорим по душам. У нас хорошо, ребятки, как на природе.

Они полезли в забкий железный предбанник этой каталажки на колесах. Весь кузов отнимали две разделенные перемычкой клетки, запертые на замки, в которых таилось что-то гулкое, живое. Тьма их парила болью, голодом. Шибало не вонью, а духом прелым, землистым, будто из теплички. Солдат задрал за ними дверку, ушел. Слышно было, как гремят ворота, — машина выехала, стало кузов шатать, он заскрежетал, клетки стали стеклянисто дребезжать. Ребров молчал затравленно в своем углу. Матюшин подлез к фортке, вдохнул свежего ветерка. Их кружили по городу, но скоро заехали в хмурую, промозглую степь, потащили волоком.

Ребров измучился дорогой молчать, проговорился:

— А ты ж Молдавана, получается, застучал в Ташкенте. Но я не скажу.

— Сдачу у меня в поезде воровал... — вспомнил, глядя в его глаза, Матюшин. — Тебе на все деньги сказал купить, я ж угощал, а ты на сдачу позарился, сбегал, подешевле взял вина...

Они б загрызли друг дружку, но лишились давно сил. Дотерпели, покада мелькнул в оконце обрубок станции, дыхнуло копотью железной дороги, проплыла щербатая доска то ли домов, то ли сараюх — было не проглядеть в сырой дымной вате воздуха. Спустя минуту заглохли в тишине. Солдат распахнул дверку, сам стоял по боку, как привык, свешивая с руки автомат. Вылезли у оп-

рyantной казармы, похожей на жилой дом. Кругом не было огорожено — дырчатый заборчик стелился, что и степь, позарос травой. А прямо глядеть — рукой подать, метров через триста, будто б латая дыру в небе, возвышалась и ширилась грязно-белая глухая стена. На верхушках ее голых торчали скворечники — и виднелись птенцами часовые. Часовые, верно, уследили с высоты, как въехала во двор машина и высадила двух неизвестных людей, — они махали руками, покрикивали надрывно. Слышно было дальний гудок станции, дальше той великой стены горбатились в степи крыши поселка. Из домовитой казармы выскочила навстречу и обступила прибывших теплая семейка солдат. Все на одно лицо, они глазели на Матюшина и разноцветно смеялись, загораюсь огоньками глаз:

— Карпович новый приехал!.. Братан Карповича! Приехал у Карповича братан!

III

Вечерили в бытовке — глухой комнате без окон для глажения да пришивания. Там услышал Матюшин впервые слово «кусок», когда вошедший солдат спросил, где кусок. Оказалось, что это слово обозначает старшину. Старшиной был добрый начальник, пожилой седовласый человек, увозивший их в каталажке из Караганды. Он сидел в другом помещении, настезь распахнутой канцелярии, и уснул истуканом у себя за столом. Пугало малолюдь. Все, кто был, коротали время до отбоя в бытовке. Говорили только из прошлого, каждый с охотой вспоинал. Запомнилась фамилия одного из этих солдат, Дыбенко, и рассказ, то ли его, то ли другого, про изнасилование в каком-то городе девушки. Дыбенко этот восседал в середине и был душой семейки, правил в ней от души. Он сидел полуголый за шитьем, дородный и громоздкий. Штаны ж ему гладил юркий рыжий солдат, с которым разговаривал он как с ровней, показывая остальным, будто не унижает его, а уваживает. Кроме непонятных возгласов по приезде, прибывших в роту обмалчивали. Старался подлезть в ихние разговорцы Ребров, но его молчком слушали да прятали глаза, будто б не верили. А было нечем подшиваться, бриться. Сидели без ниток да иголки, хоть умирай с щетиной, неподшитым воротом или проси. Солдаты утекали из бытовки, и заговорил Дыбенко. Поворотился с ленцой к Матюшину, кивнул на открытое плечо, где угледел наколку, спросил:

— Ты что ж, смертник?

— Да не пошел бы ты!.. — выругался бездумно Матюшин, которому опротивело в этой пустоте и что его разглядывают.

— Ну, прости, — неуклюже проговорил Дыбенко, будто оказался виноват. — У нас узоров таких не носят, ты пойми, какое хоть имя у тебя человеческое?

Матюшин опомнился, назвалса.

— Раз ты Василий, значит, поговорили, я тоже Василий. Но хренков больше не ложи. Тута зона, за язык у нас отвечают. Сказал — считай, сделал, жизни лишил или того... лишился.

Он то хмурился, то улыбался. Дал сам Матюшину иголку и, не брезгуя, бритвенный станок, но сказал обычно, больше не зная за собой вины:

— Угощайса даром, смертник, а спортишь мне вещь — должен будешь две или умирай. Взаимы взял, знай, какая у меня расплата.

Иголку эту чужую со станком выпрашивал у него в очередь Ребров, но был ему ответ такой, что пустился он бродить по казарме, выпрашивать у солдат. Спальня была и не казармой, а залой. Коек пустовало видимо-невидимо. Спали, на какой хотели и где хотели, но Матюшин уже узнал, что пустую койку тех, кто отбывает сутки в карауле на зоне. Завтра на зону уйдут эти, только и переглянувшись с другими. Занял он закут и койку соседскую с Дыбенкой — тот позвал его и в темноте вдоволь расспрашивал да рассказывал весело про се-

бя. Оказался он годовалым сержантом из полка, откуда его разжаловали и послали за то, что, будучи пьяным, где-то на чердаке он кинул в портрет Брежнева макароны, которыми закусывали... Когда уморился Дыбенко, стал засыпать, Матюшин вспомнил и чуть успел спросить про те выкрики, отчего кричали ему в лицо про какого-то Карповича.

— Ааа... есть тут одно чудило... Держись дальше, а то замарает...

Пришло утро. За окнами темнила дождливая, пасмурная погода. Но вот появился офицер. Он мало чем отличался по виду от всякого офицера, какие они бывают. Глядел сверху, осанился, проходил мимо солдат, близко себя к ним не подпуская, брезговал. Однако ж, молодой, смуглый, гибкий, он явился красавчиком в промозглой казарме, как другой человек. Светило в нем породистое, живое. Офицер молчаливо за всеми следил. Зала, будто б бродильная бочка, наполнилась уж не порожней темнотой, а движением, пробуждением. Шагали, бухие от дремоты, куда и все. Делали одно и то же. Во дворе, куда вытолклись полуголые, впился в кожу холод, и Матюшин взбодрился, как от боли. Грязно-белая великая стена так и стояла застыло в степи, каменяя от сырости. На одной вышке чернел, закутанный в плащевицу, часовой, а дальние вышки пропадали в туманах, похожих на заблудшие с неба облака. Они побежали вразвалочку прочь со двора. Матюшин постиг, что должна быть зарядка. От роты пролежала одна дорога, что вводила к зоне. Стало на бегу горячей, а стена на глазах росла. Зону поворотило боком, но была там не пуста, как за забором, а точно такая же, тянущаяся уже вдаль вдоль дороги глухая стена, по которой вилась диким виноградом колючка. Против той стены, пятясь от дороги в степь, рассыпался домишками спящий поселок. Дальше от казармы бежали вразвалочку, а когда вынесло в пустую степь, то вовсе сбились на шаг. Встали. Закурили вместо зарядки. Здесь, в степи, сильным был ветер. Душил да обшкуривал. А что чуднее: раздувал докрасна угольки папирос. Матюшин глазел на стену, как обманутый, оторвать не мог от нее глаз — казалось, что был это громадный дом, только без оконца да крыши, под голым небом. Весь простор степи был ничтожеством, как и поросший бурьяном пустырь. Одна непонятная куча возлежала где-то вдаль. Матюшин ткнулся в нее взглядом, и вчерашний солдат, Дыбенко, очутившийся рядом с ним, процедил сквозь зубы, греясь зябко от фитилька палящегося папиросы:

— Сахарная, сучка...

— Какая сахарная?

— Да сопка сахарная, вскорячишься на нее, а там тебе кусок сахара лежит. Ой, умрешь ползти туда, легче на зону отходить, чем на эту сопку.

Курить чуть выдержали, а то и бросили курево в грязь, побрели в обратную. У поселка, на окраине, чего-то боясь, сбились в какой-никакой строй да побежали. Всполохи тумана развеяло. Стена, как живая, подползла ближе к обочине дороги. Конурки вышек торчали одиноко из воздуха, и каждый часовой свешивался навстречу, брехал. Слышно было и вполголоса.

— Смену давай, братаны. Чтобы хавку нам горячую.

— Перетопчешься,— крыли дружно конурку.

Смолкло, но через сто метров раздался еще одинокий голос:

— Дыбенко, как житуха у вас?

— Фельтикультьипистая.

— И у нас она самая... Эй, Карпович! Бегом, бегом! — захрипал часовой со злой радостью, догоняя гоготом, и горстка солдат, что бежали, подхватить успела его на лету, заготовать.

Матюшин сжался, точно б хлестнули, но стерпел. А гогот да вскрики эти уж понеслись вдоль дороги эхом, сыпались с вышек, тупо, мелко, как градины.

После обычной утренней возни да таинственно домашнего завтрака в полупустой столовке размером с комнату, маслянисто разукрашенной по стенам цветочками, что живо пахли краской в тепле, длящееся от побудки время обо-

рвалось. Солдаты ушли работать, слышно было в сытом их гуле, что на зону. А прибывших вдруг отделили, остались они с одним солдатом, что дневалил, в оглохшей, покинутой всеми казарме. Что делать, не сказали. Выходили и они не иначе, как дневальными, но без места в этой пустоте. Матюшин терпел и, верно, забылся, потому что очутился в кабинете у офицера, сам не понимая, в каком времени и кто ж позвал да указал эту дверь. Что есть он в казарме, кабинет, отчего-то утаилось от его глаза. Сидел офицер за столом, подпираемый стенкой, а Матюшин сидел на табурете напротив офицера, отсаженный далеко от стола, как напоказ.

Офицер казался, сидя в четырех стенах, вовсе в роте чужаком. Походил на врача, что не командует, даже не лечит, а проводит сам по себе осмотры. Матюшин пробыл в роте неполные сутки, но из-за того проклятого человека, кем его обзывали и гоготали, узнавая, тыча, как в урода, ощутил здесь такое одиночество, будто б пропал из жизни. А в том офицере чудился огонек жизни. Тот задавал чередой простые, бесцветные вопросы, но отвечать о себе было как мучиться — костенел язык, слабело и кружилось в голове. Верно, офицер определил его скоренько в дурачки, потому что отпустил из кабинета, глядя как на пустое место. Матюшин осознавал, что сделался офицеру ненужным, и, погружаясь как под воду, глотал равнодушный, безвоздушный взгляд. Русский человек это был, но с чудной нерусской фамилией, а с какой, Матюшин утерял в чередке разговорца. Такой молодой, но в силе возраста своего, что были они с ним не иначе-то близки по рождению годами.

Солдаты воротились усталые с работ, глядели за обедом злее. Один гаркнул, чтоб те, кто не работал, брали только черный хлеб, что пшеничный им есть не положено. После обеда объявили вдруг отбой. Положено было спать посреди дня. Ложиться в койку было диковато, будто б складываться в коробку. Усталые, солдаты позасыпали, а Матюшин заставлял себя лежать, и нельзя было постигнуть, что происходит, откуда взялся этот дневной сон, как у детей.

После побудки, в шестом часу, солдаты собрались на зону.

Оружейная камера, похожая на клетку, где вместо стены стояла с толстыми прутьями решетка, вмонтирована была тут же, в глуби спального помещения. Солдаты проходили сквозь залу, с рядами ее пустыми коек, вооружившись. Автоматы были черные, с деревяшками облезлыми прикладов. Пустые койки да черные автоматы лезли вместо людей в глаза. Уходил начальником на зону вчерашний добрый старшина. В казарму с ним пришла из поселка девочка, его дочь, укутанная зимним шарфом. Она цеплялась за отца и веселила солдат, но вовсе их не пугалась. Начальник успевал приветить дочурку и накричать на солдат. Когда порядились во дворе, то жалась сонливо у ног отца, а тот где-то высоко отдавал последние указания. Солдаты пошагали по дороге на зону, и весь оковалок их строевой уважительно отставал из-за дочки крохотной начальника, которая полозила ножками за отцом по грязце.

Спустя время на дороге показался сменившийся с зоны взвод. Эти шагали разболтанней и на подходах горланили. Они ворвались с автоматами во двор, рассыпавшись по человеку. Двор покрылся вмиг разнотравьем лиц, цветастыми нерусскими речами. Одни побежали вразвалочку да охая за казарму. Другие исчезли в казарме или бросились брататься с разомлевшим сытым дневальным да расхватывать вкусные его сигареты. Матюшин с Ребровым теперь достались, перетекли этому взводу и топтались во дворе, будто б со всеми.

— Карпович, вона твой братан, — вскружились довольные голоса. Однако ж покрикивали стоящие в сторонке нерусские. Они глядели и ждали, погоняя того, кто невидимым был в их пестром сброде. Матюшин впивался в этот сброд, искал похожего на себя, а вышел улыбающийся, толстогубый, круглолицый — как повар примерный. Раскинул большие руки и, как если б давно тосковал, облапил его побыстрей.

— Привет, братишка, слышал я про тебя,— пропел он радушно у всех на глазах.— Ждал не дождался с тобой поздороваться. Как устроился? Как живешь?

Кругом гоготали. Посмешищем был этот солдат. Потому говорил он так громко, так слащаво — забавлял их, исполнял их желание, но угодливо и перед Матюшиным, которого всем видом уважал. Он опасался сброда солдат, но буд-то издевался над ними, встречая того, в ком презирали его подобие, без ухмылок да страха. Матюшин испытал силу и крепость его рук, растерялся, промолчал. Он хорошенько помнил сказанное в ночи Дыбенкой, но это был не тот, которого он ждал, помрачась за сутки и озлившись. Это был человек. Жалкий тем, что угождал, но сильный терпением, крепкий руками. Главное ж, человек этот был самим собой, таким, какой есть, до неузнаваемости другим, схожим с ним разве обносившейся солдатской робой да одиноким местом посреди гогочущей, глазающей, довольной солдатни.

Во двор зашли с дороги особнячком еще двое — хрупенький косолапый сержант и важный строгий солдат, что держал у ноги такого же строгого вида, но живо вертящую в ошейнике башкой овчарку, которую манило к людям. Шагали ж они стороной, надо им было за казарму, но солдат обернулся и крикнул как собаке:

— Карпович! Принеси!

Солдатня уныло затихла. Двор задышал покоем.

— Ну, не забывай своего друга,— улыбнулся тот и скорей проговорил: — Вечерком погуляем от них, где потише. Особенно я.

Карпович бодро побежал, догнал их, и уже вторым они скрылись за углом казармы. Но бултыхалось в нем что-то большое, падшее, отчего было его жалко. Так передвигаются с грыжей — нелегко, держа ее рукой. Матюшин долго глядел ему в спину. Вдруг ему почудилось, что отвалились от Карповича ноги, которые волок, а в следующий миг Матюшин успел увидеть каменные рубцы на брюшке его сапог — точно таких, какие и Матюшин волочил уродами на своих ногах. Матюшин шатнулся от смятения в сторону, попятился, но прошло время, и уже на построении он стоял успокоенный, понимая правду. Первый в ряду он далеко отстоял от Карповича. Ужин усадил их ближе, они друг дружку видели. Карпович любил белый хлеб. Объедал гусеницей его прозрачные листики. Его обсмеивали, верно, как и всегда, а он с удовольствием наедался. Матюшин тоже думал о нем сквозь ухмылку. Мысли ж его теперь были самые простые: он подглядел, что Карпович выбрит да подшит, и готовился спросить на разок побриться да подшиться. Без копыя в кармане примеривался он взять у Карповича, довольный тем фактом в своей судьбе, что Карпович уж не откажет.

До вечерней поверки солдатня праздновала. Шлялись по казарме, выходили вздохнуть во двор, где расселись кружком под небом узбеки и взаправду радовались, барабанили по коленкам ладошками, пели свои заунывные песни. Карпович сам отыскал его, позвал за собой. Они прошли поющих узбеков и оказались, уйдя шагов на сто от казармы, в пустынном диком саду, похожем на разрытый могильник, но пахнущем отчего-то яблоками. Серые старые яблони дыбились из земли могучими тихими скелетами. Карпович дал сигарету. Они уселись привольно на склонах ветвей, что шатнулись, будто качели. Яблоня тяжело дрогнула.

— Хорошая атмосфера, не то что в казарме. В прошлом году яблочки сюда ходили брать, везде валялись,— вспомнил сладко Карпович и сказал доверительней, серьезней: — Зима тоже была потом, негодяйка, заморозить решила. Пожалуй, пропал садик. Лично я дышать не мог, воздух замораживался. Шагаем на вышку, снегу по пояс, убеждаю себя: ну, застрелюсь. А меня китаец в спину толкает. А я шагаю и убеждаю: ну, нет, застрелюсь, ну, теперь все стало на свои места. Что ты молчишь, пропащая душа? Я уже уйму тебе рассказал, но не услышал ни одного слова. Наговорили на меня, небось уже целым возом грязь

облили? Скоты! Видел того, маленького? Это он, китаец. Скоты, выставили меня перед всем взводом! А рядом был, с овчаркой, это тут есть инструктор, еще его узнаешь. Вот кто настоящая скотина. Ну, ничего, еще поплачут.

— А почему кричали мне все, узнали сразу, это что, сапоги у нас похожие, поэто кричат? — проговорил Матюшин.

— Пускай кричат, братишка, ты не обращай внимания. Нас теперь двое. Ты, гляжу, зашил, а я проволокой, так крепче. Ну, что сапоги, ну, сапоги. Я сразу почувствовал, скажу честно, родную душу. Сам я тоже в этой роте настрадался, но ничего у них не получилось, так что не расстраивайся, я все уже сделал, пока ты дома отсиживался, хитрец.

Карпович вылез из робы, содрал с ворота худосочную грязную подшивку да разложил потихоньку свое хозяйство, будто угощение на столе. Бабочку белую из ниток. Свежую чистую материю.

— Присоединяйся... — позвал он, будто знал все мысли. — Разорву, нам хватит.

В саду сильно холодило, но было Матюшину и легче, что подальше от чужих глаз. Он зябко дождался, когда кончит Карпович, и кое-как, спеша областал свой ворот той тряпичей, которую заполучил. После они пошагали бриться к летнему умывальнику, снова в обход казармы, и Матюшин удивился, сколько лежало под ротой земли. Пошли по свежему покосу, набрали на каменную домину, оказалось, баню.

Дальше ж рос на отшибе деревянный сортир и виднелась вдалеке неясная молчащая постройка, оказалось, свинарня. Свиной видно и слышно не было. Но только они застряли, глядя в ту даль, как из строения выбежал в драпом мохнатом бушлате человек и заорал матом. Карпович повернулся спиной, шепнул что-то про скотов, утянул за собой дальше.

В казарме Матюшин освободился. Их встретили с удивлением, следя за каждым шагом, заглядывая в лицо. Перед отбоем, когда ходили еще по зале, точно так глядели, не отлипая, за его наплечной наколкой. Закут, где ночевали они с Дыбенкой, в этом взводе принадлежал другим. Оставшись без своей койки, он поневоле вернулся к Карповичу, который знал, где можно лечь. Все старались сползтись и лежать не в пустоте. Он заметил, как бегал, обслуживал Ребров, отрабатывая неизвестно что, по доброй воле. Подлечь же постарался к ним поближе, когда казарму отбили, потушили в зале свет. Ночью проснулся Матюшин от чужой громкой речи. Разглядел впотьмах, как поднимают кого-то с койки; уводят. И спокойно уснул. Было ему не страшно за себя, только чудно, что и здесь по ночам бродят, скучают спать, хоть завтра снова шагать на службу. Пришло утро. Расхаживал легко по зале тот же красивый офицер, исчезнувший прошлым днем.

Станцию, что жила подле зоны своим мирком и будоражила задушевым гулом, прикрепленная к поселку, солдаты называли, меняя одну букву. Матюшин мало понимал, что она из себя представляла, но впечатление осталось, что одна улица и по колено грязная проезжая дорога на ней. Видел он ее мельком, когда бегали в степь на зарядку. Однако ж на утренней поверке офицер молчаливо оставил новичков в строю — и они пошагали со всем взводом. Когда подходили к зоне, погода разгулялась. Холодное небо покрылось вдруг дрожащей голубизной, щемило блесками солнце, отражаясь в том холоде, как в воде. Они вошли толпой в гулкий бетонный ящик двора и, не заходя в помещение, заглядывая сторонкой в распахнутую настезь пудовую дверь караулки, пошагали цепью в открывшийся простенок лагерных старых укреплений, похожий на голодную пустую кишку. Ремонт процветал здесь, в укреплениях, где выпирали бревна, железные рыжие сваи, росли горы песка. И солдаты, распущенные работать, усаживались курить на обломках, отчего ремонтировать казалось нечего. Командовал всеми махонький сержант — китаец, сух да и костист. Со змееподобной черепастой головешкой, из которой сверкали два чернявых глаза. Позволяя служивым ничего не делать, он взял под свое начало Матюши-

на с Ребровым, отделил чужих от своих и, будто желая упрятать их с глаз долой, проводил в пустынное место, где кончался ремонт и текла уныло вдаль песчаная, поросшая пучками сорняков полоса. Он походил с умной сморщенной рожицей, повздыхал, поскрипел песком и приказал чистить полосу от этих пучков травы.

— Хорошо работай. Травку сорвал, есе сорвал, косяк сделал, покурил — хорошо! Моя любит, чтобы было всегда хорошо.

Когда китаец бросил их на полосе да исчез из виду, Матюшин устал полоть и распрямился. Вдали и с другой стороны возвышалось безмолвно по вышке. Он пошагал вперед, вдоль заборов, сшибая пучки сапогом. Ребров копошился в песке, но, чтоб не отстать, потащился за ним по борозде, будто Матюшин был пахарь, а он — сеятель. Так дружно отработали они метров двадцать полосы, но за час и футболить пучки Матюшину надоело.

— Курево есть? — почти затребовал у Реброва.

— Тебе сказали, рви траву и кури! — огрызнулся тот.

Матюшин подумал от скуки, что в щель забора можно поглядеть зону, но когда ткнулся в щель, то увидел такую же песчаную голую полосицу и новую стену. Он шатнулся к другому забору, стоящему против этого, но видной была в щель такая же стена и сохлая трава всюду ползала паучками. Работали они дураками, ради работы. Матюшин сел на месте и привалился к забору. Стало ему покойно. Он отсиживался сам по себе, а Ребров старался двигаться вперед и остался один. Скоро он не стерпел, хоть хотел казаться отдельным, и надрывно закричал:

— Иди работай, сука! Быстро! Я не хочу терять здесь из-за тебя уважения людей! Я себя уважаю!

— У меня отдых... — послал по ветру Матюшин, тяжелея яростной силой, и Ребров ринулся взбесившимся зверьком.

Они сшиблись, пали на борозду. Катались в песчаной суши, грызли и давили друг дружку, не умея изловчиться бить. С вышки драку их неуклюжую приметил часовой да накликал из укреплений китаец. Тот бежал, запыхивался с куском попавшимся проволоки и, добежав, молча кинулся их хлестать. Проволокой той свистящей обожгло больней огня. От первого ж его маха они страшно повскакивали, но китаец стал вокруг кружиться да хлестать, не давая ничего понять. Кромецная боль взвила их и пустила убежать. Китаец бодро не отставал и гнал их до самого гогочущего взвода. Утихомирясь, когда настиг, и добрый от неожиданного веселья, он стоял с проволокой в руках и поучал, чувствуя себя важным:

— Нехоросо, оха, нехоросо... Брат с брата нельзя никогда драться. Вместе приехала, вместе уехала домой. Надо друсить, а не морда бить. Кто морда будет своему бить, я буду накасывать. Усбеку бей — не буду накасывать. А русски брата бить нехоросо, эта своей мамы не увасай, не люби. Оха, нехоросо!

Махонький терпеливый китаец внушал страх, от которого душа легчала и улетала. Матюшин глядел на него и трепетал. Китаец заставил их пожать друг другу руки, что они исполнили беспрекословно. А подумав еще, сказал и обняться, как братьям, и только после остался довольным, приговаривая себе под нос, будто напевая:

— Хорошо, хорошо...

Боль и злость утихли, сгнили. Он только помнил, что ударился, и больше ударяться не хотел. Остаток работ скоротал с Карповичем, покурил от его щедрот, установили они в земле железную одну сваю, потому что Карпович успел вырыть яму, работая один; и первый раз в жизни он увидел живого зека. Бригаду заключенных, сварщиков, вывели на ремонт. Они работали под конвоем в отдалении, приваривали крюки к готовым сваям. Сыпались огненные искры, а зеки мелькали копченными телами, вылезая из-под искр и залезая обратно под их дождь. Вдруг из-под огненного дождя вынырнул один и опрومتью пробежал рядок копавшихся солдат, взвалил на плечо охапку нужного железного

прута и понес, оседа под его тяжестью. Он лыбился и глядел шагов за десять на Матюшина, нового, незнакомого солдата, что стоял у него на пути. А Матюшин разглядел только, что все зубы у него железные, а потом, так и не запомнив лица, потому что зек катился мимо него живым комом из жил да мускулов, увидел он наколку на его груди — черти варились в котле. Всего на миг Матюшину почудилось, что и черти эти — живые. Зек шагнул, а черти в котле дергались и ерзали. Чужа, что солдат им заглядывается, зек осмелел и захрипел в никуда:

— Расступись! Дай дорогу! Толстого тащу!

После обеда и сна взвод этот ушел на зону, а воротился с зоны другой, с Дыбенкой, с которым они встретились, как дружки, обнялись. Обнимались в этой лагерной роте охранники, как целовались, — пожимали руку, брали свободной за плечо, прикладывали щеку к щеке, одну за другой. После Дыбенки, видя, что побратался тот с Матюшиным, молча подходили на встречу остальные. Ночью, перед сном, он спросил Дыбенку про этого Карповича, что он сделал такого, почему все над ним смеются да и что он за человек. Слыша, о ком вести надо речь, тот поскуцнел и вспомнил только поневоле:

— Да ему во всю жизнь звезд пидорских не хватит, чего он только не делал здесь? Землю жрал, травился. Зимой служить не хотел, так что делал! Обсирался на вышке в штаны, вот как туалета ему туда не дали, чтобы его послать больше туда не смог. Да и ноги эти его, я ж знаю, что он делал, с зубов грязь скovyривал, он мне еще хвалился этой мостырккой, когда в Абае вместе лежали. Теперь пристроился, деньги всем тут платит, чтобы не били. А тебе что сказал? Ты, гляди, подальше от него, он замазает. Ну, если разок мостырил, наплюй, он никому не родня, кто опухал. И я чего в госпитале лежал? Ну, опухал по первой, но чтобы срать, да лучше б сдохнуть!

Через день Матюшин попал работать под вышку, где сменился угрюмый узбек и явился вдруг как из-под земли Дыбенко. Отбывал он на вышке, как хозяевал. Достал из-под крыши конурки крепкую доску, уложил ее поперек, уселся с прямой литой спиной, так что казалось, будто стоит, и, изредка бросая сверху копошащемуся на полосе Матюшину по словечку, водил разговоры неизвестно с кем, глядя вперед, на зону. Матюшин слышал, сидя в яме заборов, их голоса, но не понимал, кто и откуда рядится с Дыбенкой. Над забором пролетела на вышку тряпичная скрутка, но не плюхнулась, верно, была от груза тяжелой, и Дыбенко ее поймал.

— Ладно, валяйте! — крикнул он кому-то, распотрошив тряпку, поворачивая башку на волю. — Если кто отравится, братанов ваших потом пристрелю.

И пролетел на зону мешок защитного цвета, потом еще.

— А ты не пялься, тебе это рано! — рыкнул Матюшину, завидя, что тот обмер под вышкой и ждет.

За вышкой гудела и цокала невидимая станция. Стервами, как по часам, взывали электрички. С час Дыбенко безмолвствовал, размышлял, глядел истуканом в зону, а потом ожил:

— Слышь, никого нету, слазий мне на станцию в магазин, возьми бубликов. Ты ж смертник. Ну, оплачивай должок! Да не тушуйся, ты не первый, бегали уже. Кидайся на забор!

Забор походил на задранный к небу плот. Он шатнулся с кряхтением и накренился, когда Матюшин, одолевая волнение, полез вверх по скрепам его брусьям, как по лесенке. Влез он на тошнящую верхотуру и оседлал забор подле вышки. Были видны пики ограждения, а за ними в упор, хоть расстреливай, битумная плоская крыша. На крыше, что отколовшейся от зоны льдиной почти подплывала к ограждениям и возлежала вровень с вышкой, насиживала краешек вороненая стайка зеков и задумчиво обозревала усеянное костями рельсов поле станции. Дыбенко подбадривал для порядка, безразличный ко всему, что должно было произойти, кроме бубликов. Протянул на цыпочках бумажный ковшик из рубля. Указал низкорослый чумазый домик на станции, подле

которого лежала под открытым небом куча бесхозная угля и росли ввысь метрами долговязые странные деревья. Матюшин огляделся судорожно, не увидел на всем этом просторе людей в погонах — и спрыгнул на тропу под собой. Осталось ему перемахнуть последний забор. Он уж не казался, как издали, стеной, а похож был и вправду на дощатые латки поверх воздушных дыр. Побег совершился. Он топтался под стеной в бурьяне, на пустыре железной дороги с холмом мшистым тупика. Зябко дрожал, страшась двигаться один без Дыбенки. Но тот исчез, вознесенный на вышке так высоко, будто спружинил, как с шеста, в самое небо.

Магазин внутри оказался комнатным. Пахло сдобой. Бегали по доскам пола мужиковатые тараканы. Дремал, глядя на них угрюмо с прилавка, пушистый мучной кот, верно, любимый у продавщицы. Было таинственно от темноты пыльных, слезливых окошек да залежей каменистых хлеба. Здесь торговала томная, в летах, женщина только хлебопродуктом. Стояли в очереди бабы. Солдату не удивились. Матюшин выстоял очередь, цепенея, когда распахивалась и хлопала за спиной его дверь, и вышел, пряча отмершие руки в пахучей муфте из бубликов. Быстро пробежал через пустырь и, набив их полную пазуху, полез еще тяжелей со взбухшим от бубликов брюшком на зону, думая кромешню, что не осилит и грохнетя. Дыбенко, голодный, торопил его. Матюшин залез на вышку, выгрузился и, свесившись с вышки на руках, приземлился наконец на крепкую, твердую свою полосицу, ощущая такой покой и благодать, будто б и не слазил, а слетал птицей на станцию. Дыбенко рвал бублик зубами, что-то хорошее бубнил — и скинул ему, раздобрев, двойку бубликов, в которые Матюшин, чувствуя теперь сосущий голод, впился и не заметил, как съел.

После работ, вместо сна, старшина позвал в канцелярию, выдал по чистой тетрадке и с час начитывал из устава, что такое есть караульная служба, переворачивая страницы, будто б лузгал от скуки семечки: высовывал руку из книжки, закидывал ко рту, сплевывал в щепотку, перелистывал. Урок заставил зубрить он же, старшина Помогалов. Бывая в роте, он звал к себе в канцелярию, сидя там то с автоматом, то с уставом. Стрелять Помогалов водил тайком, за сортир, на свалку, когда уезжал офицер, а говорить велел, если тот спросит, что бегали на стрельбище. Когда Матюшин первый раз выстрелил, то оглох и долго не понимал, что говорит ему еще сделать старшина. Будто обманутой, в беспамятстве, Матюшин вжался в приклад, которым его уже разок трягнуло, увидел потребу свалки и отстрелял все оставшиеся патроны. Очередь вышла короткой, Помогалов мало забил в рожок. Убитый грохотом, будто в него и выстреливал автомат, что в железную бочку, в следующий раз стрелял он как по вытверженному, зная, что автомат требует силы, но столько же, сколько и простая мясорубка.

Бегал со взводом в степь, на стрельбище. Отстрелялся на «отлично», так что офицер, красуясь в одиночестве на холмике, громко его похвалил. Когда отстрелялись солдаты, то подошел к одному сержанту, таджику, который должен был стрелять, и сказал отдать ему автомат, встал в стойку, а не лег, да отстрелял подряд два рожка. Таджик чуть сдерживал то ли обиду, то ли гнев, но стоял подле него не шелохнувшись, с каменным лицом. Офицер, позабавившись, скинул ему на руки больше ненужный автомат, и после, так как стрелять сержанту было нечем, взвод побежал домой. В казарме, где чистили автоматы, таджик, которому офицер загадил весь ствол, кинул зло этот автомат под ноги и заплакал от гордости, никого не стыдясь. Матюшин услышал, как он цедил проклятия офицеру:

— Арман, сдохни твой мама, сдохни твой отец... Дети твой пусть дохнут... — И смирился с тем, что сделал с ним этот Арман, какую боль причинил, да стер с лица слезы, чуть не избив после, кто на него смел глядеть.

В роте оказался всего один солдат, что стрелял однажды по зеку, попал в него насмерть и съездил даже домой в отпуск. Помогалов частенько поминал его добрым словом, уваженный обедом. Гаджиев этот жировал в поварах, куда

его отпустили с вышки, как на вольные хлеба, чтобы не лез на глаза зекам: глядя на него, можно было подумать, что он до сих пор боится зоны и прячется. Ему нравилось глядеть из окошка раздатки, как едят. Бездумная его рожа, вечно плавающая в окошке вареным жиром, успела надоесть Матюшину. Но, когда узнал, что Гаджиев кого-то убил, готовка его и он сам сделались тошными, жирными. Гаджиев не понимал толком русского языка, умел говорить только по-своему. Повара не любил Дыбенко и прикладывал его, чуть был недоволен жратвой. А на сон грядущий, если и ложился спать недовольным, будто б голодным, рыскал одним и тем же задушевым шепотком:

— Убивать их надо. У зверей всегда так, они ж дикие. Зеки их поэтому боятся. Если увидят, что зверь на вышке,— поссать не встанут, лучше обойдут. Его ж кто знает, куда он пальнет, если вспугнуть. И если рот откроет — сразу в зубы ему, без разбору. Они так любят, балакает по-своему с улыбочкой, а сам ложит тебя, как хочет, и все они, звери, потом радуются.— И тогда Дыбенко со зла изображал их радость, гыкал да перхал...

Был июль. В середине его дожди сменились жарой, но степной, с раздольными ветрами и ознобом холодным ночей. Летняя легкая погодка стала вдруг отравлять жизнь. Ничего не видя, кроме работы да учебы, Матюшин думал снова самое худшее, застревал в одинокой тоске и скоренько возненавидел одного человека, китайца, который полюбил при построениях прятаться за его спиной и щипал по-бабьи сзади. Притом, когда Матюшин зло оглядывался, выругивался, он глядел на него онемело снизу вверх и не знал, для чего это сделал. Матюшину же казалось, что китаец нарочно над ним издевается. Ударить же сержанта он больше не смел, но и обсмеять в душе или же простить махонького китайца не мог, как вообще не умел заставлять себя менять настроение, зато мучился и воображал в бессилии, как чуть не разрежет китайца на куски.

Так безлюдно было в роте еще и потому, что в начале июля офицеры разъехались в отпуска. Командиром да и офицером единственным остался Арман; старший лейтенант, он оказался здесь недавно замполитом.

Помогалов был для него ничем, почти солдатом. На людях Арман никогда не говорил и потому, верно, пропадал весь день в кабинете. Однажды сказал он позвать Реброва, потом дошел черед до Матюшина. Арман встретил его с земляной сухостью в лице и смотрел прямой да строже, чем в первый их разговор. Он сразу заговорил, раздавливая, что Матюшин его обманул и прикинулся дурачком, а сам куда хитрее, но его еще никто не обманывал. Матюшин с усилием постиг, что же Арман называл обманом: речь велась о его семье, о том, что он скрыл, кто есть его отец. Арман все знал, как по-написанному, и говорил с особым ударением. Матюшину почудилось, что Арман будто знает отца и распекает его теперь, как если б он отца опозорил; Арман же стерпеть не мог одного того, что обманул его сынок какого-то еще полковника. Пока Арман произносил речь, Матюшин не сопротивлялся и затравленно молчал, но стоило пройти времени, как начал он вдруг каменеть и твердить наперекор, что врать сам не любит и не врал, а душу выворачивать наизнанку первому встречному не обязан. Что отца не было у него и нет, что это и не отец его родной в Ельске остался, а другой муж матери, которого он знать не желает. Случилось это с Матюшиным, когда он осознал, что старший лейтенант произнес о нем, что он дурак. Арман отступил, и в глазах его вспыхнуло удивление, даже удальство — солдат стал ему неожиданно любопытным. Разговор остыл. Было понятно, что присутствует в нем кто-то незримый, третий, кто рассказывал здесь, в кабинете, о Матюшине и тоже знал правду. Потому замполит остыл, как застопорился, и теперь ему невозможно было спросить Матюшина сразу о земляке, чтобы и Матюшин порассказал о нем, о Реброве. Но одинаковыми эти два солдата уже перестали для него быть.

Вечером того же дня на зону уходил взвод Помогалова, но замполит оставил старшину в роте и вместо него назначил сам себя начальником караула. Это событие никого не обрадовало. Ведь этот месяц Арман только считанные

разы ходил начкаром и каждый его выход в караул был особым, а теперь на службу заступали двое новых солдат. Матюшин получил в оружейке автомат, строился со всеми на плацу, но от известия, что заступают они с Арманом, чувствовал себя подневольным да виноватым. Караулка оказалась похожей на улей, даже внутри все было, как вощенное, и пахло сладковато. Только вместо цветов, куда летают пчелы, были вышки. Перед уходом наряда на зону Арман приказал всех обыскать, будто б они не охранять шагали зеков, а сами были зеками. Чего ради шмонали, осталось Матюшину непонятным, ведь и уходили они из караулки какие есть, ну, разве вооружились. Поставили его на «троечку», как называли эту вышку из-за ее третьего номера на лагерном круге, — тихое болотное место, где работал в лагере заводик и ограждения проглядывались, как на блюде. Но, кроме стены заплывшей заводика, ничего-то Матюшин не увидел. Зона была запертой стенами, невидимой и с вышки. Во вторую ходку, уже ночью, черное болото вокруг заводика встретило Матюшина глухим беззвучием. Были видны в огнях ограждения, но слышался только шорох шуршащий воздуха. Вмиг почудилось Матюшину, что за каждой тенью кроется молчаливо что-то живое, почти человек. От того, что ничего не слышал, он будто б глух. А потом ему стали мерещиться вдруг и звуки, перебежки в ночи, стуканья да шаги. В этом бреду спустя время он увидел, не слыша шагов, две тени на тропе наряда, уже близко у вышки, но различил через мгновение на голове одного фуражку и понял, что одним из этих людей был Арман. Тот поднялся в молчании на вышку и заставил отвечать, почему не было им навстречу окрика, а сам пытливо зло вглядывался, не веря, что Матюшин их видел и только забыл закричать. Ни жив ни мертв, он отстоял смену и воротился в караулку, мучаясь уже от своей глухоты и боясь теперь о ней сказать. Но после этой ночи, перед новой ходкой, попал в помещение начальника караула, откуда его не отпускал Арман, продолжая уже поутру ночной допрос. Думая, что уж скажет правду, Матюшин сознался, как помешала ему охранять на вышке глухота. Арман слушал его, но отчего-то кривился, а потом вдруг на полуслове оборвал и сказал уходить. Когда ж минули в тягостном долготерпении все сутки караула, Матюшин успел обвыкнуться с прошлой ночи, жалея уже, что пожаловался и снова запутал замполита. Однако ж Арман, позабыл он эти сутки или нет, давал знать о себе после них, разве взглядывая иногда на Матюшина, когда все солдаты строились или пробуждались, а он сам по себе присутствовал на плацу, в спальном зале, — и сказанное в помещении начальника будто б кануло без следа.

После прошлой черноты, пустоты лагерная рота казалась почти свободой. Можно было идти в любую сторону, останавливаться и разговаривать. Жизнь в ней была одинокой, покойной. Матюшин, начав служить, отвык неожиданно от людей, потому что сутки в карауле ходили да спали, будто волки, поодиночке, а возвращались в уже опустевшую казарму, где поневоле снова ходили волками — ночевали, ели, снова спали, а потом уходили, освобождая логово это другим, которых видели только десять минут во дворике караула, на разводе, где брали из рук в руки, что кирпич, охрану зоны. Все ото всех хранили тайны, прятались. Кто послужил, наглухо молчали да чуть что сами затыкали рот. От этих тайн свойских караулка казалась темной, дремучей, но темнота в ее глухих, без оконеч, помещениях и была всегдашней, а потому Матюшину давно покойно чудилось, что и он плавает в той темноте, будто рыба в воде.

Матюшину знакомой была уже вся местность вокруг лагеря, но сам лагерь невозможно было никак охватить взглядом. То он казался одной стеной, стоял угловато, надвигаясь рылом, то чудилось, что лагерь — это даже шар, круглый, а потому неуловимый взгляду. Однако что скрывается в том шаре, было еще непостижимей. В одно воскресенье по приказу Армана проводили в роте спортивный праздник — надо было прыгать, бегать, хоть могли б отдыхать, как и положено по воскресеньям. Праздник выпал как раз на их второй взвод. Неизвестно отчего, но соревноваться в беге Арман посчитал нужным в виде круга

или по кольцу, а избрал таким кругом-кольцом зону и послал узбека с деревянной метровой шагалкой обмерить, сколько в ней. Этого зверя сразу в роте пуганули, чтобы намерил побольше и поменьше стали б бегать. Зверь воротился, лопотал он про полтора километра, и Арман сказал, что побегут они тогда три километра, то есть два круга. А сколько ж настоящих метров вокруг зоны намерил, узбека никто не спрашивал, да он и старался обманывать, а не мерить. Праздник начался, они пробежали три километра. Но даже если в том круге был хоть километр, а он-то был, Матюшин видел с вышки только пустырь за-претки да стену куцую заводика, зоны рабочей, остальное ж куда-то исчезло.

Зона тягостно вылазила из старой шкуры, обновлялась. Теперь в ней начался большой перемот — валили со столбами полосы старых проволочных ограждений. Проволоку на смену завезли, она лежала в тугих стальных скатках, чудная всем, и солдатам, и зекам. Говорили, что она нового образца, еще неизвестного, а называлась «егоза» — струнками не висела, как старая, а вьюжилась кругалыми и должна была сжаться и распрямиться — не зацепить, а разорвать, попади в нее человек. Железные сваи с крюками ставились на смену деревянным столбам под нее, под эту егозу. Старые проволочные ограждения, обобрав с них бревна, как с рыбицы косточки, стали сматывать, как если б лепить из проволоки комы. Поработал и Матюшин со взводом. Всем выдали рукавицы — и они стали скатывать проволочную дорожку, метра в три шириной, и скоро ком колючий, ржавый вырос выше человеческого роста, так что они налегали под ним муравьями. Когда было уж вовсе не вмоготу, концы проволоки перекусили, подметали и взялись начинать по новой. Скаток выросло до обеда штук шесть, их выкатывал назавтра из укреплений второй взвод. Снова пришлось потрудиться и Матюшину. Зеки должны были доделать в укреплениях сварку, а он только сменился с вышки, был свободным, и Помогалов взял его с собой; он их гонял, чтобы работали, а Матюшин сидел в сторонке с автоматом, приглядывал. Старшина употел крепче тех работяг и в конце от души радовался, что успели они управиться. У них был бригадир, который почти не работал, но которого все слушались, — он лежал, завернутый в бушлат, какой-то больной в теньке под вышкой и общался с бригадой. Он попросил у старшины разрешения сготовить перед уходом бригады в зону чифирия. Помогалов разрешил, подсел к ним, когда стали разводить огонек на бросовых тут повсюду щепках. Матюшин сидел шагах в пяти от огонька и удивился, как старшина по-высйски разговорился с зеками, даже смеялся, и скоренько они захмелели, пустив прокопченную жестянку в круг, так что когда конвоировали их на вахту, в зону, то пришлось чуть тащиться. Старшина, подметив, что Матюшин теряется, отчего они берегут зеков и тащатся, сказал ему, прохаживаясь рядышком, добрый, как на прогулке:

— Зона ведь тоже для людей, да и строят ее люди, а людям надо давать пожить, как лошадям овса, это французики, кто не понимают.

— А чего они такие пьяные, с чая ужрались? — спросил тихо Матюшин, будто б это было тайной, а Помогалов вдруг развеселился.

— Ты поголодай недельку, съешь котлетку — будешь, как они, пьяный. Или в подвале просиди месяц и увидь белый свет, тоже будешь пьяный. Люди пьянеют от того, чего у них нету. А вот у меня все есть: хозяйство, здоровье, жена, служба, девчоночка моя, я море выпью — мне будет свежо и весело! К тому наша страна и стремится, к победе коммунизма, чтобы у всех все было.

Матюшин запомнил душой тех пьяненьких от простого чая зеков, но случилось ему стоять на своей точке и засечь, как двое заключенных, вышедших из цеха, разоглись посреди белого дня костер. На пустыре, совсем близко к запретной зоне, устроилась от заводика свалка металлолома. Давно он приметил с вышки бесхозную железную бочку, что стояла всегда на одном и том же месте, хоть ему чудилось порой ночами, будто б кто-то прячется в ней, подкатывается. Эти двое бродили мирно подле бочки, но неожиданно из нее изрыгнулось пламя и повалил черный дым. Матюшин тогда и проснулся, увидел дым, огонь —

и зеков, что стояли уже у бочки и не отходили, будто грелись. Это было первое происшествие, застигшее его на болотной этой вышке. Если б зекам сказали пожечь заводской мусор, но ничего они не жгли, да и холодно не было летом, чтобы греться. Они стояли и глядели, а бочка чадила. Матюшин взялся за тяжеленную трубку связи и доложил в караул. Спустя время из распахнутых ворот цеха выбежал в мундирчике надзиратель. Он подбежал к зекам и, было видно, стал с ними говорить.

Посреди этого почти приятельского, издалека, разговорца рука его резко спрямилась в локте — и зек, которого он ударил, повалился на бок. Контролер стал обходить его кружком да пинать. Другой зек остался в стороне и глядел на это. Контролер попинал еще лежачего, запыхнул его и мирно пошагал в цех. Забитый поднялся сам. Постоял. Теперь они стояли, как разные половины, один — в золоченной от пыли робе, другой — нетронутый, черный. Матюшину ж почудилось, что зеки стоят и глядят на него, обернувшись к вышке. Потом они отмерли, закопошились, лениво черпая под ногами песок, подходя к бочке и бросая по горсти в огонь. Тушили. Когда потушили, поплелись в цех и больше не вернулись.

IV

Первого числа августа в роту привезли получку. Выдали ее в канцелярии, а взвод заступал на зону, и получку уносили мертвым грузом в караул. Помогалова уговорили, чтобы он отпустил хоть одного человека, конфеток прикупить да и за сигаретами, иначе выходило еще сутки ждать. Матюшину так хотелось скорей закурить, что он и вызвался ходоком в магазин. Ходить до поселкового продмага из караулки было метров двести — перейти дорогу.

Он вступил в магазин, куда нога его еще не захаживала, и захмелел от духа и при виде томящейся на прилавке колбасы. Эта колбаса отчего-то сразу полезла на глаза, и также сразу он вспомнил ее: точно такую ели тогда в тамбуре морячки. В поселковом магазине было куда веселей и богаче, чем на станции. И строился здесь у прилавка другой народ, будто свой. Люди мигом прониклись, что пустили солдатика на минутку из караулки, да стали пропускать силком вперед, чтобы он выбрал, что ему надо. А продавщица радушно поджидала. Он протянул общие деньги и сказал про кило шоколадных конфет да сигареты, а сам глядел, оторваться не мог от колбасы. В тот миг дал он себе волю подумать, что возможно взять хоть кусочек. Продавщица обслужила и ждала, что он еще скажет, видела, что пялится на колбасу. Люди стали подбадривать:

— Хорошая, хорошая колбаска, солдатик, целиноградская!

И продавщица так посоветовала:

— Чего, миленький, да ты бери, кушай, рассчитаешься потом.

Матюшину почудилось, что колбаса стоит вовсе мало денег, а еще пронзил его голод от ее позабытой лоснящейся жиром красоты. Уйти без нее он больше не мог. Думая, как сказать, отчего-то постыдился мельчить перед людьми, и спросил, себя не помня, килограмм, но куда продавщица завешивала, он увидел уже белый хлеб, молоко и вместе с колбасой они родили в душе его наконец такой покой, что он, уже не задумываясь, за них расплатился. Всего выходило, что растратил он своих три рубля. Но, думая об оставшихся деньгах, больше он даже не жалел, что потратился, — их хватало и покурить, и на внешний вид. Он вышел во сне голодном из магазина, нагрузившись едой, но постиг с отчаянием, что должен возвращаться теперь с колбасой в караулку, откуда его только и отпустили сбежать в магазин. Он огляделся и потихоньку пошагал через поселок, выискивая глазами, где можно на минутку укрыться, но прошел его насквозь и оказался в огородах, уже в степи. Тут он увидел то ли окопчик, то ли воронку в земле и спрятался там на земляном сухом дне, чувствуя уже и волнение, будто за ним гнались. После первых, самых прожорливых минут он глотал хлеб и давился — было еще голодно, хоть всего оставалось в

половину, но утробушка будто б обернулась твердым дном и упиралась еде. Хлеб он не доел, бросил в яме, но молоко все ж залил в глотку, вылез и, шатаясь пьяным, боясь сам себя, побрел обратно через вымерший поселок в караулку, держа с тошнотой общий куль шоколадных конфет. Он не мог видеть своего сизого, отравившегося лица, но в карауле, где его только успели хватиться, Помогалов живо взялся хлопотать, так что Матюшин поневоле наврал, что стало ему у магазина плохо. Но тогда вцепился и вздумал его Помогалов лечить марганцовкой, приговаривая, разбавляя целый графин воды:

— Самое верное средство, если отравился, да вообще блевать полезно, обновляется организм. Йоги, говорят, по сто лет живут, а почему? Съедят зернышко и, как кошечки, культурно выдавливают из организма. От нее, от марганцовки, сразу ж облегченье наступает. Ну ты, олух, чего глаза вылупил, пей, говорю!

Он залил в глотку стакан, но Помогалов обидчиво удивился и сказал пить еще больше, до полграфина. В помещении начальника ошивался китаец, ждал что-то отнести в роту, и старшина подрядил его на помощь, отвести валящегося с ног больного в нужник.

— Два пальца в рот — и начинай за жизнь бороться! — покрикивал он бодро. — Дожо, гляди, чтоб он мне башкой тудась не сыграл.

Китайца, верно, заморозила болезнь Матюшина. Он продвигался с ним терпеливо шагками, пыхтел и подпихивал плечом, не давая закружиться и упасть. Нужник таился тут же, в караулке, и хоть Матюшин понимал, куда тащиться да про два пальца в рот, но остального еще не понимал. Китаец, хоть неохотно было мараться, одолел себя и взялся помогать ему до конца. Но испугался и замер, когда рвануло из больного белым хлебом да заглоченной колбасой. Когда поднял Матюшин взмокшее от потуг лицо и вздохнул, китаец стоял в шаге от него, молчаливый, и дожидался только вывести. А он готов был умереть, но чтобы не выходить больше наружу, постигая по взгляду мертвоватому китайца, что и в глазах всей солдатни подписал себе приговор. Он дернулся и срыгнул младенчиком уже молочную кашицу, но полез мыча в карман, выдернул в кулаке все деньги, что были, разжал дрожащую руку, как есть, с копеечками грязными меди, чтобы увидел их китаец, — тот, понимая, что делает, молчаливо взял, сосчитал, но остался неожиданно довольный и до копейки сгреб в карман. Постоял, глядя с проснувшимся удивлением, и только вдруг ущипнул, прежде чем смог уйти.

Оставшись в парашной комнатухе, Матюшин потащился к тазу умывальника, залез головой под ледяную воду, что сморкала из ноздреватого крана, и потихоньку начал оживать. Умылся, зализался, пошагал, чуть робея, в караулку. Но китаец давно отправился в роту. Помогалов же был доволен его свеженьким видом да расхваливал, не унимаясь, марганцовку, и ничего в караулке за это время не изменилось. Ночью, когда в караулке не сыскать было живой души, раздобыв карандаш и клочок хозяйственной, будто б из опилок, бумаги, Матюшин накарябал весточку в Ельск. Клочка хватило, чтоб сообщить, что жив и здоров, да взмолить выслать десять рублей, срочно ему нужных, как жизнь. Слезы дрожали в его глазах от мысли, что клочок этот будут держать в своих руках отец и мать, будто б и сам касался не бумажки, а заскорузлых рук, да не мог от них никак оторваться. Однако ж дармовой копеечный конверт отбыл по адресу чохом с другими солдатскими письмишками, так что отмирало тоскливо сердце, как неспешно и долго с почтой уходили отпущенные прогуляться на станцию двое зверей.

Дни превратились в томительное щекотное ожидание. Письмо из дома послушно притекло в руки. Конверт был крепко склеен, так что пришлось рвать терпеливо, но вложено не оказалось даже рублика. Только исписанный кривобоким бережливым материным почерком лист бумаги. Но и в том, что отписывала Александра Яковлевна сыну, — ни словечка, ни душка не было о деньгах, что он просил срочно выслать. Мать докладывала свой день, что она с утра сде-

лала, будто только о том и было в ее голове; прописала, что они довольны с отцом, что он жив и здоров, чтобы бросил хоть в армии вредить здоровью — курить; да в конце было так: «Пиши нам, Васенька, желаем тебе здоровья, счастья, успехов в труде и в учебе». Мать отошла сама собой, он и позабыл, что она там писала. Он видел во тьме лицо поджатое смуглое отца, слышал его ласковый голос, какой стал у него после смерти Якова, — вот гляди, говорит, а сам десять рублей только и жалеет; ночью в караулке, лежа на нарах среди сдохшей солдатни, Матюшин глухо плакал, покуда не проклял вдруг со всей ясностью отца, — и сам сдох, уснул.

С полночи заступил на родную свою вышку. Погода была ясной. Огоньки тихие зоны, похожие на светляков, да яркая россыпь небесных звезд видны были так зримо, будто с близких берегов, и воздух ночи протекал меж ними живой полноводной рекой и светло запруживался в бескрайней степи. Матюшин проснулся и после опустошения да крушения, которых уже не помнил, блуждал до рассвета по той реке, будто на лодочке, больше не ведая горя, и вплыл в дымные великие ковши тумана. Забресжил бледный пустой свет. Туман дурманяще пахнул табаком, будто б курили в степи. Матюшина томило уж сколько дней без курева. Он дышал с голода туманом, и было непостижимо подумать, что можно добыть сигарет. Когда рассвело, станцию огласила первая, самая ранняя электричка. По дороге от поселка пошагал человек. Видя с вышки этого человека, Матюшин обрадовался ему после ночи, но приметил вдруг, что пускает он дымок — шагает и курит. Путь его в то время поравнялся с вышкой, и не иначе как от одиночества, глаза снизу на обернувшегося близкого солдата, взмахнул он навстречу рукой. Если б он не взмахнул, Матюшин не сделал бы того, что случилось уже само собой, слово за слово, когда позвал он человека и мужичок виновато на дороге остановился.

— Курить есть? Подбрось, выручи!

— Да как же она долетит? — задрал голову мужичок, но готов был удружить и топтался подле забора.

Это и было понятно, но Матюшин жалел одуматься, а мужичок стоял так близко, что сил не было его упустить, да еще хотел тот помочь, и позвал:

— Ты хоть подойди, тут вот щелка есть.

До соседних вышек метров по двести. Соображая с опаской, как бы не пасть на глаза, он уверился, что видно было размыто одну конурку. Если что и могло устроить Матюшина, так это то, чтоб человек не оказался вертухаем или офицером из лагеря, но вида мужичок был самого простого, работающего, а шагать в такое время на станцию офицер или вертухай все же не могли. Дело было в одной минуте. Он слетел на тропу. Мужичок боязливо просунул в щель папиросу, сам волнуясь, и у забора, так как не было своих спичек, скоренько Матюшин подкурил от его окурочка. И разлетелись они, одинаково чувствуя в душе облегчение.

Блаженной той легкости, когда пыхтел сжатой в кулаке папироской, горячей, будто с пылу да с жару, и глядел вдаль на уходящего по утренней невесомой дороге мужичка, хватило Матюшину ненадолго. Он искурил в прах папиросу, а мужичок уж успел исчезнуть, когда послышался неясный шум, идущий от караулки, и скоро на тропу выбросился, как со дна морского, бегущий сломая голову, гремящий железно автоматами наряд солдат. Он увидел бунчук антенны и рацию у одного за спиной, увидел фуражку, задратую от ветра, Помогалова и заолодел, думая не иначе, что где-то на периметре лагерном совершился побег. Бегущая толпа схлынула под его вышку и встала безмолвно, будто б отдышаться. Но никуда они дальше не побежали, а глядели на него зло и удивленно с тропы. Помогалов поправил фуражку и не спеша уже стал подниматься, крикнул с угрозой отворить дверку, будто он не стоял часовым на вышке, а заперся и держал против них оборону.

Поведа в напряженной тишине носом, точно пожарник, Помогалов почуял горелое и успокоился.

— Ну что, сука, хорошо покурил? Знаешь, что за такой перекур бывает? А за куревом куда, на зону, что ль, ходил? Что курил, травкой балуешь? Поняли... Играем в молчанку...

Старшина сошел тяжеломерно с вышки, больше ничего не говоря, и наряд пошагал обратно по тропе к караулке. Матюшин достоял смену. Когда сменились, то солдаты, уже новые, пилились на него и молчали чудно, будто сговорившись, а потому молчание это походило на шуточное. Он даже поневоле разок улынулся, глядя на их чудные лица. Все знали, что он сбегал с вышки за куревом, но не знали, куда сбегал и что там курил, а сам Матюшин и не понимал, отчего подняли караул по тревоге, отчего повскакивали и прибежали с рацией под его вышку.

В караулке старшина его все же наказал, но наказание это показалось опять же шуточным — чтобы он кирпичом отскоблил в нужнике две чугунные параша. До того он ни разу не опускался драить парашу, но все видели, куда отправился он исполнять с кирпичом в руках приказ старшины. Покуда он драил, никто не сходил даже по нужде, кроме самого Помоголова, что сел перед ним не стесняясь и только беззлобно посмеивался, утяжеляя поневоле или же с целью воспитания эту грязную, тупую работу, да приговаривал:

— Извиняй, сынок, стало невольно. Мое говно здесь не чужое, сам понимаешь. А курил-то что? Ну, помолчим тогда, помолчим...

Посреди дня, а он еще не отбыл целиком наказание, потому что отлучался и снова заступал в свою смену на вышку, в караулку явился Арман — верно, происшествие было такое, что его давно поставили в известность, он обо всем знал. Он приказал найти замену, отослать без оружия в роту и тут же ушел. Окликнутый старшиной из нужника, Матюшин услышал от него приказ замполита, был отпущен из караула и пошагал одиноко в казарму, где поджидал его дневальный, пиная тазик с тряпкой, чтобы мыть начал полы. Думая, что это продолжается наказание, Матюшин сбросил китель, чтоб не замарать, и ползал с час на полах, выбегая к летнему умывальнику сменять воду в погнутом алюминиевом тазу. Бегая так, он повстречался с Карповичем, которого давно позабыл и вот уж месяц виделся только на разводах в карауле. Тот остановился, никуда не торопясь, и грустно на него поглядел.

— Как у тебя дела, слышал, устроил на зоне заварушку. С твоим делом решились, больше в караул не пойдешь. Арман хочет сделать тебя вечным уборщиком, так что думай, хитрый малыш.

Матюшин отвернулся и пошагал домывать в казарму, чувствуя ознобисто спиной, что провозагает тот, глядит вослед. Вечером же на поверке Арман сказал вышагнуть из строя и объявил первому взводу, что до конца службы Матюшин не будет ходить в караул. А потом и второму взводу, на другой день, тоже приказав выйти перед строем, объявил, что назначает до конца службы Матюшина вечным уборщиком, что таким, как он, нет места в карауле и что таких, кто вступил в незаконный сговор с заключенными, теперь будут расследовать и судить.

В воскресенье вместо бани повезли в военную прокуратуру. Ехали в Караганду на автозаке, в той же каталажке, прикрепленной для перевозок этапных к роте, и отвозил его снова старшина, но молчаливый и злой, зная уже, что послал его замполит в прокуратуру даром, только б поугатать солдат. Матюшин же рад был, что дождался хоть этого события, чувствуя себя похороненным живо и оболганным все эти дни, которые выставлял его Арман, будто уродца, напоказ. Он знал, что ни в какой преступный сговор не вступал, да и не понимал, так до конца и не понимал, что же это такое, в чем его обвиняют.

Двухэтажный старый особняк прокуратуры походил на курятник или хлев, пахнул землей и насквозь — даже летом — простыл и загнил, так что ступал Матюшин по скрипучим дощатым его полам со страхом, что они развалятся, с удивлением разглядывая двери, у которых сидели болезного вида солдаты, ожидая приема, как у врача. Дежурным следователем оказался молоденький

лейтенант, худой, с востроносым лицом, который радовался, что у него родился прошлой ночью сын, и устало глядел бессонными глазами, стараясь вникнуть в бумагу, присланную с Матюшиным, поневоле начиная допрос. Помогалов сидел подле на стуле и извинялся. Через три слова выяснилось, чего Матюшин не знал, что в то утро сработала на дверке его вышки блокировка, которая и подала в караулку сигнал. Лейтенант глядел на него и не верил, что караульный солдат не знал о таком сигнале тревоги. Матюшин же сообразил вдруг, что открывал и закрывал дверку — сбегал под вышку по нужде. Помогалов гаркнул на него, застыдившись, да засобирился уезжать, вскочив со стула и начав крыть своего замполита, что сделал из него тут, в прокуратуре, дурака. Лейтенант его пожалел и кивнул на Матюшина:

— Ну, хочешь, батя, выйди проветришься на часок, сейчас мы из него выбьем, по какой он нужде ходил.

— Ясно по какой, по малой! Это он не дурак... — отмахнулся в сердцах Помогалов. — Да ничего только вы из него не выбьете, гляньте, из такого и пылинки не выбьешь-то. Это французики, кто не понимают, вот кого надо учить, бить их мордой об стол. У них, вишь ты, все были офицеры в роду, наполеоны хреновы, а сам же хаживал солдатиком, в таком же конвойном полку, едал эту паечку, это он только для виду, что не знает, откуда она такая!

V

И потекло в дремотной возне его времечко. Матюшин скоро устал следить за собой и опустил, бросив каждый день стирать обросшую грязным салом гимнастерку и надеяться, что Арман его простит, отпустит снова служить, да и внешнего вида этого с него больше не спрашивали. Солдатская гимнастерка, как и должно было, превратилась в помойную робу, которую справней выходило даже таскать без ремня. Скоро он стал на подхвате у Гаджиева в столовке, мыл и там полы, котлы, носил отходы из столовой на свинарню, где в хлеву был уж на подхвате у свинопаса, тупого зверя. Ротная свиноматка давно дала поросят, которые вовсе не росли, мелькали и тут, и там, похожие на облезших собачек с хвостиками, волоча под собой грыжи, огромней их тощих животов. Зверь боялся своих свиней, и, когда разбегались у него поросята, Матюшин волочился за ними по расположению, покуда всех не отлавливал.

Арман же приказывал дневалить вечно и ждал только того, чтобы он ослушался, а ослушаться у него уж и не было воли после всех этих месяцев да и сил. Он только не давал себя солдатне бить и если кто-то лично хотел заставить его услужить, сдавшись однажды только перед китайцем. Дождо непонятно дружил с инструктором служебных собак. В роте был вольер для них, свой мирок на отшибе — огороженный рабицей выгул, где даже росли свои яблони, сараюшка или клеть четырехкамерная, где держали овчарок летом, и пристроенная к вольеру, так что только через вольер и возможно было в нее зайти, зимняя дачка. Инструктор все хотел приказать, чтобы убирал у него за овчарками. Но было, что Матюшин сцепился с ним. Тогда объявился Дождо, настиг его в безлюдном месте, стал щипать уже со злостью и шипеть, чтобы он отныне каждый день ходил убирать в собачий вольер и слушался инструктора.

Инструктор сам только давал жрачку овчаркам. Варил кашу в бочке и с отходами мешал. Это ему нравилось — костерок разводил, дышать на воздухе кашей. Овчарок Матюшин через время стал узнавать, различать по характеру. Кобель, черный немец, которого и кличка была такая, невзлюбил его навроде инструктора, да он и был его любимчиком, если костка — то Немцу. Были еще две молоденькие глупые сучки, что облаивали Матюшина, только он подходил к клетям, и хоть сидели в камерах по разные концы, но бросались в один миг и лаяли вместе, заодно и утихая. Самой хорошей была старая, послужившая сука. Она покойно лежала, сложа у морды лапы, когда он входил в клеть, и, глядя на веник, понимала, что солдат пришел убираться. Потом так пропах Матюшин их

дерьмом, что она, верно, считала его даже не солдатом, а ходящей на двух лапах такой же служебной собакой. В ее камере всегда мог Матюшин отдохнуть, перекурить. Она стерегла глазами каждое его движение, и если чего-то переставала видеть, то поворачивала голову, но от этой ее любопытной слежки и делалось Матюшину неодинокое. А еще овчарки по-разному гадили, кто как, и хлеще да поганей других, верно, оттого, что кости жрал, загаживал клеть Немец, отчего веник только размазывал по доскам и надо было если выметать, то с водой. Наводить порядок у этих четверых живых Матюшину однажды перестало быть тяжким. Он понял, что делает за них то, чего они сами-то не могут, как за детьми. Инструктор почувал это и все норовил придумать работку погаже, но была у него человеческая черта: он ревновал, близко не подпускал солдатню к овчаркам, да и овчарки сами не очень любили солдат. А видя, что Матюшин полюбил овчарок и старается, инструктор поневоле, хоть и был до него злоблив, пускал его в вольер, когда б он ни захотел. Матюшин спасался здесь, когда надо было чего-то избежать, чего он не хотел делать. Он сбегал в вольер от всех проверок, пережидал кормежку, чтобы не быть со всеми и не становиться в своей робе в их строй.

За то время он успел получить еще одно письмо из Ельска, носил его не распечатывая при себе, но потом утопил без сожаления, когда стоял по нужде и нечаянно подумал, что письмо можно в той дырке непроглядной вонючей утопить. Навещал же его из роты один Карпович, он отчего-то тоже свободно входил в вольер, инструктор уводил его всегда в зимнюю дачку, откуда они выходили минут через пять, и то выходил Карпович побитый, затаившийся, то улыбающийся, но, что они делали, Матюшин не понимал. Карпович сам по себе оставался ему непонятным. Выходя спешно из дачки, он никогда не шагал своей дорогой, а подсаживался к Матюшину и заводил долгие, куда дольше тех пяти минуток, разговоры, которые раз от раза затягивались и будто б сдавливали его, исподволь да потихоньку душили. Карпович то жаловался, то хвалился и всех называл скотами, доверяя теперь ему знать о людях самое худшее, что было известно, чудилось, ему одному.

Однажды он рассказал, что устал, хочет сбежать из этой роты и что на такой случай припас он дурачка Дыбенку, который ему-то послужит: взбесится, когда Карповичу будет надо, да так, что избьет посильней — и в больничку, а там уж, подальше от роты, Карпович сознается, кто его избил, да разыграет из себя изувеченного армией.

Он поверил тогда Карповичу, хоть понимать и знать, что держит тот про запас, было тошно. Отчего, сам не ведая, Матюшин, стал скрывать эту тайну в себе и ждать, когда Карпович сбежит. Он мирился уже с ним из-за этого своего ожидания, будто Карпович должен был исполнить неведомую его цель. Ремонт из зоны переполз в казарму, так что ходили в нее по сходням через окно, попадая сразу в спальню, перегороженную лесами, сдвинутую в угол. Красить и белить водили расконвойников, они бродили по казарме и нудили у солдат то спичек, то сигарет. Спали из-за нехватки места уже по двое на одной койке. Уехал первого сентября в отпуск Арман, исчез из роты, как исчезли из нее чистота, покой, порядок. Когда ж не стало и этого человека, то мокрые уборки в ремонтной грязи, лазанье в окна, спячки вповалку лишили Матюшина чувств, мыслей, желаний, и он только ждал чего-то заунывно, каждодневно, что уже витало в этом чужом новом от сохнувшей свежей краски воздухе, — будто б конца. И в то время Карпович начинал уже злить его пустыми разговорцами, точно б отсрочками. Он должен был давно исчезнуть, бежать. То, что болтал Карпович по-прежнему, жалобы его, начинало рождать неизъяснимой силы злость, они были как из другой жизни, чужие и ненужные, полные всякого мелкого барахла.

В тот день Карпович сознался, что давно достал себе на зоне костюмчик и хранит его у повара, у Гаджиева, сегодня же Гаджиев присвоил вдруг этот костюмчик себе, обещал отдать за него деньгами, но даже их сразу не отдал, отсрочил до осени, до своего дембеля. Когда он рассказывал об этом, то лицо его

багровело обидой и страхом, и он уже расставался с костюмчиком своим, даже с деньгами своими, но пожалел, что не захотел хранить костюмчик на зимней даче, у инструктора, чтобы тот не провонял псиной, да и тут же позабыл про него, доверяя Матюшину свой новый план, что хочет остаться здесь, когда выйдет срок службы, старшиной или прапорщиком и зажить, как сказал он, «тихой жизнью». При тех его словах что-то сделалось с Матюшиным — он перестал видеть, перестал слышать, чуя только одну озверелую злобу к этому человеку, и бросился его избивать. Из зимней дачки на вопли Карповича подоспел инструктор. Налетело еще солдат, со двора. Карпович валялся на земле с окровавленным лицом, таращился, ничего не постигал. А солдаты, собравшись, стали Матюшина бить без роздыху, и он очутился, забитый, в пустующей камере, — овчарка служила, взята была в караул. Матюшин не мог говорить и просидел в конуре, покуда сам инструктор, как за хорошее поведение, не выпустил его. Старался он узнать, выпрашивал у Матюшина и ничего не узнал, но отчего-то был доволен. Взвод ушел на зону. Матюшин прожил эти сутки, бродил с тряпкой да тазиком. Потом взвод вернулся, и в оружейке, когда выстраивались в очередь, сдавая дежурному офицеру под роспись патроны, Карпович начал метаться да орать: неизвестно, где и как, но за сутки из его рожка исчезли три боевых патрона. Дежурный быстро отогнал его и приказал свободным солдатам его держать, поскорей оканчивая, чтобы запереть оружейку. Сам испугавшись, когда запер, налетел на Карповича да стал бить, но с налету вышиб из него только слезы да стоны. И знали в роте только одно, что потерять патрон из рожка невозможно.

Матюшин очнулся оттого, что кругом все было напряжено страхом, как если бы патрончики должны были в кого-то выстрелить. Это было такое ощущение, будто он оказался в казарме совсем один и бродил в ее вымерших стенах, посреди ремонта, похожий даже не на человека, а на мышь или таракана, на одинокую живность. Страх схлынул, когда Карповича повезли в полк, в особый отдел, и он не вернулся в роту. Матюшин видел его мельком, когда уже уводили его из казармы; он глухо, быстро шагал, глядя в землю, точно бодея головой впереди идущего неизвестного офицера.

Пустота после Карповича вплыла странной тягостью в овчарочьем загоне. Это было место, куда чаще всего он захаживал, но Матюшин распознал, как томилось и зрело что-то иное, где-то совсем близко, точно шарила, бродила по затаившемуся выгулу его душа. Инструктор то и дело поглядывал на него таким же шарящим потусторонним взглядом, как если бы подозревал, опасался. Он больше не шастал в дачку, и Дожо отчего-то его не навещал. В собачник заходил без дела Помогалов, но после его прихода, когда он только прогулялся, отдыхая, по траве да нехотя кругом огляделся, инструктор долгое время молчаливо злился, места себе не отыскивал, выпускал овчарок бегать, а сам затравленно надолго скрывался в дачке. Матюшин думал заговорить с ним сам, но они с китайцем позвали его зайти в дачку. Какая она внутри, он не видел, и удивился; вся она была завалена списанным тряпьем, флягами да котелками, превращена от застоя в старьевку, и пустовали дырами только конурки. Инструктор ничего не боялся, протянул ему фляжку, им с китайцем, видно, обычную или даже ненужную.

— Глотни, у нас такого добра много.

Он ждал этого мига, устал, будто б знал про него давно, и хлебнул из фляги, чтобы больше о том не думать, но и когда глотку обожгло странным винцом, различил равнодушно, что было это не водкой да и не вином, а самодельным гонким пойлом, хоть духа его в дачке и не витало. Китаец, довольный, заulyбался.

— Хоросо, хоросо...

VI

Он запомнил те новые сутки, самые ясные, но бесцветные, будто и беззвучные. Сдох ротный хряк; поел на свалке колючую проволоку, свинарь не ус-

ледил; дохлятину, не нужную офицерам, сварили, а густым нежным студнем, как на праздник, уедались в карауле и в казарме который день. Посреди дня выходил Матюшин отдохнуть от еды, караульного дворика стало мало, и свободная от вышек солдатня выползла наружу, на дорогу. У лагерной вахты маялись несколько безвозрастных женщин, приехавших, верно, на свиданку, мимо гулял по дороге разный поселковой народец, а у ворот дожидался автобус, к которому из зоны вынесли тело на носилках, потом еще одно. Зеки сложенные лежали тихо, были живыми, но Матюшину почудилось, что у одного, у паренька, из груди торчала железяка и он держался за нее руками. Ближе он к автобусу не подходил. Когда их стали надзиратели сами грузить, то паренек забоялся и стонал. Что же он сжимал руками на груди, Матюшин так и не мог разглядеть. Носилки клали в проход между сидений, потому автобус, когда отъехал от зоны, казался пустым, а надзиратели в автобусе не поехали, груза этого неизвестно куда не сопровождали. Позади у Матюшина была уже ночь.

Старшина шмонал, старался, но тогда и ходили весь день пустые, а ночь уж промахнул он не глядя, спокойно спал, так что инструктор с китайцем, когда надо было, поднесли целехонькие фляги на вышку. После развода, в конце этих суток, Помогалов вспомнил о нем, сказал отдать Дожо все причиндалы, отпуская взвод шагать домой, в казарму. Они ж отстали, проникли в дверку лагерных ворот, оказавшись в похожем на двор глухом отстойнике, у других уже ворот: в сторожке караульной оставили здесь Помогалову передачку с зоны, скатки увесистые бледные полиэтилена, с человеческого роста. Одну взвалил на плечи Помогалов, другую он взвалил и пошагал вровень со старшиной. Кто встречался им по пути, бредущие належке люди, уважительно загодя здоровались с Помогаловым, который уже благодарил:

— И ты будь здоров!

Утаскивая дармовой матерьялец, дошли они до высокоогороженного забором кирпичного дома, из тех, что выпячивались одиноко в поселке, но и скрыты были от глаз. Старшина пихнул сапогом калитку железных ворот, похожих рылом своим на лагерные, но очутились они в ухоженном тихом курячем дворике, где встречали Помогалова дочка, игравшая на крыльце с отцовской обувью, зорко молчащая перед ним умная овчарка да заспешившая на шум крепенькая кругленькая женщина, но куда моложе его возраста, отчего было да же неловко понимать, что это встречает жена. Она обрадовалась, будто и все-му, что увидела. Они свалили скатки у скелета свежего теплицы. Помогалов тяжело вздохнул, пошагал под умывальник. Дочка, только он вошел во двор, прилепилась ходить за ним, а солдата у себя в гостях не замечала. Жена молодая ушла в дом и вышла с куском пирога, но Помогалов выговорил ей строго:

— Ты бы еще стопку ему налила, дура, чтоб выпил и закусил!.. Ну-кось, изымай эти сопли твoroжные, не балуй мне солдат.

Старшина скинул груз с плеч и приосанился. В доме своем он казался человеком почерствей да и жадней, чем когда расхаживал на службе, с усталым понимающим видом, и ничего-то было ему не жалко.

Воздух теплел и пах хлебом. Они пошагали в казарму коротким путем, через набрякшие картошкой огороды, в которых, чудилось, она уж запекалась в углях остывших земли.

— Я-то не слепой...— вздохнул Помогалов.— Вижу, пролез на службу. Ну что ж, служи, покамест французик в море купается, моя сторона с краю. Но если что, сынок, сниму шкурку да сушить повешу, помни Карповича. Этот доигрался, дурачина, смотри и ты не доиграйся, а то выгашут ночью и у тебя.

Пойло гнали и в грелках, и во флягах, точно все запасы разгоняли по ветру, рисковали. Матюшин, страха не ведая, заказал себе на зоне новые кирзовые сапоги и поменял-то у всех на глазах свои, штопанные, каждой собаке в роте известные. От сапожек его новых не то что попахивало, а шибало зоной. Однако он уж решил, что если рискует, то ради сапог этих. Арман возвратился из отпуска, принесся со своим настроением меленькие дожди, холод, сам же загорел да

подсох. Он поглядел на Матюшина на разводе, когда ждали, что рассчитает со службы, промолчал и дал заступить как ни в чем не бывало на водочную. Китаец с инструктором приуныли отчего-то, и барыжка притихла, но только на время, а деться ему с водочной вышки было уже некуда. Страшны стали даже деньги — то, ради чего бражничал. Было: страх настигал в карауле, что устроят обыск,— и успокаивался Матюшин, только утопив их в сортире. В октябре, спустя месяц, стало известно о Карповиче, что с ним сделали. Конвой ротный этапировал зеков в следственный изолятор Караганды, походя разговорились с тюремной охраной, и те похвалились, что дожидается у них суда один краснопогонник, которого сокамерники уже сделали пидором, по фамилии Карпович. Ротные как приехали с конвоя, так рассказывали наперебой, что узнали,— пугали остальных, точно кошку дохлую за хвост валандали, сами отбоявшись. Слух о солдате, которого сделали педерастом, прибыл через конвой этот и в зону, так что мстить зекам было уж делом гордости. По ночам из караулки набирали охотников прогуляться в штрафной, где сидели отказники да воры: Дыбенко ходил по штрафничкам и потом рассказывал, как входили они в камеру, объявляли, что мстят за солдата, надевали наручники да размазывали живыми по стенкам.

Подумал тогда Матюшин, что рублей сто возьмет нахрапом,— и бежать. Взвихри он плату, зеки и не пикнут, барыжничать рисковей стало. Верно, и пить уж страшились, а не то что добывать. В том он и силу почувствовал, что была у него цель — бежать, бежать. Деньги в сапог — и рваться в больничку. Если словчить не удастся, то хоть голову разобьет о стену. Главное — больничка, надо, чтобы отправили на обследование посерьезней, чтобы признали негодным, инвалидом. Бежать, бежать! И месяц тот уж истекал, и все сходилось, как выгадывал Матюшин, быстрее бы в больничку, а то свиснет ноябрь и приморозит крепче смерти зима. Он и чувствовал остро, что зима приближается. Зимы он боялся, от зимы бежал, а куда карабкался на вышку, что ни день, как по трупу. Вышка эта у солдат всегда прозывалась водочной. Но вот как чуют, что побег готовится, подкоп роют, так и Арман будто почуял, что он решился, почти готов сбежать. Были чаще обыски, когда он ночью налетал в караулку. А еще он чуть не цепью приковал к ней Матюшина. Началась гарнизонка — от службы отходили по одному дембеля, а новых солдат в полку еще не прибыло, потому надо было чередовать, но замполит будто сгноить решил Матюшина в карауле.

Он сидел уже третьи сутки кряду и не вылезал со службы, да еще вместо положенного сна присылал Арман работать в укрепления. Ремонт, что тянулся с весны, гнали по укреплениям паровозом, чтобы скорей быть готовыми к зиме. Ждали, что ни день, приезда комполка с проверкой, засыпали новую следовую полосу — последнее, что осталось сделать. Горы песка свезли на четыре стороны зоны и раскидывали их по цепи лопатами, а потом растаскивали и ровняли боронами. Бороны были самодельные, сделанные под людей,— к железной зубчатой свае была приварена дугой труба, что дышло. Залазили в борону по трое, наваливались грудью и волокли, куда песок не высеивался. А тогда отходили, закидывали борону на кучи, что другие подгребали лопатами, да тащили вперед, заливая ровным слоем песка полосу.

Натягавши борону, шагал он на водочную, а потом впрягался снова, а потом снова уходил на водочную. Руки, чудилось, заржавели. А в тот день было известно точно, что приезжает вечером комполка, и Арман отобрал бороновать уже засыпанную полосу. И он находился этих кругов под бороной до блевоты, верил, что хоть теперь даст замполит хоть на сутки отдых, отпустит из караула. Арман же заступил начкаром, ожидая такое высокое начальство, да на разводе назвал, кто остается, оставил его еще на сутки.

Хлипкий, зудевший дождь, от которого и воды мало, не переставал с самого утра. Их выстроили для комполка. Голос его мужественный узнал Матюшин с первых ноток. Комполка, а за спиной его и Арман глядели на трепещущий, но

и жалкий, вымокший до нитки наряд, и весь этот разброд, вся их человеческая нечисть схватились в одном, пускай и неуклюжем порыве выстроиться перед ним, похожими быть на людей, мечтая без толку быть им замеченными. А комполка вдруг вскипел, закричал на них от гнева и не видя больше ни глаз, ни лиц да, казалось, и людей:

— Как автоматы держат? Куда вы глядите, замполит? Вода попадает в дуло! Кому говорить, мать вашу, опустить стволы вниз! Стволами вниз!

После комполка уняться уже не мог. Еще стояли во дворике в сырых бусшлатах, будто по грудь в земле, а Матюшин уже его проклинал, и дожидчек этот, и быстрее убраться хотелось на водочную, хоть под такую крышу. Влетело от комполка под горячую руку и Арману. А после кричал на них Арман, задерживая смену, что они оскорбили его офицерскую честь.

Было что-то за полночь. Матюшин подменился и возвратился с нарядом в караул, но засиделся с рыжим, который по одной своей должности контролера на пропускном пункте, как всухую, глотал ночь за ночью без сна, зато днями спал от пуза, сменившись со своих пропусков.

Матюшин спрятался в застенках его служебной, с зарешеченной мордой комнатухи, коротая обычную скуку, не желая давиться у оружейной пирамиды, куда все рвались с порога, бряцая да матерясь, сдавать автоматы — невтерпеж, как по нужде. Рыжий встрепенулся, обрадовался живой душе и, желая в свой черед удержать Матюшина, угощать начал чифирем, достал шоколадных конфет. Верещал он так сердечно горячо, так исподволь трепетно, что Матюшин согрелся от одного щемящего, льющегося струями голоса и ничего уж не хотел, и язык не ворочался у него, как у пьяного. Рыжему только и требовался человек. Глаза его тихо слезились светом. Говоря без умолку, он скоро говорил уже и без памяти, даже не глядя на Матюшина, слепо косясь и утыкаясь взглядом в сторону, в бок. Но и сам Матюшин не двигался с места и не имел сил говорить, потому что нуждался в рыжем, отчего-то сладостно и с болью растворяясь уже в его голоске, будто в пустоте. Низкий давящий фанерный потолок комнатухи, что свисал, облезая лоскутами краски, над головами, казался и не потолком, а зияющей пробоиной, дырой. И пробоиной, дырой казался тот проход почти тюремного вида, или проходная, или впрямь тюремный коридор — вход единственный через помещение в зону — из брони дверей да оковалков запоров, из голой, холодной бетонной шубы вместо стен, из слепящего белого света, который и охранялся сквозь намордник решеток этой злой, сдавленной в два метра комнатухой.

Матюшин чувствовал какое-то мучительное равнодушие к самому себе, схожее и с отвращением. С плеча его свесился не сданный в оружейку автомат, такой же выдохшийся и усталый, каким был, с виду железный, и он сам. Хоть неразбериха давно улеглась, а в помещениях караула стало мертво от спящих, он так и растрчивал весь свой отдых с обреченным не спать, будто затравленным в четырех стенах рыжим, зная, что уже не выспится сам, чувствуя и свою затравленность, чуть не костями втиснувшись в комнатуху, где легче было стоять, чем сидеть, и не жить, а умереть.

Отказывался знать, что время его сочтено и что неоткуда будет потом взять даже минутки, когда погонят опять на вышку. Он испытывал и боль, что у этих людей, которые дрыхли младенцами за стеной, нет силы проглотить свой голод, свою слабость и не длить их тошно день ото дня, но и ненавидел их, потому что был среди них другим, чужим, как бы и вырождаком, которому не удержаться долго одному. То есть ненавидел, будто сознавал, что суждено от них, среди них неотвратимо ему погибнуть, но и кровь его жалостливо ныла той живородящейся зверской любовью, в яростном порыве которой мог всех спящих-то перестрелять, чтобы не мучили их день ото дня, чтобы не заставляли их, младенчиков, день ото дня жить.

Себе до боли ненужный, Матюшин вдруг постиг человеческую твердость своего положения в комнатухе, будто и не контролер, а он сам был тут хозя-

ином. И то, что рыжий нуждался в нем, не мог без него, хоть ничто их в роте не сдруживало, а легкость бумажной службы даже рождала у Матюшина озлобление к этому живучему контролеру, неожиданно и скрепляло их, ставило каждого точно на свое место. Матюшин прощал рыжему и его бумажную подлую службу, понимая, что выслужил себе на вышке место посильнее, чем контролер в своей покойной комнатухе, который даже за внимание к себе расплачивался конфетами...

Матюшин очнулся — ему почудилось, что далеко в ночи раздался крик. Он мигом налился силой, и впился в тишину, и ничего не смог услышать, будто оглоушенный, но ровно через мгновение со стороны зоны вырос и покатился комом протяжный гул, вой, крик: кто-то бежал к пропускам и что было мочи орал. В тот миг, удивляясь со страхом, остолбенел рыжий, беспомощно поворотившись к Матюшину и пугаясь автомата, затвор которого, изготовясь, Матюшин судорожно передернул и ждал.

— Не стреляй, не стреляй!

— Молчи, дурак! — шикнул Матюшин, не зная, что с ними будет.—

Я сам...

На пропускной пункт ввалился боровом оружии надзиратель и отчаянно рванулся к первой из решеток, которыми блокировался коридор, которые нельзя было никак снаружи отпереть,— задвижка решетки управлялась из комнатухи, с поста.

Надзиратель был цел и невредим, только с рассеченной бровью, но кровь залила озерцом глаз, и он дико выпучивался багровым пузырем, ничего из запекшейся крови не видя. Который же видел, сверкающий и резвый, кричал безумным страхом за всю сытую, круглую утробу, чтобы его спасли. И надзиратель, не зная, что у него только рассечена бровь, трясся и дрожал, будто глаз выколот. Он орал истошно, визжал, что в бараках резня, вжимаясь страшно в решетку, как если бы за ним по пятам гнались выколотый оставшийся глаз, убить, и рыдал — рвался скорей в укрытие караулки. Железная арматура истончала, казаться начинала не тяжелей паутинки, и он, чудилось Матюшину, карабкался на месте, дергался надрывно, в ней увязая, повисая... Но что было с оставшимися в зоне надзирателями? Кто резал, кого резали? Отчего молчат вышки?

Рыжий было шатнулся к двери, но ему не хватало духа бежать, и он слезно глядел на Матюшина, выпрашивая распоряжений, боясь сам разблокировать решетку и впустить раненого визжащего надзирателя в караулку. Надзиратель опомнился, постигая, что солдаты могут оставить его тут, что для них главное — приказ, начал нещадно злобно материть их, требуя повинения, как взбесившаяся баба.

— Не впускай, может, того и ждуг! — решил Матюшин, и раздался душераздирающий вопль прапорщика:

— Ненавижу, суукиии...— И, цепляясь за решетку только пуговками мундира, цокая, его туша дряхло сползла на бетонный серый пол.

Матюшин развеселился, ему все показалось вдруг смешным; чем путаней и кромешней, тем смешней, но самого то ознобом било, то душил жар. Он бросился в караулку, заорал. Рыжий кинулся будить в начальскую Армана — и началось.

Многие были необуты и таскали сапоги за собой, у некоторых и не отыскалось уже сапог, и они, босые, боясь пропасть, толклись у запертой оружейной камеры. Которые с автоматами шарахались из угла в угол без приказов, без начальства. Но вдруг загудела тревога настоящая. Вот разметались солдатики, мечутся в угаре, давая друг дружку. И кто додумался сирену врубить, чего ради? Солдаты ж подняты, а сирена только с ног сбивает, как оглоушивает. Вот и Матюшин забылся и от одного воя враз отупел. И, как заучил, как вытвердилось в мозгу, бросился слепо на построение, хоть не знал штатного расписания,

по какому-то сподвигу занял положенное место, а может, и не свое, но вместе со всеми.

Рванулись, понеслись... Впереди мчались овчарки, сворой. Овчарок несло какое-то бешенство, которого не было у самих людей, но они так же рвались вперед, подстегнутые воем сирены. Матюшин же только тем был жив, что жался к другим, чувствовал себя заодно со всеми. Когда вокруг столько людей, то не верится в смерть. Или жива надежда, что твоя смерть упадет на другого, который, задыхаясь, дышит в спину или горячий вздыбленный затылок которого прямо перед тобой. Но сильнее других то чувство, что никого и не сможет убить, что мимо столько людей промахнется, побоится, проскочит. Он не успевал думать о смерти, не разбирал, устремился ли к ней или бежит от нее и что это за ночь; вместо всего не иначе, как животное, был охвачен одним стремительным, могучим чувством, схлестом всех человеческих порывов — любви, ненависти, отчаяния, страха, которые были в его душе поврозь и вдруг сплотились, как живые с живыми, будто рядом с его сердцем забилося еще одно, и у Матюшина, который и с одним-то сладить не мог, стало в груди две жизни.

Должно было рассыпаться по лагерному кругу и протянуть вооруженную цепь, расставить силки. Бежали они по тесной тропе, между рядами проволоки, и толкались, наскокивали друг на друга, но Матюшину отчего-то мерещилось, что вокруг простор и что дух захватывает, когда они по простору-то несутся. И вдруг чья-то рука вырвала его с этого простора и кто-то затряс его и кричал, чтобы он остался тут и не сходил с места, а все уносились дальше по тропе. Матюшин увидел, что остался один. Земля затаилась под ногами в мглинке. Кругом громоздились заборы, скривленные ряды проволоки, пилящий белый резкий свет прожекторов.

Овчарочий лай не смолкал, но походил на глухие всполохи. Если что и происходило, то далеко от Матюшина. Солдаты, вставшие на тропе через пролет от него, уже курили, он увидал огоньки. Сердце его то обмирало, то взрывалось, начинало ходить ходуном. От середины своей, которая и в самые поздние часы всегда бывает если не светлой, то лунной, стала расходиться и расходиться ночь. Скоро выступил зыбкий свет. Светало, и обычно загасали прожектора. Настало утро. Ближние по оцеплению стали перемахиваться руками, голосовать. Они как бы друг друга обнаружили.

Матюшин перекрикнулся с постовыми, никто из них не знал, что ночью сделалось, а с вышек слышали, но не видели ночью в зоне какую-то возню. Но приказа не было, чтобы оцепление снимать. Как сорвались с коек, разбежались по тревоге, так и пыхтели, находясь в неподвижном том посту. Когда утвердилось утро, он снова стал изнывать от безвестности и ожидания. Но тут, на самое его нетерпение, на тропе показались свои. Шагали вразвалочку, с неохотой. Матюшина проняло такой радостью, что хотелось броситься им навстречу, и отчего расчувствовался, не понять. Это снималось само собой оцепление и бежало толпой в караулку. Думали: пускай Арман посмеет хоть слово сказать. Вот сука, жди его настроения: если так прижгло, то сам и стой, а людей нечего мучить. Они по дурному его приказу среди ночи сорвались и до утра столбами стояли, думали, что так надо.

Матюшин хотел спать тем больше, чем понятней делалась напрасная эта ночь. И на ногах его держало только то, что он должен был еще дошагать до караулки. Он так вымотался, что спал на ходу. Мысли и чувства его плыли сами собой, и, как бы пробуждаясь, он вдруг обнаруживал, что еще думает о чем-то, переживает и плывет, не зная, зачем и куда. Он и не постигал, что все нары в спальном помещении давно были заняты другими и что ему будет негде улечься и придется ждать. Но без мест в караулке осталось с ползвода. Кто ночевал в оцеплении, тот и остался без нар. Матюшин улегся в комнатушке столовой на скамье и, не помня себя, уснул. Одно, что успел почувствовать он, так это трепетное и горькое со всеми единение: что все они вымотались вместе, а теперь и засыпают вместе и убаюкивает их одна на всех тишина.

Разбудили его к завтраку, чтобы освободил стол, — из казармы на тележке прикатили пайку. Матюшин переполз. И в каком-то тумане сжевал котелок горячей гороховой каши. Пошагал на вышку. Отстоял, помучился. Трупом добрался до караулки. Ему так и казалось, будто сам-то не шел, будто на руках несли. Думал Матюшин, что вот теперь-то отоспится, все как по закону: ему по уставу теперь положено спать. А в караулке солдат в спальное не впустили. Кто спал, тех задолго до настоящего подъема выгнали во двор. Он еще подумал, что замполит хочет повластвовать, вот и держит всех на дворе. Но куда он денется: поизмывается и отпустит спать. Надо в своих глазах поправиться, но и людям нужен отдых, иначе надорвутся. Если нейдет ему, значит, всерьез, нешутейно душонку его подмочило. Значит, изгадился, но и сам знает, кожей знает, что не герой. Матюшину с этой мыслью, что все-то замполит знает, и стоять без сна навтыжку, и спать будет одинаково приятно: мучайся, изводись, офицерик, себе назло.

Арман выскочил из караулки во двор, горячий, стремительный, будто до того долго придерживали, да не удержали. Закричал с ходу, чтобы выровняли строй. Исправился, подумал тогда Матюшин, через волю становясь в строй. Ночью он струсил пойти на зону, понять, что происходит, — и метался за спинами, навреде того надзираетеля, который сунулся в дерущийся барак да убежал голосить. Вот и Арман неизвестно кого спасал. Погнал ничего не понимающих солдат вместо себя в тот барак, хоть зеки давно разняли там своих, раненого даже в больничку снесли. Теперь-то замполит остепенился и, расхаживая взад-вперед, принялся занудно разъяснять итоги этой ночи; у кого какие промахи были, отчего сумятица, как вели себя на вышках, в оцеплении. Теперь события обретали для него отчетливость, стеклянную какую-то зримость, и он очень складно понимал, что и отчего происходило, будто и тогда, ночью, все понимал, отдавая свои приказы. Наконец произнес с торжеством, что этой ночью в зоне убили заключенного: тот, кого ночью пырнули на зоне в пьяной драке, активист, испустил в больничке дух. После он выкрикивал, почти визжал, будто уж и не в зоне, а тут, в роте, кто-то кого-то этой ночью убил, но мужского в воплях уже не было. Он сам перестал понимать, куда язык понес, и заикался, захлебывался и в конце концов всех наказал, потребность у него, что ли, родилась душевная, чтобы все стали на его глазах мучиться, наказание отбывать.

Матюшин не мог и подумать, что замполит решится всех за водочную наказать и в лобовую пойти, как насмерть. Сделалось муторно, и всполыхнула в нем злорада, когда понял, но бессильная злорада, что еще страшней. Так постиг Матюшин, что ничего-то не поделаешь и нечем офицерика, суку эту, крыть. Что-то главное происходит начало. Началось? Началось?! Теперь ведь вот что: теперь жизнь или смерть.

Матюшин вдруг открыл, что Арман с него глаз не спускает, глядит. И он обмер: вот что задумал и так жжет, а он еще жару подбавляет, впрямую наводит, стравливает, значит. Матюшин старался не дрогнуть, чтобы видели, как он железно держится. Чудилось ему, что солдатня Армана пересилит, ведь вот скоро час они стояли, но никто не дрогнул. Тут Арман промахнулся, палку-то перегнул, он ведь знал, а не снизошел даже до того, чтобы с каждым по отдельности тайный какой-нибудь провести допрос, может, тайком да за глаза ему бы друг на друга и донесли. Но хотел, чтобы прилюдно доносили, при товарищах, чтобы это был как бы всеобщий донос, — хотел уж и весь взвод унижить, опустить. Или ждал, что Матюшин сам не выдержит. Арману-то, видать, и не стучач, а свидетель нужен — вот на что замахнулся, доказательства ему нужны, а не наводки да шепотки! Это он и сам знает, как и все тут про всех знают, но попробуй докажи. И такого свидетеля он из солдат не получит, хоть пусть навечно похоронит в караулке весь взвод. Никто показаний не даст.

И никто на Матюшина не смел взглянуть, хоть он чувствовал их душевный гремучий гул. Караульный дворик махонек, и гудит в нем даже тишина. Матюшин совсем стоять на ногах не мог, ему было жалко себя, что он так ослаб. А

слабости ему обнаружить нельзя, и в отчаянном порыве прекратить эту попытку он выскочил да заорал на замполита, матеря его из оставшихся сил, точно б залаял. Арман порывисто сорвался с места, будто этого взрыва и дожидался, подбежал к Матюшину и, чего сроду не бывало, стал его за грудки трясти. Каким маленьким, каким ничтожным показался ему тогда Арман, который, даже когда и тряс его за грудки, тужился, не мог, трясся сам. И вдруг постиг Матюшин, что трясло замполита желание нестерпимое, чтобы он ударил его при всех! И тогда сам собой обмяк, а Арман взглянул на него пронзительно, истошно — и отскочил.

Он бросился опретью в караулку, оставляя солдат, стихших и потрясенных тем, что свершилось на их глазах, во дворике. И все ждали опустошенно, что замполит нагрянет, но тот не являлся, и двор тоскливо загудел. И понимал теперь-то Матюшин, что сделалось, и, только чтобы не молчать, чтобы никто не приметил, как же ему страшно, раскричался во дворике:

— Он у меня сам молиться будет. Нечего людей доводить! А мне надо будет, на краю земли отыщу и порешу, пусть знает, падла,— я ему не забуду.

Однако делать было ничего уже не нужно.

Матюшин чифирил, спрятавшись в комнатушке. Начкаром заступил Помогалов, сменил замполита, а их не сменили, оставили весь взвод, взяли под арест. А он никуда не пойдет, с него хватит. С места не сдвинется, пусть хоть волокут. Он свое отстоял, и даже если погонят взвод на вышки, то пусть шагают те, чья очередь, а у него отпуск, и он будет греться, будет чифирить. Слыша, что собирают людей в наряд, как начинаются снова сутки крошечные, Матюшин тяжело, зверея, выматерился, но тут же лишился сил, заглох и уже ничего в душе выжженной не ощущал, а как-то понимал обленившимся от чифиря умишком, что вышло все не так, хуже вышло, а чтобы как получше — и не могло.

Хлебал Матюшин чифирь, и было кругом тихо. Все смирились, что остаются служить. Кто пошagal в наряд, кто подался на нары, досыпать. И подумал вдруг Матюшин, что и хорошо даже на второй срок, иначе пришлось бы вставать, строиться, шагать, да и не получилось бы чифирь допить. Глаза его спекались, с кружкой в руке он и задремал. Это было как одно короткое мгновение: потухло в глазах, объял теплый да сладкий туман. Но глаза открыл, и туман рассеялся. Растролкали на вышку, оказалось, поистратилось три часа, и ноги сами по тропе понесли, как по воде, будто плывет. Но только не по глади, а над самым дном, где тянет Матюшина неспешное глубокое течение. И все хорошо — тепло, покойно, легко, да воздуха нету, залит по глотку мягкотелой водой, что свинцом.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Какая-то животи́на потеснила его на нарах... Видать, солдатик этот нахрапистый был из тех, что от ранних сумерек до полуночи простояли на вышках и порядком выстудились на степном безудержном ветру. Они возвратились в караулку с последним разводом и ждали, когда начальник поднимет с теплых належающих нар другой наряд, а им настанет черед отогреть чужим теплом бока и заспать часок-другой, покуда не поднимут вновь. А этот не вытерпел, видать, умаялся. Впотьмах Матюшин не мог разглядеть его лица. С солдатиком они лежали бок о бок, и тот спал уж крепко, а Матюшин оказался его стараниями разбужен. Заснуть духа не было, хоть и хотелось спать... Сказали бы на каменья лечь, лег бы и на каменья. Только бы знать, что на каменьях уж не разбудит никто. Короткий-то сон и крепкий самый. Бывает, разбудит начальник на службу, а кто-то посреди общих сборов и решит мгновение перевернуть, прилечь

обратно на нары, покуда другие соберутся. И так заснет, что из спального помещения силой волокут, а потом водой обливают.

А Матюшин с прошлой ночи чуть живой. И хоть теперь бы между сменами выспаться. А лежит Матюшин на нарах с открытыми глазами. И крепится что есть мочи, чтобы перед самой побудкой не заснуть. Иначе и вовсе сдохнешь, да еще водой обольют. С нар на службу подымут, и трое часов надобно будет прожить, чтобы обратно улечься.

А суке, разбудившей его, и невдомек... А мог бы обождать своего раза... Они лежали бок о бок, и Матюшин слышал, как могуче бьется его сердце, а тогда через волю вспоминал про свое, которого биение и самому не было слышно.

Когда в спальное помещение явился Помогалов и стал расталкивать отсыпавшийся наряд, матерясь впотьмах, то Матюшин ясно понимал, что настал его черед отправляться на зону, но долго не мог собраться с силами, чтобы оторваться от нар. Спали одетыми. Матюшин вытащил из-под матраса ремень с подсумком и опоясался. А потом присел на койку и перевел дыхание. Надо было портянки наматывать. А они холодные, от пота сырые. Намотал их как попало, потом подтащил издохшие в гармошку сапоги, нагрузил на ноги и сам удивился их тяжести. Будто ноги по колено в землю зарыл.

Солдаты кругом кто молча, кто с гулом поднимались с нар и со злобой, ничего спросонья не видя, расхватывали, делили портянки да сапоги. Помогалов же погонял:

— Вали на свет, потом разберетесь!

Матюшин хотел идти, но помедлил, вспомнив вдруг про спящего на оставленных нарах солдата. Тот лег на живот, руки под голову подложил и растянулся на койке, облапал место, Матюшиным оставленное. У того и сердце бьется мерно, и глубже дышит грудь, а потому чего-то Матюшину в этой жизни наперед уж из-за него не достанется. Но вот только не знает, чего же не достанется. А еще приходит начальник и на службу гонит. А сучонок спать оставится, он же и выспится лучше, быстрее — и Матюшин будто вдогонку за спящим хочет броситься. И не приметил, как пришел ему черед догонять — это он теперь понял и с какой уж ненавистью выглядывает впотьмах задушевного своего врага. Тот догнал, оказывается. А теперь и Матюшин успеть должен.

И тогда стал Матюшин спящего расталкивать:

— Чего спишь, на службу давай! — Пускай и тот разбудится, пускай на равных начинают, пускай и Матюшин отнимет для начала хоть щепоть сна.

— Да я... Да мне... — Солдат на бок перевалился, заворочался: ногой туда, рукой сюда... хочет уползти.

— Вставай, начкар приказал подымать.

— Бля... Оставь меня, братуха, ведь только с вышки... Уйди, убью...

Матюшин нехотя руки от солдата отнял. Тот сразу и обмяк. Бормочет что-то. Одно слышно, что злое. И ворочается опять же, будто уползти хочет. Получил, сука, думалось Матюшину, хорошо же тебя растолкал. И хоть все нутро его ослабевшее упрямилось спешке, но как был Матюшин разбужен, так и погоняет сам себя. Кажется, что для того и живет, чтобы, с нар сорвавшись, и взобраться на нары.

II

Чтобы ободриться перед заступлением на зону, пили чифирь с черным хлебом, оставшимся от вечера. Приготовлял чифирь, шестерил в караулке Ребров. Он же резал и буханку, посыпая ломти сахаром. В ночной наряд уходило по числу вышек и постов восемь человек. Матюшин запоздал и сел за стол последним.

— Хавку давай! — затребовал он.

Похлебывая чифирь, вышкари хитровато поглядывали то на Матюшина, то на холуя. Стоял Ребров пристыженный и растерянный.

— Так это, Васенька, хлебец-то вышел весь... Не углядел. Маловато было хлеба.

— Что, сука?! — выкрикнул сдавленно Матюшин, почуяв, что кругом все затаились и ждут.

— Мало было хлеба...

Матюшин понять не может: как же это он остался без хлеба? И вдруг перекосило всего... Он, сука... Вот же и разбудил раньше времени, и хлеба не досталось из-за него. А кругом жуют и чаек попивают. И один Матюшин за столом дураком сидит, бедным родственником. Эти морды вроде и не торопились, а всего вдоволь им досталось — будут сыты. Почудилось ему, что и с койкой, и с хлебом не иначе, как подстроили,— исподтишка начинают топить. Реброва подсунули, а этот урод радешенек услужить.

— Ну, потолкую с тобой... Давай чифирь!

Ребров ожил и опрометью кинулся наливать. И до того он спешил угодить, что налил Матюшину в голубую кружку. Все стихли, когда поднес Матюшину голубую. Тот в скамью вжался. Ребров же ничего не понимает, дурак, и виноватенько улыбается, силится угодить, докладывает:

— Кипяточком, кипяточком заваривал! Огонь!

Прорвался вдруг чей-то смех.

— Это Помогалов чай гоняет, тоже из голубой пить не желает!

— Дожили, в карауле кружек нет человеческих.

— На-ка, смертник, хлебни...

— Чужого не надо, обойдусь.

Вышкари довольно да сыто ухмыляются, будто вмиг объелись, и муторно тяжело стало в животах, в головах. И он ухмыляется, такая ухмылка ему уже и легче давалась. Стали сонливо утекать в караульное помещение. Дождо со старшиной слушали радио. Китаец хотел спать и клевал головой.

— А что по радио передают, какая погода?

— Град со снегом и молнии! — ухмыльнулся устало Помогалов да крикнул петушком: — Ну что, сынки, еще-то пошагаем? Живые есть? Вы терь, что на зоне, что в зоне, а я помиловки дать не могу. Никакой вам второй серии. Кино кончилось.

— А чего, чего? — задрался Дыбенко.— Чуть что — сразу пугаете. Кормить нужно хорошо, вона ни хлеба не хватило, ни чая...

— Знаю я вас, сами обжираете, а потом жалуетесь.

Дождо украдкой сказал:

— Воорусаца, товариса насальник?

— Валай, вооружай... И это... сержант, без фокусов!

Один за другим вышкари поплелись разбирать оружие. Отыскав в колодке свой автомат, Матюшин потащился в караульный дворик.

Растянувшись, переходили степью из караульного двора на лагерный круг. Матюшин пошагал впереди, чтобы никого не видеть. Из хвоста его окликали и материли, чтобы не гнал, но Матюшин не слушался.

Надолго опередив наряд, он уперся у тропы в железную первую калитку, пройти которую мог только со всеми,— вход ее был заблокирован, и когда она распахивалась, то взывала истошно сирена. У тропы его и догнал китаец.

— Эхха... Так нехоросо. Наса всех обогнала.

— Тащатся, как бабы... Слышь, крикни им позлей, а то растащились!

— Продавай скорей, надо, продавай. Твоя мосет не продавать, а моя надо домой. Деньга хоросо. Домой много деньга надо.

— Заладил одно, а я говорю — хватит, пускай время пройдет.

Дождо улыбнулся и качнул согласно головой.

— Тогда давай деньга. Давай сто рублей — и хоросо.

— Нету у меня.

— Эээ... Нехоросо. Продавай — будет деньга. Думай, нет денег — пойдес на зону. Моя насальнику будет докладывать, насальник узнает.

— Сука китайская, сам же себя и заложишь, я молчать не стану!

— Моя не продавал, Матюса, а твоя продавал. Эх, твоя одна, Матюса.

Китаец вынул из-за пазухи флягу и ткнул ее Матюшину. Тот было хотел ее отпихнуть, но слышал топоток и поневоле вцепился, молча и зло уместив сбоку от подсумка, на отяжелевшем ремне.

Потянулись из черноты все отставшие: инструктор с овчаркой, двое хабаровских и Дыбенко, что весело погонял сонливых да понурых зверей, сбившихся в стайку.

— Куда рванули, мужики, оторррвалися!

— Тебя ждать, что ли, блаватого!

— Ночь-то какая, не наглядииишься!

— Да заглохни ты!

— Что, тюха-матюха, жизни не хочешь радоваться? В говне твоя жизнь-то?

Матюшин матернулся и сквозь зубы стерпел. Дыбенко его матерков не боялся, но и не стало у него настроения, чтобы посмеиваться или затеять драку. Они оба никого рядом не замечали, оттесняя собой других. Матюшин, когда китаец открыл вход, шагнул твердо первым на тропу, а Дыбенко разжился у зверей куревом и отстал, попыхивая и никуда не спеша.

Тропа глубже утягивала наряд по лагерному кругу. Потянулся забор. С другого боку, которым наваливалась на тропу зона, мерцала бьюжкой егоза, будто зависшая над новой ровной следовой полосой.

Над зоной высилась в ночи труба котельной, из беззвучного раструба которой лился белесыми повитками и растаивал холодно дым. Из прожекторов, прикрепившихся паучатами к трубе, били два накаленных добела луча, чей дальний свет заволакивал тропу, так что солдаты по ней двигались, будто в тумане. А за стеной лагеря стояла и не дышала тьма, такая же дощатая, в два метра высотой, и сразу начиналось, выше заборов, небо.

Когда тропа как бы укорачивалась и начинались чередой постовые вышки, у идущих в наряде будоражились нервы. В тот миг все трезвели ото сна, чувствуя легкость ничего не весящих тел, нагруженных только железом автоматов, и ознобистый холод. Кто-то отставал, кто-то убыстрял шаг, кто-то держался с безмолвной злостью своего места; строй идущих выравнивался и подтягивался, и тот, чей черед был заступать на вышку, выталкивался вперед, сходясь с ней один на один.

Остановились у первой вышки, заговорили, повеселели. С вышки высунулся и заорал оглушительно солдат:

— Отморозился я смены ждать! Окопались в карауле, падлы?

А кто-то тащился уже на вышку и оглядывался через силу за спину, на тропу, но никто его не окликал. На землю скатился вместо него орущий, будто оглохший, детина, который плюхнулся на грудь Дыбенке и дыхнул ему с ходу в рожу:

— Васек, дай курнуть! Подыхаю, братаны, хоть затяжку!

Инструктор увел овчарку дальше по тропе. У четвертой вышки местечко было похоже на тупик, глухое и темное, сдвигались в угол заборы, сдавливалась в их тисках тропа; инструктор таился и взмахом руки подал знак остановиться. Никто не разобрал, чего оң боялся, но все утихло и одолели тяжело остаток тропы, будто гору. У вышки отдышались и ослабели, поняв, что происходило.

— Спит, — доложил шепотком инструктор и смолк, выжидая, что будет.

Вышку окутывало поволокой постовых фонарей. Глазу она выворачивалась боком, так что в просвете ее квадратуры, чернея, виднелся по пояс каральный. Солдат спал стоймя, свесив головушку, похожий в плащ-палатке на пугало.

— Кто такой? — вызнал тихо китаец.

— Зверь... — прошептал у него за спиной Дыбенко. — Хорошо спит, молодой, сладко. Эх, надо бы раскумарить! Пойду-ка, может, возьму его тепленьким...

Инструктор остался с овчаркой — присел, обнял рукой, придушивая, чтобы не трепыхалась. Дыбенко с китайцем подбирались к вышке. В эти мгновения Матюшину, как и всем подневольным, которые ожидали на тропе, стало зябко, наступил холод. Сержант отчего-то остановился у самых сходней, и Дыбенко один поднимался на вышку, пропадая в сумраке. Глядя, каким охотником заходил Дыбенко по шаткой лесенке на вышку и как он с усладой медлил, Матюшин задрожал от такой же проснувшейся страсти — заорать во всю глотку. Да чего там! Вот скинет автомат с плеча — догола всех этих разденет и плясать заставит!

Зверь же ничего не чуял. Кумарил. Матюшину его жалко не было, только мараться не хотел и ждать. Одна задержка выходит Матюшину от кумарного. Вдруг послышалось, что вскрикнул кумарной, и вышка, было видно, тяжело дрогнула. Китаец что-то прокричал, все ослабились и тронулись с пересемешками по тропе. Смеясь, Дыбенко пинал кумарного вперед головой с вышки по раскатистым крутым сходням. Когда он скатился, за него принялся китаец, не давая подняться, встать. На земле его пинали, катали, будто мячишко. Веселились Дыбенко с хабаровскими. Зверь оживал и содрогался радостью, что попал в лапы к своим, а соображая, что над ним потешаются, стал и сам угождать. Инструктор сторонился, сдерживая урчавшую овчарку, и ухмылялся. Он ведь серьезное дело хотел затеять с кумарным, но видит, что потеху устроили. Катается, похрюкивает — умрешь со смеху, а и корчится, будто поддыхает, так что и жалко его делается топтать.

Матюшин так и стоял. Дождался. Но весело было, и с потехой не спешили расстаться. Тогда он не выдержал. Растолкал одеревеневших зверей, шагнув из-за их спин, глядя с болью и силой, и тупым ударом приклада, будто давил, наступил елозившего под ногами кумарного — тот визгливо вскрикнул, схватился за голову и, поскуливая, слег.

Дыбенко отшатнулся.

— За кой свалил-то его, весело ж было... — сказал он и взялся подымать кумарного с земли.

Зверь крепился, как мог, чтобы устоять на ногах. Из башки выжимается кровь, гуще коротко стриженных волос, так что и не стекает, а застывает выше лба бурой, с пятак, отметиной; но улыбка как и была, виноватая разве что. Не верит, что бить перестанут. До той минуты устранившийся, вспыхнул, метнулся наводить порядок Дождю, и беззвучно шагали все дальше, обходя лагерь, задернутый наглухо заборами, точно в издевку, так что ничего кругом себя не поймешь. Стиснутый в кубы жилзоны, промзоны, будто утрамбованный без воздуха, без жизни, лагерь, если шагать в обход, вытягивался в километр той самой, схожей с лазом, тропы. И давался этот километр тяжелей, нарастая ее узостью и глушью. То был километр без начала и конца, долготу которого дробили только лагерные вышки да разгранзнаки. Утрамбованный в могилки бараков, сдохший в них, лагерь заживо восставал этой вот долготой и пустотой, сомкнутой заборами да проволокой в безысходный круг, по которому только вперед, от вышки к вышке, ползущей гусеничной массой двигался наряд, а в нем и он, Матюшин.

Ему теперь чудилось, что он ползет, а не шагает. Он с отвращением и болью обнаружил, что, добив кумарного, ничего-то не совершил, а тащится со всеми еще нестерпимей бездвижно — с той тягостью, будто его это прикладом оглушило, сшибло. Задыхаясь, не шагая, а выталкивая себя вперед, он потихоньку отставал, выбиваясь из сил, уставая. Быстрее бы на водочную, на вышку, быстрее бы отстоять — и дадут спать, спать, спать... От одного этого бормотания Матюшин помягчел, но испытал, как во сне, уплывая, что его давят, теснят,

куда-то толкают, и налился свинцовыми дробинками дрожи. Это же другой спит, он, сука! Вот оно что, спит! Дрожь пронзила, будто дробинки впились в тело, и Матюшин, коченея от смертного нутряного холодка, испугался, как если бы и начинал тонуть, погибать.

III

Как до водочной дошли, так уныние нашло и на солдат; Матюшина подгоняют, подгоняют китайца с разводом, чтобы не мешкали. Охота с поганым этим местом побыстрее распрощаться. Смены на водочной он держал со зверьком, которого даже имя никто в роте не ведал. Один Матюшин с ним знался как со сменщиком. Обнимал он автомат и бормотал заунывно, что-то верещал. Матюшин заступает на вышку и еще растолковать должен, что вышел срок, — иначе тот не поймет, там и заночует. Надо вдарить больно, тогда поймет и из одного страха испарится. А зверьку заступать на водочной, тут уж наоборот, упрется глазенками в землю — и ни шагу, покуда разводящий сержант на вышку кулаками не затолкает.

Кто-то крикнул вдогонку:

— Не спи, Матюха, а то вы...ут!

Их не дожидались. Наряд снялся с места и спешно утекать по тропе в темноту, в которой близко уже теплилась караулка, еще вышку сменить и остаться.

— Рви отсюда! — пнул Матюшин сапогом.

Тот забился пичугой в угол и что-то жалобно запричитал.

— А ну, сык тым сделаю! — накинулся было Матюшин.

Зверек присмирел. И говорить чего-то воодушевился, жаловался. Матюшин сам утих, пожаловался:

— Это ты верно... Крепись, крепись... Это мы с тобой знаем, мы тут с тобой еще и сдохнем...

А у того глаза были тусклые-тусклые, но вдруг блеснули, прослезился он, понял что-то или опять испугался, да уж не удержался и всплакнул от страха-то. И вдарил тут Матюшин больно, в душу, в дыхло ему.

— Убью, ссука, да уйди ж ты!

Когда он пропал из виду, тогда на водочной смерклось. Было черно, а стало еще черней. Матюшин опустошенно оглядел взятое под охрану. Впритирку с вышкой устроился железнодорожный съем, и всплывала кругло из черноты зековская больничка. И все нынче смутно проглядывало: стены — не стены, рельсы — не рельсы, земля — не земля... Отсюда же и степь, какая от утра расстилала просторы шире небесных, к ночи от места лагерного отступила и у постовых фонарей ждала: не хватало против их бесхозного каторжного света ее мировой силы.

Ночью надзирателей из зоны выведут. Останется горстка для порядка, запрутся крепче и утра ждут. Из-за того, что устроился железнодорожный съем, запретная полоса и ограждения у водочной были вовсе никудышными. Тут зек мог солдату в морду плевать и все ограждения махом одним перепрыгнуть. Какие уж флаги — хоть трактор по рельсам в зону вгоняй, и никакого следочка не останется и не услышат.

Матюшину бежать с водочной, а он стоит. Но вышка и по росту не пришла. Чтобы устоять, надо было или скособочившись к ней привалиться, или голову пригнуть. Скособочился он, закурил папироску и безутешно злится. Жизнь говно, потому что долго на водочную шагать, но и дошагаешь, а жить некуда. И глядеть не на что, и думать не о чем.

Довольствуешься от мира одной этой пядью земли, только на одной пяди стоишь. И как глянешь в небо — так рылом грязным об его ширь. Громада! И таким себя гадом чувствуешь, ведь только и удавиться можешь на своем-то клочке или изгадить. Гад, ползучий гад ты на этих просторах, и из милости да-

на тебе пядь земли. И как жить, если саму жизнь возненавидишь? То есть через силу и через злость будешь жить... Сдохнуть? А вот вам! Подвинуться?! Сами сдохнете!

А ветер по мордасам хлестнет и в степь уносится, и страшно навстречу его порыву дышать — задыхаешься, разрывает изнутри грудь. Вот гонит ветер пылицу, вот на вышку налегает, так что трещит она и гудит. И рвется отовсюду, и повсюду мечется, будто и хочет пристанище отыскать, но такой простор, что так и несет без удержу.

Рядом послышался шорох. И, не скрываясь, на свет постового фонаря вышел, прихрамывая, как вмурованный в робу, зек. Выдавая себя солдату, он встал в полный рост под бьющий встречный свет. Вглядываясь, Матюшин припустил все же автомат с плеча. Этот был чужой, его Матюшин и не мог припомнить, хоть знал всех стоящих в лагере людей, с которыми торговал. Но себя он обнаружил дурачком, дал оглядеть с головы до пят, и Матюшин рассудил, что тревожиться не из-за чего, может, какой-то доходяга из больнички — эти, бывало, шатались по ночам, вылазя дыхнуть свежим воздухом. Тогда и зек, ослабившись, присел и вытянул корявые руки, будто согревался у костерка, будто на березку.

— Парни, рождество скоро, Пресвятой Богородицы!

— Чего надо? — растерялся Матюшин.

— Ларька жду, выпить надо мне.

Матюшин глядел недвижно поверх зека, во мглу зоны, и не отвечал.

— Продайте ж... — заныл зек.

— Ларька не будет, закрылся.

— Я задорого куплю, парни, дайте ж выпить — помру...

Крикнуть, громыхнуть затвором да хоть выстрелить в воздух, чтобы только отогнать, — на то он и право уже имел. О том и думал, не в силах вынести ударяющего по нервам нытья. Но был Матюшин запуган, пугаясь и самого себя. Боязно поднимать шум, чтобы служивые из-за него по тревоге в карауле вскакивали, боязно потревожить начальников, взвинченных с прошлой ночи, когда зеки резались, и боязно было, как о смерти, хоть украдкой подумать про самогона.

— С этой ночи червонец накидываю, червонец!

Зек, которого от вышки отделяли пустошь запретной зоны, разболтанные, дрожащие на ветру воротца, закричал надрывно с гневом:

— Да подавитесь вы!

От вопля Матюшин устранился, соображая, что этот уж не отцепится, будет забывать, давить, того и гляди озверевает — устроит ночку. При мысли, что он заорет еще, у Матюшина нахлынывала в руки дрожь. Боялся он за себя, неистово, до опустошения желая одного — прожить эту кромешную ночь. Осилить. Уцелеть.

— Тебя как звать?

— Митькой.

— Ты чего это говоришь, что умрешь?

— Я помру... Мне, парни, не жить...

Матюшин устал и смирился, что будет этой ночью торговать. Стало ему тоскливо, но и светло.

— Двадцать рубликов положь на вышку. Да шевелись, дура, тебе ужираться, а мне еще ночь топать!

— Фу ты... Я люблю, чтоб к человеку с уважением, — расплылся зек в темноте. — Ну, уважьте ж, не полезу, не могу! Парни!

Зек на глазах его замесил узелок. Но, глядя на него, холодея, Матюшин подумал, что кинет-то криво, не иначе доходяжка. И с размаха не удержался он на ногах и повалился на землю. Поднялся, пошатываясь, размахнулся наново — и подкинул.

— Во! А где ж оно? — И в небо глядит. — Ааа... Не боись...

— Гуляй, бросала, платишь вперед, стерпишь. Подберут, я свистну, да скоро-то не жди, не жди... — успокоился Матюшин, что узелок исчез под вышкой, и зек махнул без сожаления, и повернулся молча спиной, начав будто камнем на дно уходить в темноту зоны.

Матюшин задохнулся, будто ударило под дых, и схватился за живот, но потом отпустило. То был порыв ветра, когда и лагерь одной живой тенью — комом своим, своей всклокоченной дремучей башкой — бился оземь, заливаясь черной кровью, а потом шарахался назад в ночь, будто на крови этой черной и вырастая, твердея. На собственной шкуре зная, что это началась болтанка, что где-то в степи сшиблись ветра, сойдя стремительно с путей сторон света, и токи их, их молнии, будут высекаться из степи и ударять по лагерю, как в грозоотвод, — по трубам, маякам, вышкам, Матюшин осел на дно будки, законопатившись наглухо досками, будто в гробу. Он закурил зябко папироску, слыша уже не гул ветра, а глубокую тишину. Высушиваясь теплом дыма и затягиваясь глубже, трудней, чтобы не уснуть, Матюшин и не дремал, и не погружался в табачную дурноту, а безвременно, недвижно мечтал. Вдруг ясно и просто из нутра его ослабевшего явилось то, что мучило подневолью, начиная с пробуждения: этой ночью он устал за прожитое и за оставшееся жить — устал смертно. И даже не вытолкай его с нар отчаявшийся тот парнишка, он бы все равно тащил за собой на тропу смертную тяжесть, о которой думал с дрожью не терпения, что одолеет и прикончит. И самогонку не продавать бы, бегая с ней из ночи в ночь, но выпить до капли и схорониться в степи, чтобы очнуться и ожить посреди тишайшего степного пения, под кровом шевелящихся дымных трав — рано утром.

Но тут что-то сильнее собственной воли, какой-то второй, как дыхание, страх заставил его мигом напрячься и вскочить на ноги. Зона немятежно стояла сумеречными рядами ограждений, густо ошетилившись колючкой, будто хвоей. Кругом ни звука, ни шороха, только шум ветра. Но этот порядок и безмолвие в ночи исподволь терзали Матюшина, отнимая покой. Он выглядывал, вслушивался, неизвестно к чему готовясь, но помня, что водочную должны навредить.

Через минуту на следующей от водочной вышке, что замыкала лагерный круг и стояла под боком у караулки, ухнул упреждающий окрик — караульный на ней выдержал проверку, не проспал. Но заходили на тропу с тылу, не по-дежурному, как незаметней и ближе — и окрик упредил, что скоро будут гости и у водочной.

Он нагадывал, что из дальней темноты чужого поста появится человек, но услышал порывистое и клокочущее дыхание овчарки, которая вынырнула как из-под земли и уставилась с тропы на крутую высотку вышки, которую и стерегла, задрав башку, будто беззвучно выла. Овчарка стерегла для инструктора — это он спускал вызлобленную с поводка, посылая далеко вперед, чтобы разведала у водочной; шагай близко, на стороне зоны, с проверкой своей надзиратели, будь близко хоть живая душа, овчарка бы сработала лаем; инструктор бы узнал, что место не чисто, что надо отменить дело и прошагать вышку без останки.

Матюшин разглядел инструктора и махонького китайца, который поспешал за ним; он отсчитывал их шаги, то есть сердчишко вдруг забилося с ними в шаг, и хоть не считал, сколько им оставалось шагать до вышки, все же мог это ощутить. Ему чудилось, что он даже вник в их сердца и слышал, как заикается сердечко у Дожо, будто он по правде и не поспешал, а тянул отстать и, может, боялся шагать впереди инструктора, который его пугал; слышал Матюшин, что и инструктору страшно и он заставляет себя шагать тверже, дышать круче, сжимая сердце в кулак, будто чужое.

И чем ближе они подходили, тем тяжелее делалось Матюшину дышать. Будто уже знает, что толкало этих двоих к водочной и что дальше произойдет, но, даже зная, ничего он не может изменить или упредить. Да и не хочет, нету

в нем самой такой силы! Ведь знал он, что за яма эта вышка, как и то, что быстрее продадут, чем спасут, и это знание есть соломинка, данная всем, каждой из людей твари и ему самому, чтобы выжить, но пошагал же на водочную, да еще тварью и извернулся, чтобы попасть, и никакое знание, никакой страх его тогда не остановили. И когда сержант с инструктором совсем уж поравнялись с водочной, так что Матюшин слышал, как пыхтит китаец и гремит автоматом с причиндалами, то было ему тягостно только от скуки да тоски, друг на друга без конца похожих. Скучно было Матюшину, что все знает и делать нечего, а тоскливо, что никак китаец не успокоится, дергается и, будто набит медяками, заунывно гремит.

Осилил немоту Дожо, негромко окликнув Матюшина с тропы — только чтоб проверить, а на вышку всходить не было ему нужды. Матюшин отозвался и явился им на глаза, выглянув нехотя на сторону, отслоившись светлым смолистым бревном от беспросветных стенок будки. Дожо затребовал, может, и с издевкой, продаться ли фляга, но обмяк, услышав неожиданно в ответ, что продаться. Инструктор стоял без движения, брезговал, но пришлось ему живо встрепенуться и сдерживать овчарку, чтобы не залаяла, когда китаец полез искать. Матюшин слышал, как он пыхтел и возился под вышкой, и сам мучился поневоле: когда же отыщется узелок? Китаец вдруг утих, ловчей без шума попытился, и Матюшину полегчало. Вот же каким ловким и тихим делают человека деньги, если в руках у него — как маслом смазывают, ноги, как салазки, везут. Добавляло китайцу покоя и слабило жадную душонку даже главнее доставшихся денег то, что под вышку лазал он сам и сам заполучил узелок, а не через Матюшина, — значило это, что деньги здесь были все и что Матюшин сторговал флягу за червонец, а не за больше, то есть сторговал вчистую на сержанта и ничего не умыкнул с его фляги для себя.

В ту ночь каждого из них грызла боязнь быть пойманным, почти виноватость. Китаец еще радовался деньгам, и сжатый в кулаке узелочек с ними дразнил его, будто главным уже было везение, — и вот Дожо не попался, ему повезло. Может, в тот дразнящий миг и опомнился сержант.

Не зная, что делать, Дожо молчком отдал инструктору растрепанный уже узелок. Инструктор, оглядевшись кругом, затаившись, также молча скинул тряпицу куда-то за спину и шепнулся зло с китайцем.

Матюшину же думалось, что они делят деньги: вот китаец поднес узелок инструктору — сам ведь и считать толком не умеет, а тот отбросил тряпицу, и шепчутся они, сколько кому будет, как разойтись, может, и за прошлые долги. Тут, на тропе, делить и покойнее, чем в караулке, где из каждого угла пара глаз так и впивается. Это Матюшин понимал, на себе испытал, и потому, хоть и позабыли о нем сержант с инструктором, косился на зону, был начеку — участвуя в их дележе, прикрывая их. Будто сострадавая. Но вдруг вышка невесомо дрогнула под ним, кто-то шагнул на лесенку и один подымался. Матюшин еще успел обернуться и взглядеться: там, на тропе, одиноко выстаивал китаец, уже в ожидании инструктора, шаги которого звучали все ближе, все тяжелей, все тягостней, будто инструктор шагал на смену и водочная была его постом.

Когда инструктор сказал через дверцу Матюшину о деньгах, что денег нет, своим безразличным, будто бы сонным и без чувств голосом, тогда Матюшин не поверил, зная эту его повадку шутя дергать тех, кого всерьез-то тронуть боится, — как бы изматывать нервы, вселяя исподволь неуверенность да страх. Инструктор же многое готовил сказать и готовил-то Матюшина к чему-то бесповоротному, небывалому, но начал медлить и не понимать, отчего Матюшин молчит. И взялся инструктор кусать Матюшина с боков, выпрашивая бегло да зло, кто же заказывал самогон, будто мог своими путями Матюшина на честность проверить. А он и тогда не слышал инструктора, не признавал, и еще не вспомнился тот неизвестный ему никогда зек, а только точила отупляющая злоба — что своими обманут.

Инструктор не выдержал и, сломавшись сам, отпрянув, выпалил поскорей все, что держал наготове в уме: что Матюшин должен завтра же выкупить у них оставшийся самогон, а иначе всем караулом сдадут его голову Арману, заодно с товаром и сдадут. Выговариваясь, он отступал и в последний миг бросился бегом, легко мальчонкой скатился на тропу. Матюшина ознобом обдало — значит, не брехал, значит, завтра. Кинулся он глядеть сержанта с китайцем — опоздал, не воротить их, течением тропы далеко отнесло, будто две щепы. Вот окрикнул их наново караульный с невидной уже Матюшину вышки, умаяли паренька. Все к нему, как на другой берег, и утекли. В то глубокое время ночи сомкнутая ее тихая гладь, так и чудилось, что лежит меж берегов, оторванных друг от друга кусков степной суши. Матюшину показалось, что все уплывает в ночи, становясь чужим и недостижимо далеким. И что водочная сошла в эту ночную гладь и уходит, уходит, всем чужая.

Теперь он мучительно переживал, что инструктора с китайцем больше нет и что он не сумел удержать их, склонить на свою сторону или хоть уцепиться и остаться на одной с ними стороне, берегу. Проглотил он неправду, остался бы с ними. И если бы отдал им деньги за весь товар, как сказал инструктор, то ведь остался бы с ними, только надо было смолчать, сдаться их воле, как бы и схитрить. Смолчать, но купить этим и их молчание. Сдаться, но и крепче еще их самих сдавить. Своего бы они не тронули, свой, даже обманутый — все равно свой, даже и родней... Теперь он один против всех, и что насмерть биться, не отдавая денег, что отдать деньги и выполнить условие — все равно уж поглотят, съедят, только что рубликов прежде выманят. Думалось ему, когда на вышку шагал, что все пропало, что нечего терять, а потерял только теперь. Дождался. Сам себя, выходит, и угробил. Вместо того чтоб спасти себя, взял да и погубил. А может, не зная, и хотел того, чтобы скорей себя сгубить. Может, это и есть его, Матюшина, самая выстраданная человечья цель, неразумная и угнетаемая, будто в утробе, мечта, и наконец-то ее достиг?! Потерял, наконец-то потерял, и вместо земной смертной тяжести — небесные простор и легкость в груди. Того ведь и хотел!

Матюшину надо было знать время, но было ему не дано узнать его в ту ночь. Браться за трубку и услышать из хрипа и звона голос Помогалова он не решился, будто старшина мог влезть по проводам в его душу и все тут же понять. Теперь надо было знать, сколько ему осталось. Ночь стояла густо, может, уже и скрывая, будто туман, мерцание рассвета. Он боялся, что смена нагрянет скоро — так скоро, что успеют застать врасплох, схватить. И еще в нем теплилась угольями давно сожженная злость, что ночь никак не кончится. Хоть он уж ее сам решился кончить, стрелять в себя.

Застрелиться ему подумалось в отместку, когда сбежали, бросив его на вышке, инструктор с Дожо. Но от порыва того мстительного осталась рана или воронка, засасывающая куда-то на дно. Все в нем будто убыстрилось и задышало гулко этой воронкой. Он ясно увидел, что и как будет, если он сменится с вышки, воротится в караул и больше на вышку не пойдет. Увидел, проживая за какие-то минуты весь уже начавшийся будущий день, в котором сдадут его Арману, а тот арестует, отослав под конвоем в Караганду в камеру следственного изолятора. Не спавший четвертую ночь кряду, полуживой, Матюшин с легкостью отчаяния уносился вдруг от жизни в какое-то небытие; как бы начинал спать с открытыми глазами и видеть сны, а не жить.

Матюшин увидел, испытал и прожил в минуту и то, как уголовные будут пытаться его, краснопогонника, в похожей на утробу тюремной камере. И твердая воля застрелиться тогда обнажилась, как дно унесенной в воронку его души. Стреляться надо, понимал он твердо, чтобы не помереть в тюрьме или на зоне и потому, что все наперед знаешь; что есть только громада последнего уже начавшегося дня, который проклянулся из темечка этой вот ночи, на горе ее покоится водочная вышка, еще покоится. И всем для Матюшина сделался в ту

минуту автомат, тяжесть которого давно ушла в плечо, в тело и который сам, без Матюшина, теперь ничего не весил и, ватный, только как-то согревал бок. Смерть от его пули и манила Матюшина этим теплом и добротой, так что не рождала отпора, даже страха. Страшным было не успеть и попасть вдруг в караулку, где разоружают и берут буднично под арест. Достигнув душой этого предела, точно бы пройдя конечный круг страшного своего небытия, Матюшин вернулся в сознание и тут же передернул затвор.

Теперь он все знал твердо и даже не думал, что может не успеть, и накрепко верил, что успеет, и не мучился. В расхристанной искуренной пачке чудом завалилась папироска. Подумал он, что будет курить и глотать из фляги, а потом застрелится. Столько он себе отмерил, нуждаясь отчего-то, чтобы смерть имела точный свой срок, но и не откладывая того, что решил накрепко. Он вспомнил о фляге: для того и явилась она, чтобы в эту минутку быть выпитой, будто назначено ей было. Матюшин еще ухмыльнулся, что на своих поминках будет выпивать и что зек тот дурной уже не получит своей самогоночки.

Он поднялся со дна вышки поглядеть в последний раз на зону и хлебнул из фляжки этого пойла, с водой намешанного. Вся непроглядная пропасть зоны так и застыла, не мигая огнями и тысячеоко, каждым лучиком впиваясь в него. Фляга, налитая еще тяжестью, было образумила его на миг, остановила, и он вдруг подумал, что пить-то ему нельзя. Никак нельзя, хоть и не знает сам, какой есть смысл запрещать себе выпить. Но потом он подумал, что пьяному ему умирать будет и вовсе не больно, и стал, захлебываясь, глотать из нее, теряя память. Весь он напрягся, впиваясь уже сам в шевелящуюся огнями хрипучую черноту.

Прощальной была мысль, что напился, а знает про это он один и никому уже не расскажет, и никто его не накажет. Держа эту мысль в себе, будто глоток воздуха, Матюшин погрузился на дно своей будки и, хмелея да веселея от бесстрашия своего, задымил последней папироской, которой не дорожил, котирую про себя-то уже и скурил, пустил по ветру, спалил.

В себя, полулежачего в этом гробу, и готовился он выстрелить, наслушавшись этих конвойных вечных сказок чуть не до глухоты, как кончают в полку вышкари, как это бывает, — и то, что выверял и размышлял, утверждало его и делало сильнее, и он почти отдышал, сам собой гордый, валяясь на днище будки. Он сдернул автомат на очередь, не желая и в том себя пощадить. Он не знал, что значит этот, из ничего, выбор, понимая только, что очередь сокрушительней и страшней.

Теперь, сознавая свой бездыханный изуродованный труп, он глядел на него свысока и без жалости, будто в одну точку, думая и думая о своей правоте, неожиданно и с силой веруя, что поступает наперекор какой-то неправде и до сих пор борется и победит. От него же другого хотели. От него хотели, чтобы покорным был, то есть чтобы покорился и жил, опутываемый со всех сторон страхами, долгами. А такой он им не подчинится никому: это он их расстреляет в самое сердце, через себя навывлет. Будто они прикрывались его страхом, его виновностью, а теперь он покрывать-то их перестанет, теперь-то они забегают и будут мучиться, как он один мучился, когда они жрали да спали. Без него, без Матюшина, рухнет водочная и торчать останется его труп — невиноватый. И его уж вину не докажут. Завтра они, китаец с инструктором, под суд пойдут, у них завтра фляги отыщут, их завтра сдадут всем караулом, потому что сдохнет Матюшин, но суды, стукачи да пойло на этом свете останутся. Только замполит, который его травил, слетит. Не будет больше Арман офицером, не удержаться ему в офицерах на трупе. Раз есть труп, есть и те, кого судить надо, правду отыскивая да виноватых, выходит, уже в его смерти. И на водочную кого-то погонят вместо Матюшина, из тех, что ударяли ему в спину. А кого не погонят, увидят этот суд, и страх увиденного мучительней будет, чем сам суд, и дольше. И пускай снаружи спят они да жрут, а нутром-то будут блевать и воро-

чаться — отравятся, кто грибами погаными закусывал. Будут живы, но такие же изнутри трупы.

Спаливая душу дотла, Матюшин окоченел от усталости, без сна и от пошла сморился, все так же видя во сне этот труп, эти рожи и потому думая, что не спит и размышляет и что папироска еще дымится. Он и не почувствовал, как папироска смертная сжарилась, потухла в его пальцах, что есть боль мученическая. Но его не проняло.

IV

Когда распахнулись, будто вылупились, его глаза, то он увидел не ночь, а утро: раскрывшийся воздушный зыбкий простор и дымоход пронзающий белых облаков в сумеречном и млечном течениях неба. По жилам его хлынула студеная свинцовая бодрость, и он ухватил крепко автомат, но вдруг что-то уже наяву стукнуло в вышку, будто камешком, и Матюшин вскочил, срываясь без раздумий вперед, как выскакивал пружиной, боясь не успеть, когда орала побудку.

В утренней пустынности и молчаливости, которые были как воздух, в которые рванулось налитое свинцом тело, ничто не сдвинулось и не отозвалось. Но Матюшин ощутил, что близко с водочной кто-то есть и дышит, с кем один на один стянуты этой пустынностью да безмолвием. И успел он почуять: это таился зек.

Так и должно быть.

Теперь ночь и прожита.

Думать о флаге ему было непосильно, как вдыхать простор воздуха, нарадившийся из ночи, но Матюшин силился понять, что с ней делать, и ждал той минуты, когда из беглых сумерек выйдет навстречу водочной тот неизвестный зек, с которым он связался этой ночью, с которым так же не знал, что делать, но который являлся неотступно и тягостно, будто был у Матюшина тенью, хоть сам Матюшин ничего себе не оставил, даже смертной папироски не было у него с утреча.

Присутствие его Матюшин распознавал уже с нечеловеческим чутьем, как если бы зек был его нервом, который щемило. Сам зек отчего-то не приближался к вышке и выжидал — не глядел, а подглядывал откуда-то сбоку, с отшиба, в этом сумраке утра похожий на голое, чахлое деревце. Его и шатало, будто деревце, куда подует ветер. Матюшин отыскал его, теряя из виду овражки заграждений, непроходимые колючие кусты проволоки — все, что их теснило, разделяло шагов на сто. Эти сто шагов, которые Матюшин не отмеривал, были, как вдолбленные в землю, и складывались слоями, плитами ограждений, каждая из которых имела намертво свой, как два аршина, метраж. Взгляды их неожиданно сшиблись в утреннем воздухе. Зек пошатнулся и, как оступившись, шагнул невпопад вперед, и Матюшина напрягло, скрутило, будто легла на него тяжесть плит. Но и зек, сделав всего-то шаг, врос в землю, и ствол человека, видевшийся Матюшину, вдруг застыл столбом.

Стояние, тягость, молчание, пустота той минуты были Матюшину невыносимы, ему даже почудилось, что зека и нет, а есть серый дикий столб, труп. Утро померкло, глаза опять застила ночь. И вдруг столб ожил, попятился — и утро всплыло, нетонущее и воздушное в своей бесцветности. Зек уходил, убывал в сумерках, сгорал в их утренней серости дотла. Матюшин с тем же чутьем нечеловеческим ощутил оставшуюся на его месте пустоту, будто свое брюхо.

И не полуживой, а неживой, он утратил понятие о времени, не узнавая больше, в какой части его находится. Не помнил больше и то, что есть смены, что и его будут на вышке сменять. Но теперь он и стоял как солдат, как о двух ногах орудие, сделанное из одного чего-то твердого, тяжелого и неподвижного.

Светало на глазах, каждую минуту. Стремительность света казалась огненной. Сумерки багровели, накаливаясь добела. Степи чернели, пластами вы-

ступая наружу, будто уголь, вдруг ослепляя снеговым безмолвным простором, отчего в глазах темнело, теплело — спьяну. Непогашенные, жарили прожектора да фонари, и в их жару обжигались поделки бараков, заборов, вышек. Кругом было, как в светлом и пустом необитаемом бараке. Только был он с земляным полом и крытый наглухо небом. Слышалось в нем дощатое кряхтение с гудением трубным сквозняком, и воздух пах необитаемыми лесами этих вышек, небесной сыростью, землей, да старо дышало из углов человеком, как прахом.

Неожиданно прожектора и фонари оборванно погасли. В караулке махнули рубильником, как окрикнули, и утро холодно стемнело, словно обросло грозowymi тучами. Во всем утвердился холодный темный порядок, будто по цепенеющим баракам, заборам, вышкам пустили ток. И наступило утро — лагерное утро. Всю ночь стрекотали железно командирские часы и вот скомандовали.

Матюшину чудилось, что он так и не смыкал глаз, и виделось ясно, как он искурил папироску, и была такая пустотища во рту, будто и обкурился. Зек всплыл на его глазах из успокоившейся гладкой темноты. Теперь он был и толще да и ближе стоял к водочной, чем это было на отшибе. Он возник в том месте, где пролеживал железный и деревянный лом отработавших на этом участке ограждений, что был сложен поленницей и догнивал. Он прикрывался поленницей, видный как на ладони с вышки, но незаметный с земли, и подглядывал за солдатом.

Матюшин вдруг ожил и позвал его задушевно, боясь вспугнуть:

— Митя! Митя!

Обождая, зек потянулся к водочной, шатаясь да вихляя. Трудно ему было совладать с хромой ногой, которая то оттягивалась, то утыкалась палкой. От трудности, что ли, он вставал, озираясь украдкой сгорбленно на проделанные шаги, но выпрямлялся, двигаясь к водочной и маяча солдату. Матюшин выслеживал его да поджидал, как бы заново узнавая. А куда зек волокся, он скинул пустую, растраченную фляжку под вышку — да на его глазах.

— Тебе рукой подать, поправейше, поправейше!

— Нее... Нее вижу... Неету... — мучился зек, но выполз из-под ворот прямо по шпалам на голую окаменелую площадку под самой вышкой, метрах в десяти от главного заграждения, в которую и вжался брюхом, испустив дух, мучаясь попятиться от близкой такой фляги назад.

В тот миг, когда зек сунулся в светлую пустоту этого места, для того и созданного, чтобы шлепнуть человека, как муху, не дав ему ни одной возможности опомниться, укрыться или обойти сторонкой смерть, Матюшин испытал тошнющую легкость, до отращения.

Он не целился, чувствуя животное тепло от зека, слепо наведя ему автомат куда-то в живот. Открыв вдруг всего этого человечка, тщедушного и какого-то умирающего, и впившись в его рожицу — и не человека, а загнанного, хрупенько-хрящеватого зверька. Таких он повидал. Таких он никогда не боялся. Матюшин будто сходил с ума, не в силах решить, что ему делать, так и не зная, кого и за что казнить. Было чувство, ударившее, как нож, что он уже его прикончил, но пронзал ледяной озноб, и он с облегчением постигал, что выстрела совершить не успел, не мог. Он рыскал голодно, судорожно в памяти, но ничего не отыскивал. Бросался в муку свою и боль, будто в огонь, жаждя только возненавидеть, но этого-то и не мог, будто и пытка его не огненной была, а жгуче ледяной.

Но тут зек бессильно остолбенел и задрал башку, отыскивая стихшего солдата. И почудилось Матюшину, что у самых глаз своих увидел эти глаза, бездонные и щемящие таким непонятным страхом, будто и не человецьи. Глядя в них, потрясенный Матюшин застыл, и не двигался зек, усыхая старчески тельцем. Он выдохся на глазах, но дернулся назад, настигнутый вдруг испугом. Его хромая дряхлая нога подвернулась, и он рухнул наземь, уже порываясь уползти... И выстрел загрохотал за выстрелом, оглушивая. И все будто добить никак не может. Зек от разрывов пулевых вертится, неживой, и от пуль извора-

чивается, умирать не хочет. Когда же затвор по-пустому дернулся и окошел, то тело обмякло и обрело вечный покой от одного пустого щелчка.

Матюшин выпустил из рук автомат, будто на волку зверя. Не помня себя, он свалился в дощатый короб, задышав свинцовой пороховой гарью, стекшей на его дно. Оглушенный, он ничего не слышал, но все ближе раздавался топот сапог. Конвойные мчались к водочной. Ветер доносил их переклики. Лай овчарок сходилась с человеческими голосами, но казалось, что обрушивался он с неба, откуда-то свысока. Матюшин же, сидя в глухоте, как дитенок, заплакал. Полились слезы, а он сам глаза выпучил и не знал, отчего ж полились. Но было покойно и тепло в коробе, будто в материном животе. Будто не слезы выплакивает, а глубокое нутряное горе свое.

И зона от выстрелов на водочной вздрогнула. Зеки головы с подушек гоняных подняли в холодном поту. И вся тысяча их разом лишилась душ. Слышат лай овчарок. Слышат топот сапог. Побег! Покуда же подняли караул на ноги, выставили оцепление и место кровавое стерегут. В зону наряд с дубьем введут, а может, и без того обойдутся.

Солдаты стали в оцепление, и по цепи расспросы идут об убитом. Помогалов орет. Одуревшего Матюшина стащили с вышки, где сторожил он убийцей свой труп. Помогалов отхлестал его по мордасам, чтобы в удобный вид привести, а он пугается солдат и плачет. А с мертвяком не повезло. По обличию не определишь, потому как измолот в кашу. Помогалов нюхнул, и от каши той его своротило. Он один рыскал подле трупа, не подпуская близко солдат. Зек валлялся на запретке.

Матюшин пялился туда слепо, но вдруг почудилось ему, что мелькнула булыжником фляга да исчезла в болотной утробе старшины. Помогалов же в тот миг отошел от трупа и стал надвигаться на него, заорал:

— Ты баба или мужик?! Подумаешь, угрохал побегунчика. Я десяток таких угрохал — и ничего!

Он кликнул хрипато сержанта и приказал китайцу упрятать Матюшина с глаз долой в караулку. Верно, верно — волоки его на нары, пускай отсыпается, долой с глаз. Волокут Матюшина под руки через оцепление. Солдаты выглядывают его, топчутся на ветру, ухмыляются. Они уж услышали, им чудно, что смертник зека подстрелил, а давеча, вечером-то, никто и не думал, что такая ему судьба подвалит. Они-то бодрились еле-еле и в караулке сидья засыпали и стоймя. Теперь же стой сколько прикажут в оцеплении без всякого сна, не зная, когда снимут оцепление с водочной или сменят.

В караул завели, а там тишина гробовая: не знают солдаттики, о чем с Матюшиным говорить. Да вроде и боязно, будто и не Матюшин это, а оборотень. Друг с дружкой — и то не поговоришь. А помечтает кто, что должны за побегунчика отпуск дать, так и вовсе каменюка к горлу подкатывает — кому сладко о своей мечте убитой толковать.

Только хлопают Матюшина по плечу или ерошат: молодцом, не сплеховал. А он сидит в караульном помещении и с глаз нейдет, хоть и света белого от него солдатикам нет. От поглядок прячется, а податься прочь духа не хватает. В караулке тепло было и пахло сытно. И мучиться он в тепле да в сытости стал. Помнит-то накрепко, что заманивал человека этого флягой, и мерещится, что подле мертвяка фляга лежит, если Помогалов уже не отыскал ее да не вертит с умом в руках. А может, не отыщут? А человек-то дышит, жив? Места живого на нем нет, слышно, отовсюду слышно, что каша. А Матюшин не верит. Чудится ему, что усыпляют его потихоньку, что играют с ним, а сами-то знают правду. Знают, знают, знают... Про отпуск же кто-то сказанул, и душа отнялась. Думает, что ясней ясного преступление его и давно уж умишками ихними ушлыми раскрыто. Выходит, что из-за отпуска пристрелил: заманил под вышку и кончил. И вот свершилось то, что у вышкарей вечно на слуху было, о чем каждый тайно подумывал да мечтал, но сделать не смел. А он, выходит, по-

смел. И этой смелости, дерзости, этой убитой, отнятой у всех мечты и нельзя не понимать — они ж понимают, знают!

Матюшин багровеет весь. Еще мгновение — и в ноги своим повалится, заголосит. Братцы, родимые, не мучайте, я же не смел, я ж не хотел, он же, сука, сам меня обманул! Но тут примчался в караулку почерневший от хлопот Помогалов. Верно, пропасть времени уж истекла и у водочной конвойным полегчало. Увидал он, что Матюшин не спит, шляется, блевоту нагуливает, и погнался чуть не с кулаками.

— Тебя ж допрашивать будут! — кричит. — Это еще доказать нужно оперу, что невиноватый, это он еще, опер, послушает, поглядит. А ты ж дурак сонный! Чтoб готовый мне был, как огурчик!

— Не хотел я... — заныл Матюшин, чуть не выдавая себя. — Он это сам...

Но Помогалов и слышать не захотел.

— Ты герой, блядь, ты должен мне, понимаешь, героем быть для всей роты. Поди умойся! Спать! Всему конец, кончилась твоя война! Вот оприходуем труп — поедешь отдыхать домой. Бояться тебе нечего. Никто тебя не тронет. Все, парень, считай, отслужил. А будешь скулить, позориться — морду набью.

Прокрался в умывальник, будто от слезки ушел. А там Ребров наждачной здешней водой скоблит посуду. Увидал его — и дрожит. Думал, что за старое бить будет, за пайку ту хлебную.

— Васенька... — лопочет. — Это инструктор сказал твою пайку ему отдать, а с кружкой я не хотел, больше такого не повторится.

Матюшин же слов Ванькиных будто и не слышит. Какая пайка, какой инструктор — нет, врешь! Вспугнуть холюя боится и осторожно руками обнимает, к себе прижимает, чтобы не убег.

— А все вы суки... Что, думаешь, по-вашему вышло?

— Чего вышло-то, Вася, мне инструктор, инструктор сказал.

— Инструктор? Сказал? Чего он тебе сказал?!

— Ничего, ничего...

— Врешь! Знаешь. Все знают. Но я так не дамся. Я вас тут всех уокошу. Мне терять нечего.

Сам того не понимая, он и вправду душил Реброва, сжимая все крепче. Хрипящий, тот вдруг постиг, что его душат насмерть, и, безысходно дернувшись, опрокинув Матюшина, смог вырваться и бросился бежать. Матюшин ринулся за ним, но стукнулся о стену. Очутился в углу темного, глухого караульного коридорчика, что как щель в двух стенах, и не знал, куда бежать.

Он пошарил впотьмах и провалился рукой в распахнутый черный проем двери, почував тут же портяночный дух, ударявший из него, и услышав гулкую тишину человеческого речного дыхания.

К этому порогу мчался Матюшин по лагерному кругу. И нынче ночью не хватило ему сна. Каждый раз он валился бездыханно на нары и думал, что вот этой-то ночью выпится, вырвется на свободу из свинцовой, непроглядной дремоты. Будто потому и жить согласился, что половину жизни обещали из сна...

Матюшин мчался по тропе к водочной. Быстрее хотел. А теперь шумело в голове и загнан он был в эту щель, в этот дышащий дремотой проем. И было некуда мчаться. И больше не потревожит никто, на службу окриком не подымут — будут они без него ходить.

Темень и глушь в спальном помещении, какие бывают, верно, только под землей. Он полез вперед, вжимаясь в стенку. Прибился к нарам, которые чуял, слышал, и взвалился на них, как чудилось ему, на верхотуру, где в давке спаялся дремотно с десяток непроглядных, но таких же, как он, солдат. Матюшин будто врвался в их гуцу, которая зашевелилась, вздыхая истошно матерком. Он отжил и отмучился. Пускай другие ужимаются и ворочаются, чтоб улечься с его каменным, неживым телом.

«Вот и все... Конец...» — успел подумать Матюшин, но тут кто-то ткнул его в живот, тряхнул, натужно стараясь спихнуть с нар.

— Отлягивай! Убью, сука!

Матюшин назваться хотел, а не может вспомнить, как себя звать. Мычит. Упирается. Чудится ему, что душу это из него вытряхивают. Пытают. Начали вести тот допрос. И он, собрав весь дух, застонал:

— Убей, убей...

— Встать! Слышь, борзый, двигай с нар, а то прижгу!

V

Его выпихнули на свет, под лампочку, и он обнаружил себя в комнатухе начальника караула, не постигая, был день или ночь, сколько ж дали сна. Стоял с открытыми глазами Помогалов и удалялся, скрываясь, в болотную темноту помятого своего кителька. Арман отсиживался на стуле, маленький, будто обрубленный по пояс и облезлый; на лбу его прожженно светился потец, висла на плечах и отмокала туша гладкая плаща, черня под ним лужицей пол. Он должен был решать, но пусто, мертво блуждал. Старая тишина забеленных пожухших стен и такой же потолок сжимали их в своих лапах. По крыше слышно расхаживал пришедший будто из прошлого дождь. Гул дождливый погружал и без того тесную, глухую комнатуху в спячку, но никто не спал. Было уже решено, его уже приговорили в этой комнатухе — залило светом жиденьким его глаза. Он видел в том свете только кровавый страшный труп, слышал свинцовый и вмиг до дрожи легчающий вышний гул, покуда молчанием своим, немотой, не дал себе времени опомниться. То, что готово было вырваться из него, застыло в горле, и он постиг, сумасшедше начиная отсчитывать первую ясную минутку, что будет только молчать. Арман его настиг, охлестывая резко, больно да ударяя голоском, потом вскочил и уже кружил душной мокротой офицерской своей плащаницы. Бился. Подходил вплотную, говорил, сгибая руку в локте, будто изготовился бить, но ударить не смел, лицо его морщило потугой, ужимало в обезьянью рожицу, и он делался вдруг уродливым, жалким, будто ничего-то не мог. Помогалов хранил странное спокойствие, и оно обрывало, терзало Армана, он надрывно взглядывал на старшину, будто и не мог тому поверить. Помогалов же вдруг усмехнулся, страха ничуть не ведая, и огладил свысока офицера:

— Зачем душу-то пареньку рвать? Вы труп видели, как было, знаете, сами, что ли, не понимаете, чего хотите, куда лезете... Жалко вам, что застрелил, а не ранил? Бывает, по-первой, человек ведь не прицел. Так вы его и пожалейте, как ему станет жить. А если не хотите, товарищ старший лейтенант, то извините, пора и честь знать, парень четвертые сутки в карауле — тошно мне с вас.

Арман застыл и ясно произнес, что дает ему последний раз сознаться, пока еще не позвал солдат. Старшина усмехнулся, и, цепляясь за эту его неверящую, веселую усмешку, Матюшин мотал головой да таращился куда-то в пустоту. Арман окрикнул старшину, и тот поневоле стал послушней, нахмурился, но верить ему так и не захотел, даже когда офицер произнес в последний раз, что идет за солдатами; с минуту обождал в дождливой той тишине, ничего не дождался и позвал Помогалова идти в общее помещение, за собой.

Когда он остался в комнатухе один, то задыхал, задыхал — и сел на стул. Ждал так долго, что все обрушилось внутри, и спустя время в комнатуху вошел одиноко сам на себя не похожий старшина, жалобно, беспомощно глядя на него.

— Сынок, такое дело, ты, сынок, крепись...— Но из глаз его выдавились серые, будто в серых шкурках, слезы.— Пришла телефонограмма, батя твой, отец твой умер... Она еще вчера у него была, такое дело, бывает же, ты крепись, ну ты поплачь тут, ну, давай... Только ты ничего с собой не сделай мне, ты понял, ты меня слышишь? Дочкой клянусь: ты отсюда сегодня уедешь. Там прописано — подлежит демобилизации, он больше права не имеет. Французик!

Ну, хочешь, я пойду и пристрелю его?! Ну, хочешь, я себя, сссуку такую... Что же ты оглох, да не молчи же ты!

ЭПИЛОГ

Последние воспоминания

У автовокзала, подле бесцветной бетонной коробки-стекляшки, давилась, орала толпа разношерстного народа, и мучилась на морозе большая белая человекообразная собака, привязанная веревкой к до хрупости покрывшейся инеем березе. Хозяин забыл про нее, верно, давился в той толпе. Но Матюшину еще подумалось, что это есть и простой, ясный способ избавления от ставшего ненужным животного: не выгнать, потому что ведь будет тереться у дома, покоя не даст, а отойти подальше и привязать в обжитом месте, хоть и у магазина. Тут либо ее своруют, позарившись, либо она в одну ночь околеченет на одном месте, сдохнет и покроет ее той же ночью сугроб, так что не станет мучить совесть. И весь день будет рваться на веревке, будет и не скулить уж, а лаять истошно, что убивают, но никто так и не поймет из прохожих, что ее тут оставили на смерть, а не на минутку и что лай этот есть смертный вопль. Он только сошел с автобуса, приехал на рейсовом, и оглядывался, набредая глазами на ту отводную от шоссе дорогу, про которую втолковывала мать. А до того они сходили на советское кладбище сказать, что подхоранивают, устраивали дела: без него мать решила не хоронить. Матюшину там вдруг сделалось хорошо, в том уголке; хоть мать заставила его в первый раз нарядиться в дубленку, пыжиковую шапку и ботинки, что пришлось ему в пору и какие сберегал лет пять да почти не износил отец, покупая себе из бережливости все большее. Он ходил по кладбищу, сдавленный непривычно дубленкой да и не свыкшийся еще с мирной одеждой, далеко от могилы снежной брата, радуясь сверкающему нетронутому снегу, чувствуя себя во всем отцовом, будто в живой родной броне. Было не страшно, будто и не кладбище это, а зимний сад. Сугробы на могилах — напльвише белые, дышущие, но и млечные, нежные. У могилы брата, где мать уважительно беседовала со сторожем одних с ней лет, он встал поодаль, слушая их жалобы на здоровье, и подумал вдруг о себе, что и живет для одного того, чтобы лечь в эту могилку, — вот что такое эта пядь. Это его могилка, земляшка, такая нужная и важная, что чует ее животом, стелется по ней и впрок согревает, отдавая от себя, живого, тепло, сам холодея...

Он обошел толпу, стекляшку, шагая тяжело вразвалочку, выходя на пустую белую, чуть взрыхленную машинами дорогу, видя уже высокую трубу с ломким серым дымком. Шагая, он думал теперь упрямо одно — что отвяжет собаку на обратной, пусть сама себе дорогу или хозяина найдет. В пахнущей хвоей конторе обслуживала молодая девушка, выглядывая смелым личиком в окошко. Он увидел игрушечную пластмассовую коричневую урночку и затих от внезапного детского удивления. Громоздкая оледенелая коркой сумка, которую он привез, показалась и уродливой, и великой, так что он вспотел от неуклюжести, но другого у него не было. И он пошагал обратно по дороге на автовокзал, слыша стук урночки, точно б сам покрываясь той ледяной коркой на каждом шагу. Но собака пропала. У березы в снегу чернели свежие дыры следов да пустела нарытая, умятая ею, как логово, яма. И он будто отмучился, проходя ту же толпу, ту коробку из стекла и бетона, ту же череду живых, в клубах пара, рыжих автобусов.



Мы открываем новую рубрику «Послесловие». Нередко, когда заканчиваешь читать произведение — все знают это по личному опыту, — бывает необходимо поговорить о прочитанном. Читателю нужен собеседник. Мы решили: пусть таким собеседником будет сам автор.

Предлагаем беседу с Олегом Павловым.

— Олег Олегович, в вашем новом романе основное место действия — лагерь в Казахстане, время — 80-е годы, герой — охранник. Мы не встречаем знакомых по «Казенной сказке» героев, но сам собой напрашивается вопрос: «Дело Матюшина» стало ее продолжением?

— Замысел и основной материал «Дела Матюшина» появились прежде, чем я задумал и написал «Казенную сказку». Уже был герой, его образ, и написана была основная часть. Но вот получается, что проза эта на шесть лет была отложена, а причины этой отсрочки были очень сложные, очень личные. Я понимал, что если я напишу отвлеченную от своей собственной судьбы солдатскую повесть, то, во-первых, она окажется социальной, а во-вторых, уже навсегда лишит возможности написать свой опыт. Социальной беллетристики армейской тогда, в начале девяностых, было много, и она была модной, а я плестись в этих хвостах не хотел, да это было и вовсе не мое. О самом же себе я много еще не понимал, и было только одно мучительное чувство, воспоминание прошлой жизни, важное для меня, но никак не просветленное, без чего также нельзя было писать; Габышева я тоже в себе не чувствовал — меня его роман потрясал, но и отталкивал полным отсутствием искусства и натурализмом. И я «Матюшина» вполонину сознательно, вполонину из предчувствия писать отложил, а написал «Казенную сказку», а точнее, выдумал. Вот как Лесков говорил о Левше, так и я важным считаю сказать о капитане Хабарове — что я его «сочинил», но в ответ на громадную униженность человека и достоинства человеческого, современную, но и всегдашнюю, историческую. Мне захотелось написать героический образ, такой, какой бы я сам и другие могли любить, уважать, в который бы захотелось верить, как в свет в окошке. И это было единственной целью этого романа, этой работы. И получился даже не один Хабаров, но и Санька Калодин, и Перегуд, и Величко. Получился и Скрипицын — олицетворение для меня уродства этой русской нашей униженности, произрастают из которой не рабы, но хозяева нашей жизни, маленькие человеческие деспоты, все и вся ненавидящие, хоть и сами неприкаянные, обездоленные. Потом было время, после «Казенной сказки», когда мне показалось, что Матюшин, герой такой, уже сам умер, что ничего этого больше в нашей жизни не будет, и я искренне отказался от этого замысла, и опыт мой, зло мое стали отступать в какую-то тень души. Я взялся за прозу очень радостную, но ничего этого радостного не написал, потому что началась другая история, то есть и не другая, а та же самая — русская история убийства. И мой Матюшин был героем этой истории, которая только на пяток лет погрузилась в свою дрему, но вся сила темная, безысходная зла стала и в людях, и в истории на глазах пробуждаться. Зло — это бунинское «окаянное». В том смысле окаянное, что, содеянное против человека и Бога, остается без раскаяния, и, как в аду, есть только одно крошечное познание зла, ни лучика света. Круги этого полумистического, полурелигиозного ада стали для меня главами — так сама собой сложилась форма «блуждания», хождения по кругам, которая усиливалась в моем сознании образом зоны, круга заправдашнего лагерного. Каждая часть романа — как исход на новый круг.

— А почему роман?

— Тут все оказывались героями, равноправными Матюшину, то есть естественно рождалась такая основа симфоническая, соборность такая в прозе, под повесть никак не подходящая, повесть-то и рвущая по швам. Я бы считал «Дело Матюшина», как и «Казенную сказку», повестью поэтической, но факт личной судьбы, автобиография, это поэтическое, хоть оно и есть в описаниях, рушит, оставляя одну драматическую экспозицию происходящего, — эти четыре части, четыре эти экспозиции я и называю сознательно романом — они по сути и есть романские. То

есть писать я знал и ощущал, что смогу. И была внутренняя убежденность расследовать эту драму и сделать ее понятной, раскаянной до конца для самого себя. Себя самого обмануть и невозможно. Конечно, у этого романа или вокруг этого романа роится много попутных вопросов, смыслов, но моей главной художественной и человеческой целью было преодоление зла.

— *Считаете ли вы, что цель достигнута и задачи, которые вы ставили перед собой в романе, решены?*

— Удалось преодолеть сам материал душевно, но не удалось преодолеть его художественно, не удалось перебороть собственный стиль. И вся тяжесть моего стиля в этой вещи невольно утяжелила ее. Понятно, что роман не мог быть легким, но он должен был проясняться ощущением прояснения жизни. И вот как раз стиль этому стал помехой. Немного удалось его сделать, надеюсь, воздушней, это чувствуется в созерцательных картинах, где есть небо, степь, ветер, дорога. А там, где появляется человек или же я обращаюсь к внутреннему миру героя, начинается драма и появляется эта тяжесть в языке, которая ощутимо мучила и меня самого, и я никак не мог это преодолеть.

— *Почему?*

— Для того, чтобы писать яснее, легче, необходимо что-то еще и в себе прояснить. Это не вопрос влияния или мастерства, это вопрос душевных возможностей. К примеру, в «Казенной сказке» героев я описывал, делал их достоверными. Здесь же я хотел написать образы как бы уже «очищенные», не отягощенные моим отношением к ним, я не хотел читателю ничего навязывать — ни идеологической, ни художественной заданности. Я хотел избежать литературной пародии на живых людей и сделать их просто живыми. Можно сказать так: все, что понимает герой, понимает и автор; чего не понимает герой — не понимает и автор. И все в действии романа должно объясняться образами самих героев, а не сюжетными плотинками, которые автор построил для сведения концов с концами. То есть здесь решался вопрос завлекательности для читателя. Вещь получилась незавлекательная, трудная, поскольку все ответы здесь есть, но только для тех, кто хочет их найти. Для тех, кто не хочет найти, ответов нет. Заставить читателя переживать и сопереживать герою я не хотел. Если в «Казенной сказке» я отдавал себе отчет, что капитан Хабаров вызывает сочувствие и симпатию, то Матюшин может и отталкивать, отворачивать.

— *Насколько близки здесь герой и автор?*

— Это мой внутренний мир, не сегодняшний, но то, что наложилось через собственный опыт. И не только мой опыт: одной из задач этого романа я считал написать историю своей семьи, и прообразом семьи Матюшиных стала семья моего деда.

— *«Дело Матюшина», как и «Казенная сказка», — мужские романы, даже если не говорить об их тяжелолюбности, об авторском замысле, а только об их «населении». Это случайно, или таково было ваше намерение?*

— Это не случайность, и не закономерность, и не задумка, у всех моих героев есть могучая потребность любить, это есть, и это ощутимо. Но есть трагическая невозможность любви, не физическая, а скорее метафизическая. Грубо говоря, жизнь так складывается. Потребность в любви утоляется не любовью к женщине: это ощущение в лирических описаниях природы, в тоске, так что и любовь эта какая-то природная, а не плотская. Я не понимаю любовь как страсть, но чувствую, как она разлита по всему живому. И если бы в романе появилась страсть любовная, то появилась бы и женщина, но это был бы уже совсем другой роман. Я пишу людей, человека. Для меня история жизни человеческой — это по сути библейская история, которая начинается все же с образов мужественных. Был замысел другого эпизода, большего по объему, с описанием всей дальнейшей жизни Матюшина. Но в итоге вместо того написано было коротенькое «последнее воспоминание». Я решил оборвать действие на самой сильной ноте, когда Матюшин, как бы погибнув, рождается заново и осмысливается его жизнь. Но другая, новая, его жизнь — это уже ведь другая проза. Так или иначе, но и писал я ради того, чтобы привести его в ту зимнюю картинку. Если символом «Казенной сказки», образом ее стала бочка из-под капусты, в которой катили хоронить Хабарова, то есть и впрямь сказка, то у Матюшина в сумке оледенелой постукивает урочка с прахом отца — и в том нет никакого смысла, только жизнь и смерть.

Январь 1997 года



Денис ВИНОГРАДОВ

И время ждет стрелы...

Сон Традиции

...А сон моей Традиции, увы
Все кажет на Аскольдову могилу:
Не знавшие тревожный знак кадила
Прочувствовали вкус чужой травы

Горит калейдоскоп февральского колодца
И детский свет лежит под толщей льда
И в полусне «оранжевым» зовется...
Синтетикой нисходят холода

На поле белое — там воздух колко сшит
Пыльцой инея и свежими крылами
Но Ангел ледяной в колодце не дрожит
Туманными не поит огоньками

Заре спокойно в доме ледяном
Я там лежу, все время просыпаясь
И вспоминаю, как погиб в одном
Из кладезей, который, улыбаясь

Обходят все задумчивой волной;
Что знатные стихи, как дым, нетерпеливы
Что сон Традиции рождает холод Твой
А пробуждение — помешанную иву

Ворон

Да, Господи, мне нужно лишь одно
Холодный сад и ясное окно
И ласка ветра в хладнокровных шторах
Белесый свет над озером стола
И полутьма, и стали полумгла —
Вдоль ряби витражей прогулка в книжных спорах

В портьерах серебрится тишина
Как долго я любил тебя, война
С Тобой? Не женский, не мышинный шорох
Мне говорит про завидные сны
Где серебро и кровь разлучены
Нет, не с Тобой... Звонки гремит как порох —
То было лишь предчувствие войны

Я открываю дверь — там чахлые костры
 А за спиной — окно с холодным садом
 Я знаю, кто придет — с нетерпеливым кладом
 Поставивший сундук, вспорхнувший до поры
 Сложив крыла фольгой меж перьев шоколадных
 На люстре временной, возникшей из золы

Хрусталь — как обморок над комнатой прохладной
 Где обсточен взгляд и скомканы углы
 Что, ворон, бдишь следя уют злорадный?
 Нескучен сад; и время ждет стрелы

Сон

О. Павлову

Мы запутались в мягких камнях
 Осторожной рукой раздвигая
 Их нагретые спины... другим помогая
 Быть оранжевым жаром влекомого рая
 Все заботясь, садясь или просто шагая
 С абрикосовой пылью в костях

Все забыто; но каменный прах
 Циркулирует терпко в уюте немилым
 И лишь пироксилиновой перхоти страх
 Вовсе не растворясь в кровеносных ветрах
 Нас спасает на время, навеки вобрав
 Странной влаги, что липнет у нас на губах
 И плывет в угомоне унылом

О слепая долина, оплавленный путь!
 Восходящую глину ступнями добудь
 Вязок шаг твой божественный — не обессудь
 И увидишь блаженное сходство:
 Разомлевшею рябью тяжел, многолик
 В иероглифах глаз зашифрованный тик
 В близком жаре — жужжащее пенье вериг
 В жирном мире дрожащая (се — твой язык)
 Вся печальная прелесть уродства

Песня

Куст на стрелке железной дороги
 Уплывает в пятнистом окне
 Сквозь плацкартного леса берлоги
 Все поет одинокая мне

Как стаканы в ажурной неволе
 Опечатан наш путь сургучом
 Броским мелом постов-колоколен
 Полосатых осколков лучом

Словно летние их серенады —
 Колокольчиков порох и лед —
 Проникают в состава составы
 Компостируя право на взлет

И листая кварталов газеты
Под дождливым, но ясным лучом
Входит поезд, гусаром одетый
И воняет своим сургучом

И с вокзала в сей заспанный пряник
Каждый смертный спешит отдохнуть
Кто-то кажет, что музыка грянет
Кто-то пьет обесточенный путь

И отчаливши сонно и гордо
Рассекая асфальт подъездных
Он в окне прополощет аккорды
Всех картинок переводных

Куст на небе железной дороги
Все плывет в золотистом стекле
В край холодной весенней эклоги
Лес безлиственный спит на столе

Сютворное

По ночам не плачут от беды.
Лишь по капле наберут воды,
Не дыша на выкрученный кран,
В призрачный и ласковый стакан.

Вместо меда в скинию воды,
Как в казнохранилище беды,
Вбрасывая; тихий аромат,
Как лампада, долу клонит взгляд.

И идут по комнатам пустым,
Кольхая влагу непростым
Тихим шагом к светлому столу.
Достают тягучую смолу,

Долго пьют, глотая водный дым.
И бегут по улицам пустым
Сизым взглядом отрешенных птиц
Сквозь траву предутренних ресниц.

Проселок

Черной порослью спит синева
В придорожных петлицах
Новый смерд составляет слова
В громыхающих спицах

На рассвете не хочется жить.
Но какая истома
От чела отводила их сныть
И топор астронома?

Рождение веера (бросание монет)

Восточная мелодия

Бумажный лист! Воззри на тень свою.
А я тебе ладонями спою
Про медные монеты узнаванья

Как гибок ты! Воспоминанье — дрожь
В монетный дождь как страшно ты умрешь!
Так притчи затоптали снег Преданья.

Когда приснится веер — не смотри:
Убитый лист сияет изнутри!

Град

Я не боюсь посмертной славы:
Она и так уже близка
Ни вашей бдительной расправы —
Что тыкать пальцем в облака?

А в облаках плывут народы
Сменяя молнии и гул
И горький перст стальные воды
Мешает с манной для акул

Искрится голос тех народов
В мембране шелковых дождей:
«Вы возлюбили непогоду
Томясь отсутствием гостей

А что за гости это были —
Вы не стыдитесь говорить:
Под фосфорической пылью
Видна бикфордовая нить

На просеке, на полустанке
Под фонарем кленовых дней
Где вашей мистики останки
Звенят, как кости: им видней!

Сквозь разрушения кумиры
Предел мечтаний — дом пустой
Вы жрете известь, как факиры
Взывая жаждой в мир иной

Познайте ж град акульей манны
Секущий дождь тигриных пут!
И над погодой окаянной
Не смейтесь — вам уже не лгут!»

* * *

В стакане газированной воды
И ты уснешь, как ягода без сени
Зеркальной жести облака млады
В них плещется предгрозовое время —

Стеклянной смертью в шелесте осин
Где, в красоте земного оперенья,
Запел хрусталь из грозовых низин —
Павлиний зрак закатного паренья



Противоречие по сути

(Contradictio in adjecto)

МАЛЕНЬКИЙ РОМАН

Истинный смысл вещей ускользает от нас. «И событий», — добавил бы Сократ. Хочется услышать, как пьяный Гораций вносит последние коррективы: «Нам не дано познать истинную суть того, что показывает нам мир, не дано уловить подлинное содержание драмы, которая и есть наша жизнь». И маленькое добавление риторика, к примеру, Цицерона: «Вероятно, точнее, без сомнения, правы те, кто воспринимают жизнь как метафору».

Что ж, а может быть, и в самом деле разумны по доброй воле отказавшиеся от разума, ушедшие в предчувствия, поверившие в приметы, отдавшиеся страхам. Дабы избежать смертоносной случайности, способной обратить любое внутреннее построение в прах, заставить кружиться в водовороте времени обессиленно, обреченно, чувствовать, как разрушается крепость твоих дней, гулко падают камни, проваливаются мосты. А затем хаос в клетках, размягчение костей, хлопающие воспаленные глаза, преследование иллюзорной цели, которая по самому своему названию уже не может быть достигнута. Безумие, которое овладевает тобой наподобие сильной инфекции, паучьего племени страсть, заманивающая каждую мысль, каждое движение в липкую, ядовитую невидимую паутину и жадно пожирающая жертву, оставляя лишь безжизненную оболочку, а не то, другое, тихое помешательство, которое подкрадывается, незаметно вплетается в представления и разговоры, помешательство скорее обороняющее, предохраняющее, тлеющее и поэтому щадящее силы. И все будто в марионеточном танце тихо водят вокруг тебя хороводы, кивают головами, поддакивают...

Ты словно безумный король, все королевство которого внутри: и залы, и дворцы, и роскошный парк с пирамидальными кипарисами, и серебристое озеро, и конюшни с отменными рысаками. И закрыты ставни, и подняты мосты, и строгие стражи цифр охраняют ворота, цифр, выстраивающих неумолимые законы, самозарождающиеся и непреклонные: тревоги от лопнувшего стекла, разбившегося зеркала, просыпанной соли. Луна с ее бесконечной, полной загадочного смысла переменчивостью, форма облаков, словно вычерчивающих на небе судьбоносные шифровки: круглое облако — завершай дела поскорее, перистое облако — обходи острые углы, залегай на дно, беспросветные облака — не выходи наружу, углубись в себя, разглядывай узоры собственных мыслей, настроений, предвкушений. И ничто не потревожит, ничто не помешает, ничто не взорвет тебя изнутри, и ты не будешь разглядывать свои же потроха, развешанные по веткам, словно плоды на экзотическом дереве жизни. И не будет встречи, имя которой — случайность, и не будет болезни, имя которой — страсть, и будут ровно дышать часы и течь ровным течением дни, поскольку нам не дано уловить истинный смысл вещей.

1

Странная мешанина из сегодняшних утренних разговоров, когда в последний раз все вместе завтракали в просторном ресторане с розовыми скатертями и салфетками. Русская делегация сидела за одним столом, в первый день конференции кто-то сказал, что у русских принято сидеть всем вместе, и официанты покорно выполнили это пожелание. Одеты все были очень просто, нарочито по-походному, ведь впереди небольшая прогулка по городу, а потом — в аэропорт. Сначала молодой женский голос рассказывал о каком-то эспандере, крошечном, умещающемся в небольшой сумке, при помощи которого можно творить с фигурой настоящие чудеса, затем голос постарше, пониже, с утра чуть хриловатый, жаловался на пропажу золотого кольца с рубином: «Вчера на банкет хотела надеть, весь номер обшарила — нигде нету, наверное, горничная стянула...», но жалоба, готовая растянуться до бесконечности, обрести версиями и предположениями, была оборвана прокурренным баском, напомнившим («Напоминаю...»), что всех предупреждали: ничего ценного в номерах не оставлять. Затем градом посыпались впечатления о прошедшей ночи, розовый квартал, несколько мужских голосов, затем женские — изумлялись европейским вкусам, а также «сумасшедшим ценам» на «сущее барахло», мужское трио о местном пиве, черном, бархатном, хмельном, дальше — одеколоны: «Эгоист» — точно, чтобы баб отпугивать, клопами пахнет, а вот этот свежий, как его... а модные, так вообще сладкие, как варенье. Затем почти что всем оркестром обсуждали докладчиков с «их» стороны, горячась, входя в непредвиденные подробности. Иногда кто-то солировал:

— Ланье-то трижды был женат, а с виду сморчок сморчком.— Арфа.

— У Бертрана, как всегда, жиденский доклад был.— Саксофон.

— У них секцией экологии водной среды заведовала Бретоньер, ну, такая маленькая брюнетка, ей и сорока нет, а она...— Скрипка.

— Этот вот, ну, который лысый с бородой, во второй день с часовым докладом выступал, так вот он — сын того самого, который был женат на этой, знаменитой...— Барабан.

— Да нет, нам нужно просто с ними, просто с ними, просто с ними...— Фортепиано.

А потом опять контрабас про потерянное кольцо с рубином, и пошло-поехало, полный разнобой и какофония, кто, где, что, когда забывал или терял: часы на ночном столике, белье на батарее в ванной, костюм в шкафу... У меня голова пульсировала и разрывалась на части, поскольку горло разболелось еще вчера.

Вчера в зеркале. Сразу после банкета. В ванной. Горло бордовое и отекающее. Глотать очень больно. Все тело влажное. Думал, аллергия от непривычной пищи. Может быть, на какой-нибудь соус. В новой обстановке аллергия — нормальная реакция. Ночью явно был жар. Кровать казалась несносной, слишком мягкой, и подушка никак не ложилась правильно — между плечом и ухом. Несколько раз подходил к наглухо задраенному окну. Ненавижу эти мерзкие из искусственной серой кожи шторы. Проснулся сосед. Я сказал: «Душно». Ручка ужасно скрипела, но я поднял штору. Из окна вид на улочку, узенькую, маленькую, без украшений. Как будто изнанка другой, параллельной, улицы, где вывески, запахи и кипит жизнь. Напротив — гараж, контейнеры, на тротуаре — скомканные газеты, таблички, предлагающие за бесценок подержанные автомобили. Справа от гаража — крошечное, скрытое за железной решеткой кафе, в котором, видимо, перекусывают механики, слева от гаража, метрах в ста, на самом углу улицы, выходящей на некое подобие проспекта, такой же забронированный цветочный магазин с розовой неоновой надписью. Ни души.

2

Я все-таки отправился на прогулку по городу, автобус привез нас в центр, и я честно топтался на маленькой центральной площади, разглядывал старые

дома, на каждом из которых под крышей красовалось имя некогда торговавшего на первом этаже купца, некогда — много веков назад. Я пошатался по прилегающим к площади улицам, забитым многоголосым, многоязычным туристическим воркованием, поизумлялся неизменному составу анемично ползающих туристических групп: вечный рыжий верзила изможденного вида в коротковатых болтающихся штанах, толстяк коротышка в яркой куртке и кроссовках, старушки с седым перманентом и птичьим профилем, несколько разодетых дам, толстозадых и полногрудых, влюбленная парочка, дебил в коляске, пускающий слюни...

Я неизвестно почему забрел в лавочку, торгующую охотничьим снаряжением. Хозяин магазинчика — прокуренный лысеющий мужчина лет пятидесяти с желтыми редкими зубами и сморщенным пористым лицом — хрипло расхваливал необъятных размеров американцу нож для освеживания кабана. Тут же крутился его сын, парень лет двадцати, длинный и тощий, как церковная свеча, в ковбойских сапогах, длинные пальцы все в кольцах со змеями и черепами, на шее черный платок. Вначале он сидел на высоком табурете и любовался тем, как солнечный луч играл на лакированном носке его сапога, но затем словно его ужалили: в лавочку вошел человек и на ломаном французском спросил свисток, «имитирующий зов утиной женской особи». Парень вывалил на стеклянный прилавок гору свистков и принялся по очереди дудеть в них, наполняя магазин звуками птичьего базара. Когда он свистел, его впалые щеки раздувались необычайно, а лицо становилось багровым от усилий.

Я вышел и побрел наугад по залитым солнцем улочкам, я то и дело с усилием сглатывал, горло казалось обсыпанным крошечными пылающими угольками. Не успел я подумать о том, чтобы купить какое-нибудь лекарство, как аптека немедленно поприветствовала меня развеселым колокольцем, приделанным к входной двери, я оказался в белом сияющем чистотой раю, сразу в раю, а не в каком-то чистилище, с развешанными повсюду, словно елочные украшения, восхитительными коробками с чудодейственными средствами. За мелодичным перезвоном последовал хозяин аптеки, средних лет, демонстрирующий уравновешенность бельгиец с золотыми очками на поблескивающем носу, в белом халате (ну чистой воды престарелый ангелок!). Слепляет его белая рубашка и умиротворяет дорогой, благородной расцветки галстук, буквально шепчущий каждому клиенту: «Вы правильно сделали, что пришли к нам, вам здесь обязательно помогут».

Аптекарь немедленно предложил мне несколько разновидностей пастилок от фарингитов, тонзиллитов, аллергических отеков, ангин разной степени тяжести и вредности для всего организма и отдельных его частей. Конечно, по его мнению, я должен был отдать предпочтение самой дорогостоящей, поскольку в ней сразу все от всего и навечно.

В автобус я вернулся мокрым, усталым, изнемогающим. Пастилки давали некоторое облегчение, но крайне быстротечное, я забился в пышнозадое бархатное кресло, подлокотник которого содержал все земные блага, и, кажется, задремал. Меня разбудил жаркий женский шепот за спиной, автобус на всех парах мчал нас в аэропорт.

— По ночам я рыдала на полу в ванной, — закипал шепот, — а утром как ни в чем не бывало улыбалась мужу за завтраком и шла на работу. Я возвращалась вся в слезах, он спрашивал меня, в чем дело, я отвечала, что неприятности по службе, едва дотягивала вечер, дожидалась, пока он уснет, и снова рыдала в ванной.

— Ну и что? — заговорщически подлизывался второй шепот. — С тем-то, с другим, что было?

— Ничего.

— А что ж вы делали, когда встречались?

— Разговаривали.

— Разговаривали?.. О чем? И зачем тогда рыдать?

Первый шепот ощутимо снижал. Второй набирал силу, по всему судя — обличительную. И последнее, услышанное в полусне, немного гневное, немного гордое от поражения, которое по плечу далеко не каждому:

— Я прорыдала два месяца в ванной и все раздавила в себе. Я никому не хотела нанести такого бесчеловечного удара. Я принесла себя в жертву.

— Ну а теперь? («Ну» — учительское, уничтожающее, расставляющее именно точки, а не какие-либо иные знаки препинания.)

— А теперь в благодарность он спит в моей постели с другой.

Разговор потух. Я открыл глаза. Рядом со мной сидел почему-то вспотевший и взбудораженный коллега из неизвестного мне далекого города, имени которого — ни города, ни коллеги — я вспомнить так и не смог. На нем все было пятнадцатилетней давности: и кепка, и портфель, и костюм, и очки, и лицо. Увидев, что я открыл глаза, он немедленно обратил ко мне такую же потную, как и он сам, речь о том, как у них тут, и что у нас там, и что бы надо, и чего бы никак не надо, а вот его половина... так она, и он для нее везет... вот как я думаю... Я все поглядывал на часы, я рассчитал точно, что через шесть с половиной часов буду дома, представил, как разохается мама, увидев мое больное горло, она скажет: «Ты как мальчик, честное слово, а ведь тебе уже пятьдесят пять». «Шесть», — поправлю я ее. Я покормлю в кабинете рыб, которые, увидев через стекло толстое пузо хозяина, узнают, обрадуются, завалюсь на любимый диванчик. Мама поставит рядом с постелью мою любимую кружку с синей птицей на одной лапе с растопыренными такими же синими фалангами, — на этой кружке воспроизведен рисунок какого-то израильского мальчика, я давным-давно привез ее, сам не знаю откуда, в комнате будет пахнуть липой, малиной, мятой, я заматаю горло шарфом и примусь просматривать газеты, скопившиеся за время моего отсутствия. Мама укроет меня поверх одеяла клетчатым черно-красным пледом, по телефону она будет отвечать, что я вернулся больной, и обсуждать с подругами рецепты снадобий. Горло к тому времени, конечно же, немного успокоится, под мамины тихие разговоры из коридора я задремлю, свернувшись калачиком, подобрал под себя ноги...

— Ты просто не знаешь, что такое купаться в женщине! — прокричал какой-то пьяный тенорок с заднего сиденья, дав напоследок визгливого и безобразного петуха.

Весь автобус взорвался хохотом, тихо засмеялся и я.

Когда нас привезли в аэропорт, выяснилось, что самолет переполнен, лететь нет никакой возможности и нам предстоит мчаться в Люксембург, чтобы попытаться улететь оттуда.

3

Крошечный аэропорт в Люксембурге, кажется, такой же, как и это царство-королевство, с то ли монархом, ограничивающим права парламента, то ли наоборот, но в голове сразу возникли спальни с кисейным пологом, и камин, и ослепляющие разогретым золотом решетки, и портреты, и собачки с кулачок, и проказы наследников, задирающих юбки раскрасневшимся мулаточкам или негрityнчочкам (как, интересно, выглядит румянец на их темных лицах?), и отменные кони-рысаки-жеребцы таких же голубых с перламутровым отливом кровей. Он впервые упоминается как замок в девятьсот каком-то году (из рекламного буклета, выдаваемого вместе с картой города-страны — при входе в аэропорт), всегда странно, когда перед девяткой нет единицы, а еще они гордятся какой-то там промышленностью, нашли, чем гордиться, уж лучше бы бриллиантом гордились размером с крупное яблоко или еще какой-нибудь диковиной; убить оставшиеся до отлета два часа в этом нереально-эфемерном, непривычно пустом месте с двумя-тремя дорогими магазинами кажется совершенно немислимым.

Единственная возможность взглянуть — туалет, там зеркало над умывальником во всю стену, но туда дружно зашагали все соотечественники, измученные двухчасовым автобусным переездом. Крошечные магазинчики с двумя ис-

скучившимися блондинками, покрашенными чересчур сильно и ярко, видимо, для того, чтобы не была видна усталость на лицах. Портмоне. Пояса. Кожаные сумки, портфели, духи, шоколад, часы. Остановка у бесшумно тикающего прилавка. Я долго не мог сложить в нечто вразумительное длинный набор цен, указанный на матовой медной табличке перед часами «Ebel». Именно их я получил тогда в подарок. Баснословно дорогой подарок от человека, заглянувшего в мою жизнь на четыре месяца. Или, может быть, на пять? Я посчитал: март, апрель, май, июнь, июль и половина августа. Кажется, она пришла в последний раз шестнадцатого августа и, перед тем как уходить, достала из сумки (странная кожаная сумка, похожая на суму с двумя перекрестившимися, как искривленные шпаги, золотыми «с») продолговатый поражающий сдержанной матовостью кожи и золотой окантовкой футляр.

— *Это тебе, Питер.*

Я, как всегда, поправил ее.

— *Петро,— твердо сказал я.*

— *Петро напоминает Петро, мне не нравится,— вежливо улыбнулась она,— так что это тебе, Питер, открой, тебе понравится.*

Я неосторожно сглотнул, и боль пламенем обдала весь образ, тут же вспыхнувший, как старая фотография. Я только успел разглядеть штору, прикрывающую распахнутое окно, мою любимую летнюю клетчатую штору, письменный стол, аквариумы с заметавшимися рыбами, застеленный пледом диван. На стене картина, довольно старая: два охотника сидят на пригорке у костра и, видимо, пытаются сосчитать добычу. Я хотел подарить тогда ей эту картину, но не успел.

Я сглотнул еще раз, и видение исчезло, я не рассмотрел ее саму, ведь мы сидели с ней в самой середине комнаты на двух стульях за моим письменным столом, а я начал разглядывать как-то по краям, я не увидел ее, только мельком со спины: оголенные загорелые плечи, загорелую шею, изумительный затылок, забранные наверх светло-русые волосы, прихваченные на макушке заколкой.

Сегодня я вернусь домой и взгляну на моих охотников. Я хотел было уже выйти из магазинчика, но потом внезапно решил купить для мамы каких-нибудь сладостей. От вида шоколада, да еще с орехами, у меня запершило в горле, губы сделались совершенно горькими, и во рту, казалось, не было ни капли влаги. «Нужно будет глотать пореже, — мелькнуло у меня в голове. — И еще в туалете нужно прополоскать рот, потому что от зубов, покрытых каким-то вязким налетом, исходит невыносимый затхлый запах».

Я купил для мамы несколько плиток горького шоколада и вышел в холл. Я надеялся, что теперь в туалете уже никого нет и я смогу спокойно взглянуть на горло. Я посмотрел на часы. До отлета оставалось чуть больше часа. «Часы «Ebel» — архитекторы времени» — было написано на рекламном вкладыше — первое, что я увидел, когда открыл подаренный мне футляр. Я тянул дверь на себя, но она не поддавалась. Я, казалось, впал в настоящее бешенство, и, если бы не беззаботный негр, который — это было написано на его лице — никогда не волнуется и всегда счастлив, я просто оторвал бы ручку. «От себя», — мягко проговорил он, толкнул дверь туалета и вежливо пропустил меня вперед.

4

Нет, это было уже совсем не мое горло, но главное — десны. Пока я ходил туда-сюда, я незаметно съел всю упаковку пастилок, обнаружив это, лишь когда отправлял в рот последнюю. Потом прочел на уже пустой коробочке: «По одной пастилке — три раза в день».

Наконец-то объявили посадку. Самолет медленно начал заполняться. Пассажиров было немного, и они не торопились. Стюардесса вежливо проводила меня до места — слава Богу, у иллюминатора, значит, хотя бы с одной стороны никто не будет жевать и шуршать газетой. В салоне показался низкорослый высохший старичок с аккуратно постриженными седыми волосами, в болотных

вельветовых штанах и новой синей куртке. Через плечо у него висела сумка, а на правой кисти болталась из дорогой кожи сумочка. Я почему-то был уверен, что он сядет рядом со мной. Так и вышло: стюардесса подвела его к моему ряду, и он, улыбнувшись мне фарфоровой улыбкой, легко опустился на соседнее кресло. Он был в прекрасном настроении. Я почему-то не мог отвести глаз от его рук — маленьких, сухих, в желтых пигментных пятнах: ровные, ухоженные ногти, золотой перстенок на мизинце. Последнее время я любил размышлять о старости, мне казалось, что в ней заключена какая-то тайна, и я пытался угадать ее. Когда он оказался рядом со мной, я сразу же подумал, что таким старичком мне не сделаться никогда.

Время до смерти, принудительно не заполненное ничем. Стайки старичков и старушек на скамейках в скверах. Трости. Палки. Дым дешевых сигарет сквозь редкие зубы. Глубокий мокрый кашель. Бесконечные самоограничения, вошедшие в привычку. Штопка. Умение переживать зиму, осень, весну. Починка обуви, особые навыки, необходимые для того, чтобы ходить большими ногами по скользкоте и слякоти, газеты, телевизор, внуки, раздражение на подростков, политические легенды, затопившие сознание, футбол, Христос, таблетки, комнаты, наполненные запахом лекарств, деформация тела, перерождение, которое не пугает и не отвращает, а скорее вызывает нежность, временами останабливающийся взгляд, устремленный неизвестно куда. Как живут они, коротая время?.. В чем их секрет, что знают они? — не можем понять мы, глядя на них. Может быть, поливают фиалки, рисуют акварелью в альбомах, как барышни? Пишут мемуары, стыдливо, уклончиво вспоминая женщин, хвастают ратными подвигами? Или, может, просто течение дней увлекает их за собой в известную бухту и никому не дано поплыть мимо нее.

— Вы простужены? — забеспокоился мой сосед, снова сверкнув фарфором. — Грипп?

«Этот ничего не штопает и небось перед главным путешествием балуется экзотическими земными маршрутами», — подумал я.

— Аллергия, — успокоил я его, — говорят, перелет лечит, так что надеюсь, приземлившись, родиться заново.

Он представился, я тоже, мы поговорили о полете, потом он, видно, хотел что-то спросить у меня, но его полупрозрачные, словно папирусные, веки медленно опустились, и он послушно провалился в сон.

Салон был заполнен. По радио объявили, что вылет задерживается еще на двадцать минут и что это происходит не по вине экипажа. Стюардессы принялись, чтобы хоть как-то занять изнемогающих пассажиров, разносить воду. Первый же глоток минералки словно раскаленным свинцом обдал мне рот и горло.

Часы. Серебряный корпус и такой же из округлых средней толщины пластин браслет. На белом циферблате три других маленьких циферблата, в окошечке — дата. Золотые римские цифры по окружности. Три восхитительных стрелки. Я открыл футляр, когда хлопнула дверь парадного.

— Я обязательно позвоню тебе, Питер.

Мне было совершенно ясно, что она больше не придет и не позвонит. Я помнил, она сказала в самом начале, что у нее билет на девятнадцатое. Значит, через три дня она исчезнет, станет недостижимой.

Я кивнул. Она встала и вышла из комнаты. Резко, не поворачивая головы. Ослепительно белая спортивная маечка, очень открытая, широкие, как у подростка, плечи, изумительной красоты спина, узкие бедра, обтянутые чуть коротковатыми джинсами, на ногах спортивные черные тапочки на пружинящей каучуковой толстой подметке. Щелкнул замок. Я был уверен, что она побежит по лестнице вниз и я не услышу шагов. Это был скорее шелест, напоминающий шелест листьев, и лишь, когда хлопнула дверь парадного и губы мои пробормотали: «Все, приехали», — я раскрыл футляр, прочел про архитекторов времени, отложил листок в сторону и увидел утопающие в черном бархате часы, только вот время они показывали неправильное, отличавшееся от моего ровно на два часа.

Я сделал еще глоток. Я хотел запить это воспоминание, залить его хоть кипятком, хоть свинцом, хоть кислотой. Я не хотел в тысячный, в миллионный раз посмотреть это кино, протерзавшее меня около года после того пресловутого шестнадцатого августа, и глоток помог, я огляделся вокруг. В этот момент самолет тронулся, заревели моторы, и мы начали вырывать на взлетную полосу.

5

Итак: впереди две макушки, одна с явно намечающейся лысиной, другая со спутанными густыми черными волосами. Их обладатели штудируют только что разнесенные газеты, переговариваясь низкими усталыми голосами. Изредка возникает чей-либо профиль: слева — крупный нос с бородавкой, густая бровь, узкий с двумя глубокими морщинами лоб, полные губы. Справа — высокий лоб с ниспадающими локонами, длинные ресницы, черный глаз, нос с горбинкой, тонкие губы. Кажется, разговор о путешествиях, но не точно.

— Сто двадцать пять за один?

— Да, несколько накладно... Лучше с пересадками, хотя и утомительнее... Дешевле...

— Не всегда.

— Почти всегда.

— Пойди найди открытый банк, если приезжаешь в пять утра и пересаживаться нужно через полчаса.

— Можно поменять заранее.

— Не всегда.

— Почти всегда.

На их уровне через проход — мужчина с мальчиком. Пытаюсь установить сходство. Во-первых, оба блондины — я мысленно загибаю пальцы, — во-вторых, у них носы похожей формы, в-третьих — мальчик резко наклоняется к мужчине, — у них совершенно одинаковые руки. Отец и сын — констатирую я.

— Ну, скажи, скажи, скажи... — хнычет мальчик.

Сколько ему? Лет десять? Двенадцать? На правой руке указательный палец заклеен пластырем. Прищемил? Порезал? Ошпарил кипятком?

— Я хочу яблоко, — продолжает он, — ответь мне, ну, ответь.

Мужчина закрывает глаза и отворачивается. Мальчик бьет его по руке, дергает за рукав, он, конечно же, раздражает всех вокруг. Почему, интересно, отец ничего не делает, чтобы унять его? Выбился из сил? Проявляет характер? Перед ними видно только правое сиденье, там — полноватая дама с перманентом, в очках, на пухлом пальце явно не подходящее ей, просто-таки девичье золотое колечко с искусственной жемчужиной. Ногти странно подпилены и покрыты, наверное, розовым лаком под цвет помады на губах. Она встает, чтобы снять шарф. Я приглядываюсь повнимательнее: пуговицы на кофточке тоже сделаны в виде жемчужин. Только бантика в волосах не хватает, едко отмечаю я. Вечная девочка, Мальвина, сколько бы ей ни было, тридцать или шестьдесят. Небось еще и разговаривает тоненьким голосом с капризными интонационными крендельками. Читает книгу. Пытается не замечать детских капризов за спиной.

Почему он не успокаивает мальчика? Ведь сейчас определенно взорвется кто-нибудь из соседей. Через несколько секунд первая, вполне миролюбивая попытка. Рука сзади протягивает апельсин.

— Ну успокойся, успокойся.

Женский голос. Один ряд с нами, через проход. Две женщины, та, что у иллюминатора, протягивающая апельсин, — постарше, в джинсах и зеленой мужской кофте на пуговицах.

— Бери и успокойся, пожалуйста, — твердо, без раздражения повторяет она.

— Мишель, ты не хочешь пить? — обращается она к своей соседке, сидящей в двух метрах от меня через проход.

Я перевожу глаза на Мишель. Молодая женщина с поблескивающим обручальным кольцом на пальце. Неаккуратно зачесанные белокурые волосы. Отекшее лицо с впалыми глазами. В сарафане, с огромным животом. Месяце на восьмом или, может быть, на девятом. Куда же она летит, бедняжка? Неужели Мишель собирается родить в Москве?

По проходу покати́лась тележка с напитками.

— Что вы будете пить? Пиво, вино, сок, минеральную воду? — Вопрос не ко мне.

В спинке переднего кресла журнал. На великолепной глянцевой обложке разноцветные английские буквы, вероятно, складывающиеся в некоторые осмысленные слова. Я не складываю их. Световое табло погасло, и по салону начали расплзаться облака сигаретного дыма. Дышать невозможно, но зато теперь можно сходить в хвостовую часть самолета и, если повезет, поглядеть, не проходит ли отек. Но мне не хочется будить старика, трогательно раскинувшего руки и еле слышно дышащего приоткрытым ртом. Совершенно детское выражение лица.

— Что вы будете пить? Пиво, вино, сок, минеральную воду? — Вопрос не ко мне.

Обложка. Надо же, какие голубые глаза! Огромные голубые! Кажется, что таких не бывает, или свет должен падать определенным образом. Начиная разглядывать снизу: о голубом треугольнике по-английски: «Путеводитель по городам: Москва, Санкт-Петербург, Киев, Алма-Ата, Минск». Огромные пшеничные колосья, расшитая белоснежная рубашка, разноцветные ленты, красные, розовые, голубые, рук не видно, но понятно, что она держит колосья, и также понятно, что она стоит в золотистом пшеничном поле: загорелая шея, наполовину скрытая темно-русскими слегка вьющимися густыми волосами, ниспадающими на грудь, округлый подбородок, мягкая линия скул, улыбка, вежливая, сдержанная, немного задумчивая, чуть приоткрывающая ослепительной белизны зубы, аккуратный, весь в веснушках нос, на губах — яркая помада, больше никакого макияжа, наверное, потому, что венки из ярких цветов и листьев. Приглядываюсь. Цветы искусственные. Таких синих цветов нет в природе. Неужели для рекламной фотографии нельзя было найти живых цветов? Но волосы действительно изумительные. Хохлушечки и впрямь бывают очень красивыми. По Киеву разгуливают настоящие секс-бомбы, напомаженные и нарумяненные сверх всякой меры. И потом это их «г». Очарование сразу куда-то улетучивается, когда слышишь это. Выше, над колосьями и головой, ровное голубое небо. В сантиметре от головы, уже на фоне неба, флаги.

— Что вы будете пить? Пиво, вино, сок, минеральную воду? — Вопрос ко мне.

Старик просыпается. Протирает носовым платком слезящиеся глаза и сухие губы.

— Красное вино, — с улыбкой отвечает он.

— У вас есть обычная вода? — спрашиваю я. — Я хочу выпить аспирина.

— Prosit, — по-прежнему улыбаясь, произносит старик и поднимает свой стаканчик с вином.

Он дождался, пока мне принесут воду и пока растворится мой аспирин.

— Prosit, — кивнул я ему.

Мы чокнулись. Мальчик уснул. Сколько же лет этой Мишель?

— Если хочешь, Питер, сегодня мы можем просто побыть вдвоем. Как настоящие итальянцы.

— Потому что ты уезжаешь через три дня?

Молчание. Улыбка. Спокойный взгляд. Огромные серые глаза с черными ресницами. По-детски пухловатые щеки.

— Кто знает, что будет через три дня? Так хочешь?

От аспирина во рту сделалось кисло.

— Ты прекрасно говоришь по-итальянски, все-таки я сумел тебя кое-чему научить.

— *Всему, Питер.— Вежливая фраза со спокойным продолжением.— Значит, не хочешь?*

Совершенно ровно, даже равнодушно. Точнее — никак. Не определить, как.

Я на секунду представил себе, как бы все это выглядело, если бы я нашел способ согласиться. Вежливое предложение — и больше ничего. Все равно что: «Хочешь чашечку кофе, Питер?» Она скинула бы белую маечку, джинсы, крошечные трусики и просто забралась бы на мой диван. Но тогда мне пришлось бы стелить постель. И это была бы ловушка первая. Сражаться с накрахмаленной наволочкой под ее равнодушным взглядом. Нет, не равнодушным, утрирую. Спокойным. А потом пришлось бы раздеваться мне — ловушка вторая. Пятидесятидвухлетний лысоватый плотного телосложения стареющий мужчина, раздевающийся перед созерцающей холодной девочкой. Уродливо. Страшно унизительно. Нелепо. А потом и самое главное — ловушка третья, — без ласковых слов, простое, как яйцо, без малейших подпорок, без пресловутой фразы «Ну иди ко мне, иди ко мне, Питер», о которой я мечтал тысячи раз, закрывая глаза и погружаясь в грезы. И, наконец, ловушка четвертая, называемая словом «потом».

— *Значит, не соскучился?* — *Хитрый улыбающийся вопрос, игра-лабиринт, первое упоминание о том, намек на то, что было между нами несколько недель назад, игра-лабиринт, из которого не выбраться, и тут же продолжение, чтобы я не успел опомниться, не успел ничего сказать. — Тогда тебе приз, Питер, на, это тебе. Открой, тебе понравится.*

Дорогой футляр на ладони. Тонкие, изящные линии вытянутой вперед руки с ухоженной кистью. Футляр с архитектором времени.

Мишель закашлялась. Я повернул голову. Сколько же ей? Лет двадцать пять—двадцать семь? Правильный, разумный брак. Взаимный интерес и эротические экзерсисы для того, чтобы удостовериться, что партнеры хорошо совместимы. Чтобы не было потом «проблем». Обручение. Свадьба. Брачный контракт. Или, наоборот, брачный контракт, свадьба. Свадебное путешествие. «Дорогой» и «дорогая», правильно вставленные во фразы. Затем несколько лет, вложенные в создание условий для совместного и так далее... Карьера мужа. Правильное питание. Спорт. Семейные праздники. Пока наконец не решили, конечно, просчитать и прикинув: пора. Никаких спиртных напитков и сигарет. Бассейн, несколько месяцев размеренной, здоровой жизни. Чтобы удался на славу, такой, как на рекламе детского шампуня, и регулярные занятия сексом в те самые дни, когда наибольшая вероятность, что получится... Правильно. Выверено. Серьезно. Куда же она летит? Невозможно разгадать. Тысяча вариантов. Как в нашей игре с Наташей в топики. Три-четыре исповеди на заданную тему. И каждая безупречна. «Тебе интересно знать, Питер, как было на самом деле? Выбирай то, что тебе нравится. Сам выбирай, как было...» Я встал и пошел по проходу в хвост. Мне хотелось взглянуть.

6

Эти перелеты — странная вещь. Эти перелеты и самолеты — нечто немислимое, несоразмерное ни с чем из того, что происходит с нами в обычной жизни. Что-то вроде репетиции, когда берешь с собой самое необходимое, — ограничение веса багажа, уж конечно же, отягощено еще и неким символическим смыслом — отправляешься в своеобразное чистилище, где несусветная компания переминается с ноги на ногу в ожидании своего часа, заползаешь в чрево гигантской механической птицы и через считанные часы перемещаешься в иную реальность, где ты, может быть, уже и бывал когда-то, в какой-то другой жизни, и даже сохранил об этом смутные воспоминания, но все равно иной мир, куда ты попадаешь обвешанный бирками и снабженный специальными бумагами, полными для простого смертного загадочного смысла. Чтобы не думать о скорости, движении, прошлом и будущем, чтобы не думать о вещах, разлагающих, разъедающих обыденную стройность мысли, проще всего уйти,

провалиться в сон, в этот сладчайший внутриутробный сон, который сотрет, поглотит все ненужное и даст силы для тяжелого, всегда тяжелого приземления. Внутриутробный, поскольку как будто не спишь, а думаешь и думаешь обо всем сразу одним разросшимся правым полушарием, но ни одну мысль невозможно поймать, она ускользает, проходит сквозь сеть, прячется в холодной глубине. И ты совсем никак не управляешь этими волнами мыслей, они накатывают, пугают, баюкают, потому что заключен, неподвижен, прикован к месту, и все будто бездействует за исключением пульсирующего наподобие сердца мозга, терзаемого бурями; самые опасные воспоминания могут прокрасться и разорваться бомбой, потому что никто не стережет вход; самые несусветные вопросы могут заполнить голову до краев, затопить, заморочить в непроходимой чаще кажущихся достоверными, но на самом деле бутафорскими ответами. Когда каждая тропинка — не та. Но просыпаешься, выходишь из него, из этого сна, отдохнувшим, не помнящим грез, гладким, словно песок после шторма, заботливо разглаженный последней гигантской волной, не желающей оставлять после себя беспорядок. Слово ничего и не было. Все равно, когда летишь туда, время будет вычтено, перелет нарушает естественную связь минут и часов, и даже стрелки придется крутануть против их естественного движения. Прилетаешь помолодевшим, поскольку обычно новое место не хранит никакой памяти о тебе, а «назад» — приходится прибавлять, обязательно прибавлять часы, усталость, впечатления — дополнительный багаж возвращающегося, наматывшего на себя время, как нить...

— У нас законом запрещено курение, врачи утверждают, что никотин вызывает онкологические заболевания, рак легких... — Скрипучий голос соседа, уже некоторое время рассказывающего мне о себе и даже успевшего достать из бумажника семейную фотографию.

...исчезнувшего, канувшего куда-то и затем неуклюже пытающегося снова уложиться в свое штатное расписание.

— Я много курил в молодости, — продолжал сосед, — особенно во время войны, но потом...

— Давайте я пропущу вас. — Мужской голос сзади.

— Спасибо. — Женский, вежливо отстраненный.

Я прислушался: начинающееся трехчасовое знакомство.

Белая равнина за окном. Равнодушно голубое, мертвое небо. С земли оно кажется живым, разным, хмурым, теплым, радостным, тяжелым. Но когда пробираешься к нему за пазуху, оставляя облака далеко внизу, оно всегда кажется безжизненным. Голубое, но уже потемневшее, видимо, через час-полтора уже совсем погаснет и исчезнет этот потусторонний пейзаж с остановившимися облаками, не хватает разве что ангелов и овечек с хрустальными копытцами.

— Вас долго не было в Москве? — Мужской голос за спиной.

— Около месяца. Я гостила у друзей.

Мне нравится ее голос. Довольно низкий, приятный, бархатный. Как она выглядит? Стараюсь не глотать, потому что боль устремилась в уши. Кажется, что шея стала необъятной, бычьей, распухшей. Все время приходится поправлять кашне — сдавливать, душит, вместо того чтобы распространять теплое лечебное тепло.

— А я не был около года. Сам не знаю, что увижу. Из газет, ведь сами знаете...

— Вы живете в Люксембурге или работаете?

Ухудшение явное. В носу все раскалено, и боль от ушей стальными стрелами вонзается в ключицы. Что же это такое? Оттого, что я почти не глотаю, распирает грудную клетку и такое ощущение, что вот-вот разорвется сердце. Но время, когда я боялся за свое сердце, прошло. Теперь я почему-то не боюсь. В течение двух-трех месяцев после истории с Наташей, каждое утро я просыпаясь с мыслью, что начинается мой последний день. Я вспомнил свое отражение в зеркале, в узкой уборной самолета. Эти отвратительные тонкие седые усики, наподобие тех, что носят латиноамериканцы, нужно сбрить. Если были бы густые черные волосы, толстые, жесткие, откиннутые назад и обнажающие

высокий мужественный лоб, тогда бы еще куда ни шло, а так в моем лице все не подходило одно к другому. Словно плохо составленный фоторобот. И очки тоже нужны другие, у этих слишком тонкая оправа, такие только лицестам носить.

— Ну и что, не скучаете там?

Я чуть не умер тогда на скамейке перед ее домом, я просидел там весь день в надежде втайне взглянуть на нее. Как семнадцатилетний мальчишка. Как сопляк с распоясавшимися нервами, переживающий гормональный взрыв. Как прыщавый юнец. Я прикрывался газеткой, как шпик. Шпик из дурацкого телесериала. В десять я уже был на скамейке — так не было риска ее пропустить, ведь я знал, что раньше одиннадцати она не встает. Было очень жарко, по всему моему телу ручьями тек пот, руки дрожали, я каждые пятнадцать минут протирал очки, я мучительно разглядывал всех, кто входил в ее подъезд, пытаюсь понять, не к ней ли идет. Я уже почти все понимал, и в то же время мне казалось, что понимаемое мною — неправда. Видимость, подлая видимость, выдающая одно за другое, рядящая всех не в свои костюмы, короля — в шута, принцессу — в лягушку. Меня бил страшный озноб, я не ел уже несколько дней и не спал несколько ночей. После моего единственного визита к ней я вернулся потрясенный и внутренне пошел в полный разнос. А может быть, все, что я видел и слышал, просто спектакль? Но с какой стати? Я оказался там случайно. Да и что я за зритель для нее? Я в любую минуту был готов к тому, что она может появиться, выпорхнуть из подъезда. Что бы я сказал ей, если бы она случайно заметила меня? Упал бы на колени, распугов прохожих, и произнес бы пламенную речь о страсти и тайных помыслах? Солгал бы что-нибудь? Я был готов к такой встрече. И поэтому совсем не знал, что сказал бы. Может быть, избитое до синяков «Прощай», поблагодарил бы за «редкость встреч, отраву поцелуя», закончив тем же, чем закончил бедный поэт, застреленный на дуэли?

— Я уехал, потому что мне стало скучно. Там я уже все прожил. Там не было ничего нового, а старое...

Скоро он спросил ее, замужем ли она.

— А вы женаты?

Ошибся. Вопрос прозвучал с ее стороны.

Когда около шести вечера к подъезду подкатил черный сверкающий автомобиль, купающийся в мягких вечерних лучах, я сразу понял, что это к ней. Он просигналил два раза. Именно от этого звука у меня забилось сердце и сильнейшая боль пронзила всю левую сторону. Я почему-то вспомнил финал «Смерти в Венеции». Несчастный герой, обливаясь потекшей с волос краской, умирает в шезлонге на пляже, любясь своим белокурый мальчиком. Этот фильм тогда вызвал во мне отвращение. Теперь жалость к себе снимала отвращение. Я ждал, что она вот-вот выйдет. Ком в горле и боль. Тошнота и страх, что организм выкинет сейчас что-нибудь ужасающе позорное. Я узнал ее сразу и в ту же секунду подумал, что отныне буду мучиться еще сильнее, вспоминая ее в вечернем открытом платье, на каблуках, особо причесанную, на открытой загорелой шее — колье. Поблескивает. Ослепляет. Я никогда не видел ее такой. Только то же очень спокойное выражение лица. Из автомобиля вышел мужчина моих лет, совершенно седой, весь в черном.

— ...Сколько тебе лет?

— А сколько тебе хотелось бы, чтобы мне было, а, Питер? Девятнадцать, двадцать два, может быть, тринадцать? А? Питер? Признайся.

Она, как всегда, ушла от ответа. Я тогда про себя решил, что, наверное, около двадцати.

...Полноватый. Он открыл дверцу. Что-то сальное было в его движениях, какой-то душок исходил от его спокойствия и уверенности в себе. Она равнодушно села на переднее сиденье. Я стал искать по карманам валидол или нитроглицерин. Ничего не нашел. Сколько мне тогда было? Минус три года. Я был весь мокрый, и мне казалось, она почувствует запах и... Ее профиль застрял у меня в мозгу — высокий пучок и локоны вдоль висков, она казалась

молодой дамой, а не шикарной спортивного стиля девочкой, орлиный носик при ней, но в целом — совсем не она. Я еще долго сидел на скамейке. Это и есть ее итальянский муж? Или прощальный ужин с кем-то из прежних? Я добрал до дома к одиннадцати вечера почти что в бреду. Горло набухло болью, и по телу разливался страшный жар. Что это еще за детские болезни? Я пролежал один неделю. Мама была на даче.

— Разведен. Но с моей бывшей женой мы сохранили родственные отношения. Они с сыном приезжали ко мне на Рождество.

— А вы чем занимаетесь? — спросил меня сосед. — Наверное...

Я не дал ему высказать предположения.

— Ихтиолог, — быстро проговорил я, — люблю мир океанических глубин.

7

Конечно же, в начале начал — гуппи и меченосцы, словно облаченные в пеньюар золотые рыбки с розовыми с детское блюдечко глазами, и только потом морские миноги, паразитирующие, присасывающиеся к жертве и раздражающие языком, утыканным зубами, ее плоть в клочья, наслаждающиеся вкусом и запахом свежей крови (хотя запахом — нет) и беспомощными конвульсиями, только потом акулы со зловещими желтыми глазами и сам Мировой океан, где каждое движение беззвучно, где нет криков, охов и стенаний, где нет вообще никакого звука, связанного со всяким наземным проявлением жизни, или скаты, парящие, словно орлы, — *Milobatis aquila*, или рыбы-мотыльки, ничем не отличающиеся от своих сухопутных братьев, — зеркальное отражение, зазеркальный мир, воспроизводящий почти в точности мир воздушный, только «летать» заменяется на «плавать», со всеми вытекающими отсюда последствиями, фантастическая симметрия, шутка Создателя, исполненная глубокого смысла, — жизнь выше стихии, какой бы яростной она ни казалась, — или клювокрылые... Я помню, в детстве был потрясен, когда узнал, что моль питается шелком и шерстью, я не мог вообразить, как это кто-то съел плед или одежду в шкафу, воображение будоражили также и комары, такие маленькие и ничтожные, но обязательно охотящиеся за человеком, эдакие глупыши, не понимающие, что, пока они кружат, присаживаются, топчутся, медленно опускают хоботок в пору, и воткнув хоботок, несколько раз обязательно подергав его туда-сюда, прилаживаются, пьют, наполняя свое плоское и сухое брюшко, как мехи, рубиновой влагой, за ними наблюдают два огромных человеческих глаза, а гигантская ладонь в любой момент готова прервать этот ритуал. Но все эти «чудаки» жили здесь же — и собирающие нектар, и изрыгающие шелковую нить, их можно было увидеть, потрогать в отличие от навечных подводных молчунов, живущих в своем немислимом, скрытом от глаз мире, в который обычно двуногому и бескрылому, снабженному парой легких, заказан вход, только фотографии в книгах и мечты, которые, как выяснилось впоследствии, куда беднее реальности, столь же реальной, как и всякая безумная фантазия. Я покупал, обменивал, впоследствии, когда начались первые экспедиции, привозил, я был обладателем и венесуэльской моенкаузии бриллиантовой, очаровывающей своим изяществом и мерцающим блеском, и парагвайской филомены с красной верхней оболочкой глаза и умопомрачительной золотой, переходящей в черную полосу в основании хвостового плавника, и сплюсненной тернеции. У меня перебивали и тетры красноголовые, и фонарик, описанный Штейндахнером еще в 1883 году, и неонки зеленые, и кровавые тетры, агрессивные и раздражительные, видимо, поэтому и не живущие долго в искусственной среде, самые несусветные виды населяли мой домашний...

— Бабочки?

— Нет, рыбы.

Сосед, обрадовавшись тому, что, кажется, наконец выбрана тема для разговора, развернулся ко мне.

— Постойте, у вас наверняка большая коллекция, знаете, у моего правнука тоже есть...

Звук моего голоса изумил меня. Сплющенный, глухой, словно со дна треснувшего глиняного сосуда. Сухой звук. Не мой. Чтобы удостовериться, я решил произнести еще что-нибудь.

— И он сам ухаживает за ними?

— Ну нет, конечно, он, как мальчик, скорее балуется, хватается руками...

Да, это не мой голос. Я попробовал прокашляться. Не получилось. Все слишком сухо. Для кашля нужна хотя бы капля влаги. Мне даже показалось, что у меня в горле песок, желтый раскаленный песок, я хотел проглотить его, смыть слюной, но слюны не было, пустыня, мелькнуло у меня в голове, пустыня, утыканная верблюжьими колючками. Я поймал на себе водянистый взгляд Мишель. Они все боятся инфекции. Эта мысль сменила предыдущую о пустыне. Они боятся заразиться — и старик, и эта Мишель: ему умирать, ей рожать. Мальчик съел апельсин и уснул, обхватив своими ручонками, толстую, как слоновий хобот, руку отца. Мальвина читает. Что же она читает? Роман о любви? Вряд ли. Наверняка что-нибудь серьезное с выраженным морализаторским уклоном.

— Недавно я приобрел, — сам не понимаю почему, проговорил я, — *Barbus filamentosus*, удивительной красоты экземпляр.

— Да? — более чем неестественно изумился старик. — Почему?

— Представляете, — мои губы растянулись в воспаленной и сухой улыбке, — на солнечном свете она переливается всеми цветами радуги. Я специально расположил аквариум у окна, чтобы туда попадало солнце, и, когда это случается, нечасто, в погожие дни, а они довольно-таки редки при нашем климате, вы, наверное, читали об этом, готовясь к этому путешествию, а у меня в кабинете еще окна выходят на восток, так что в первой половине дня вся моя комната наполняется каким-то сверхъестественным сиянием.

— И это можно купить в Москве? — оживился старик. — Вот обрадуется мой правнук!

— В Индии, — любезно созлорадничал я, — да и довести ее не просто, особь крупная для аквариума, сантиметров пятнадцать—двадцать, и самолет не переносит совершенно.

Старик расстроился. И правда, старики, что дети, подумал я. Он внезапно погрузился в свои мысли, сидел отрешенный, с ним произошла разительная перемена, ведь еще пять минут назад он собирался болтать со мной до бесконечности о немислимых красотах, а главное, о загадках и опасностях, скрытых в многокилометровой толще океанических вод.

Впереди шла бурная дискуссия о средствах наземного передвижения.

— Не роскошь, не роскошь — прав был классик, — настаивала явно намекавшаяся лысина, — скажем, какой-нибудь «мерседес»... Не ломается, надежен, неприхотлив, опять же в смысле безопасности...

— Бортовой компьютер — игрушка, особенно у нас, но приятно, когда женский голос нежно говорит тебе: «Вы забыли пристегнуться» или «У вас плохо закрыта дверь».

— Или еще чего поинтереснее, да?

Смешок.

— Ох, молодая кровь, молодая кровь!

— А как же?! — И нос с горбинкой как будто клюнул что-то парившее в воздухе.

— Любовь — материя тонкая, и ее голыми руками не возьмешь, — протрубил после большой паузы мужской голос сзади.

Ответа не последовало.

— Но начинать можно и с малого. — Лысина.

— Может, вы и правы. — Нос с горбинкой.

— Ну это, знаете ли, метафоры, — ответил низкий женский голос. — Просто мужчины не умеют чувствовать.

Ее номер. Какой же у нее был номер? Два, шесть, четыре... Или нет, два, три, четыре, кажется, пятьдесят восемь, двадцать два. Возможно, не пятьдесят восемь, а восемьдесят пять.

По салону самолета поползли запахи кухни. Запах, тормозящий аппетит, забивающий голод, если он, конечно, есть. Вероятно, все пассажиры очень голодны, ведь уже вечер, а не обедал почти никто. Из-за этой переброски из Брюсселя в Люксембург. Вскоре после того, как все расселись по местам, по салону пробежал характерный хруст — многие принялись за купленные шоколадки. И все с радостью примут поднос, уставленный пластмассовыми коробочками, с радостью вооружатся пластмассовыми ножами с гнущимися лезвиями и станут намазывать заочневшее масло по предварительно распиленным на половинки черствым белым булочкам. Мальвина мерно посапывает над своей полной добропорядочных советов книгой. Скорее даже не советов, а рецептов. «Книга о пресной и здоровой жизни». Без острого и соленого, перченого и жареного — отварная любовь, дружба из паровой бани, никакого уксуса-искуса, ни грамма забав-приправ, хотя, может быть, я и ошибаюсь, может быть, она читает какую-нибудь садомазохистскую порнографию втайне, в самолете, когда нет никого из знакомых вокруг, купила в аэропорту в газетном киоске, быстро, заговорщически сунув продавцу, уж конечно же, арабу, деньги, вечно эти киоски в аэропортах и на вокзалах обрушивают на тебя груды необъятных размеров обнаженных грудей всех цветов и оттенков, отовсюду с обложек тарачатся на тебя то самое из расставленных ног, иногда чуть скрытое для остротки, иногда прямо как есть, чуть замешкался, бах! — и въехал со всего размаху голым, как коленка, лицом в наставленную на тебя задницу.

Мальчик проснулся и смотрит в окно. Небо уже почернело, словно даже обуглилось, будто облака сгорели в неумно полыхавшем закате, за окном пепелище, головешки, звезды, словно гнойники, выступающие из почернелой рыхлой небесной плоти.

— Я ужасно голоден, — признался мой сосед, — но в прошлый раз я сильно отравился, когда летел в Пекин, и на этот раз у меня есть с собой бутерброды. Жена приготовила мне сэндвичи с тунцом, это мои самые любимые сэндвичи, с тунцом, хотя вы как ученый и эколог наверняка не одобряете моих пристрастий. Но я просто человек, обыкновенный человек, я не видел ничего невероятного и живу, как все, уж простите меня.

— Я одобряю, одобряю, — успокоил я его, — только не пойму, чего вы ждете, ешьте, вы ведь сами сказали, что голодны.

— Я жду, когда принесут ваш ужин, — ответил он с лицом школьного отличника, — я буду есть вместе с вами, так все-таки веселей.

Конечно, и речи быть не могло, чтобы я ел этот ужин.

— А свою порцию я отдам вам, — с радостной улыбкой добавил сосед.

— Ну, если только порцию чая, — улыбнулся я в ответ, — сижу на строжайшей диете — лишний вес.

— Понимаю, понимаю, — грустно закивал он, — сердце, да и вообще... Лишняя пища отнимают годы.

Я согласился. Впереди и сзади царила полная тишина, видимо, и те, и другие, утомившись от слов, задремали или погрузились в чтение. Чтобы не продолжать разговор, я сделал вид, что читаю журнал.

Но он все равно не выдержал.

— И сколько же стоит такая рыбка, которая сияет, как солнце, вы говорили, из Индии?

Я тогда все-таки попросил у нее номер телефона. Я ждал целую неделю, мы встречались трижды за эту неделю, были обычные двухчасовые занятия. Я попросил номер, я не выдержал, я сослался на то, что, возможно, мне придется перенести нашу встречу, попросил неловко, и она поняла, что причина совсем не та, о которой я говорю. Конечно же, я не собирался ничего переносить. Я громил свои собственные планы, как вражеские войска, ради того,

чтобы заниматься с ней тогда, когда это удобно ей, боясь, что при малейшей заговоздке с моей стороны она скажет, что не может, и встреча рухнет.

— Ты хочешь мне позвонить, Питер? — переспросила она, чуть сощуривая улыбающиеся серые глаза. — Скажи, когда, я позвоню тебе сама.

— Меня не будет дома, — соврал я. Как сопляк. Как семиклассник.

— Что ты говоришь? — Она намекала на то, что я нарушил установленное мною же правило и ответил по-русски.

— Меня не будет дома, — повторил я по-итальянски уже чуть более уверенно, чужой язык, как маска, за ним удобно скрывать лицо.

— Меня тоже.

Я отметил, что она говорит прекрасно, ошибок не делает совсем.

— Впрочем, запиши. Не возражаю. Поболтаем по-итальянски на расстоянии. Дарю, записывая.

Это уж чересчур. Я поморщился.

— Ну так как? Смотри, передумаю.

Она разговаривает со мной, как с подростком, как с парнем из подворотни, с тем самым, о котором она рассказывала когда-то, серьезно или в шутку — не разобрать, но она бездарно вульгарна, — кровь ударила мне в голову, я, кажется, весь побелел от ярости, — она не чувствует, когда перегibtает, когда подходит к той грани, за которую лучше не ступать, потому что потом вспоминать противно.

— Меня проще всего застать около полудня. — Спокойно, доверительно, по-дружески нежно.

Я записал номер.

Я звонил весь вечер до глубокой ночи. Я проснулся среди ночи и тоже на всякий случай набрал номер. Никого. Я звонил все утро и весь следующий день. Я не занимался ничем другим, выкуривал сигарету и набирал номер, доходил до окна и возвращался, я звонил бесконечно, постоянно, до тошноты и боли в висках. Я пытался отвлечься, заняться аквариумами, почитать, углубиться в дела, но немедленно шел к телефону и набирал номер. Я звонил, чтобы сказать — что? «Если вы хотите мне что-нибудь передать, у вас есть одна минута после звукового сигнала». Голос на автоответчике холодный, равнодушный, отстраненный, без единственной теплой нотки. Жесткая формулировка: «У вас есть одна минута». Мне нечего было сказать. Если бы она подошла, я бы сказал ей, что все в порядке, занятия состоятся. Но записывать это на пленку я не хотел, ведь тогда я лишился права дозвониться и поговорить с ней. Поэтому я слушал голос и звонил опять.

Вечер. Ночь. Утро. День. Вечер. Семь цифр. Немытая посуда на кухне. Некогда. Мама уже около месяца на даче. Нехорошо оставлять ее в таком возрасте совершенно одну. За этот месяц я ни разу не навещил ее, не проявил заботу: «Срочная работа». Наспех сделанные и проглоченные бутерброды. Повсюду грязные чашки. Кофе. Чай. Кофе. Кофе. Чай. Полные пепельницы. Отчаяние. Не дозвонюсь. Не увижу. Никогда. Подумает, что, если я не позвонил, значит, уехал, ведь я же говорил что-то в этом роде. Зачем я придумал именно эту чушь? Зачем?! Зачем?! Я решил на всякий случай записать: «Все в порядке. Это Питер. Урок будет как всегда. Позвони мне». Я подумал о том, что мой голос зазвучит в ее квартире. Может быть, если она дома, она уже услышала его, может, если она не одна, этот кто-то спросит: «И кто этот Питер?» Так, по-хозяйски. А она скажет: «Один знакомый», если захочет чуть подынтриговать. Или: «Мой преподаватель итальянского языка». Гордо звучит, черт подери! И сейчас они там выясняют, зачем она берет уроки итальянского. Да, зачем? Потому что уезжает в Италию. А зачем она едет в Италию? Тут меня словно дернуло током. Я перезвонил: «Привет, это Питер. Урок будет как всегда. Жду твоего звонка». Я поклялся себе не звонить час. Не подходить к телефону и не набирать ее номер целый час. Зачем вообще его теперь набирать? Я лег на диван и стал ждать. Взял газету. Взял книгу. Попробовал уснуть. Закурил. Решил принять душ. Душ убьет верных пятнадцать, а то и двадцать минут. По дороге я передумал: а что ес-

ли телефон зазвонит и я из-за льющейся воды не услышу? Вернулся в кабинет. Сел в кресло перед столом. Встал. Подошел к окну. Покормил рыб. Провел рукой по пыльной книжной полке. Мне несколько раз мерещился телефонный звонок, и я кидался к телефону. Я кидался к телефону и снимал трубку. Ровный сверлящий гудок. А что если именно в этот момент она набирает номер, а у меня занято?

Чего я хочу добиться? Ей будет неприятно заниматься со мной. Неприятно видеть, как страдает безразличный тебе человек. Сказать хоть слово — значит испортить все.

Я механически снял трубку. Голос как будто сонный. Совершенно чужой. Холодный, кажется, что издалека.

— Я заболела. Может быть, ты завтра зайдешь ко мне? Я не могу пропустить занятие.

Интонации безупречно итальянские.

— Выпьем чего-нибудь.

— А что с тобой?

— Я простудилась. Горло побаливает.

— В такую жару? Я записываю адрес.

Диктует: номер дома, квартиры, потом название улицы. Ошибок не делает никаких.

— Тебе что-нибудь нужно?

— Нет, спасибо. До завтра.

Я застыл с трубкой в руках. Я слушал короткие гудки, будто пытаюсь понять, что они означают. Как все это понимать? Да никак. Она сказала только то, что сказала. Внезапно меня осенило: я имел право перезвонить. Ведь мы не договорились о времени. Она ответила немного раздраженно и быстро попрощалась.

9

—...и тогда,— продолжил мой сосед,— мы с женой были вынуждены сказать ему: Андре, мы дружили семьями более сорока лет, неужели ты хочешь, чтобы мы теперь принимали тебя с твоей новой женой? А как же Мартина? Мало того, что ты бросил свою семью, так теперь еще мы должны отвернуться от Мартины! Это было бы несправедливо, согласишься.

— А сколько тогда было вашему другу? — спросил я.

— Случилось это четыре года назад, значит, семьдесят один.

— А ей?

— Тридцать. До этого она уже была замужем.

— А он что, богат?

Я понимал, что задаю рискованный вопрос, но все же не удержался.

— Достаточно.

— В нашем кругу, да еще и в нашем возрасте,— сосед улыбнулся,— разводы — большая редкость. Это совершенно бессмысленно, да к тому же и очень дорого. Ну зачем, по-вашему, разводы? Я, знаете ли, в молодые годы многое позволял себе, но семья была для меня неприкосновенной. Разрушить семью — это то же самое, что разрушить себя самого.

— И вы поссорились со своим старым другом?

— Не общались несколько лет. Не хотелось, чтобы наши дети и внуки видели, что мы принимаем, а значит, одобряем подобное поведение. У нас ведь городок маленький, все на виду. А он все хотел бывать с ней в домах, на людях, он словно не понимал...

Она не сразу открыла мне, я даже забеспокоился, но потом дверь внезапно распахнулась, и я понял, почему не слышал,— на ней были высокие из грубой шерсти толстые носки, скрывающие звук шагов.

— Я разговариваю по телефону, проходи, Питер.

Я протянул ей розу. Потом заметил, что протягиваю через порог, и как-то неловко шагнул вперед. Она вернулась к телефону и продолжила раз-

говор, показывая мне рукой, чтобы я прошел. Вид у нее был сонный, опухший, совершенно детское личико, непричесанные волосы собраны в хвост, воспаленные глаза, по-прежнему сильный загар. При таком загаре лицо просто не может казаться бледным. Вокруг шеи — мужское шелковое кашне в крошечных малахитовых ромбах, огромного размера черная майка с длинными рукавами, вырез получается очень большой, и видны шоколадные ключицы, основание шеи. Она сидела на невысоком табурете около телефонного столика, закинув ногу на ногу, вертела в руках розу и что-то очень сосредоточенно слушала.

— Омерзительно, — вдруг отчетливо проговорила она. — Ты знаешь, что с ним мне тоже вчера пришлось расплатиться, причем на всю катушку, я не хочу, чтобы под занавес они испортили мне все кино.

Она говорила грубо и развязно, словно подвыпившая размалеванная деваха, огрызающаяся на замечание в пригородной электричке. Я никогда не видел ее такой. Она всегда была очень спокойной, как будто участвовала в происходящем только наполовину, спокойной, невозмутимой, равнодушной, иногда нарочито вежливой, иногда чуть теплела, но только для игры, для создания контраста, чтобы я никак не мог приладиться ни к какому из ее стилей поведения. Наташа заметила, что я слушаю разговор, и указала мне рукой на бар.

— Выпей что-нибудь пока, — проговорила она шепотом, закрывая плоской, словно точеной, ладонью трубку, — я через пять минут буду готова.

Я огляделся. Это «буду готова» резануло меня.

Квартира очень походила на гостиничный номер или меблированную комнату, снятую у добропорядочной держательницы регулярно приносящей доход недвижности. Запаха никакого. Холодные белые стены.

— Ладно, я заканчиваю эту бодрягу, — резко сказала Наташа, — и можешь передать ей, ведь ты за этим звонишь, что я заплачу ей, сколько скажет, только пусть оставит меня в покое.

Я показал, что хочу вымыть руки, сделал нелепый кукольный жест и почему-то на цыпочках, вбрав голову в плечи, отправился в ванную. Кремы, шампуни, бальзамы, черт с ним, с этим благоухающим пестрым царством, фантастическим марсианским городом, раскинувшим свои причудливые небоскребы на всевозможных стеклянных полочках и столиках: главное, что я увидел там, — это ее халат, огромный махровый розовый халат, я провел по нему руками, потом еще и еще, я заметил на воротах несколько волосков, ее волосков, и немедленно завладел ими, намотал вокруг пальца — мягкие, толстые, упругие. Я прислушался. Тишина. Я ждал.

— Кажется, я уже сказала тебе.

Еще разговаривает. Я обхватил халат обеими руками и уткнулся в него лицом. Я ловил ее запах. Халат был напоен ее запахом. Тем самым, который я узнал лишь однажды, когда в коридоре рассыпались ее бусы и мы...

— И вдруг он позвонил мне, — после паузы сказал сосед.

— Кто? — не понял я.

— Ну, Жан-Пьер, мой друг.

— Спустя два года?

— Да. (Многозначительная пауза.) Он сказал, что чувствует себя все хуже и хуже, и врачи не могут определить, что с ним.

— Вероятно, молодая жена отнимала у него слишком много сил, моральных в первую очередь, — смутно предположил я, — колоссальная разница в возрасте, страхи, сомнения...

Мы сидели на кухне и пытались заниматься. Телефон звонил не переставая. Почему-то она не включила автоответчик и отвечала сама.

— Нет, сегодня я занята.

— Хорошо, сегодня в шесть, как обычно.

— Заходи ко мне около пяти, у меня будет минут двадцать, в половине шестого я уезжаю.

Она говорила очень коротко, на что-то соглашалась, от чего-то отказывалась. Кухня была очень уютная и просторная, все говорило о том, что она живет в этой квартире недавно.

— И ты еще чего-то хочешь от меня? — изумленно произнесла она в трубку. — Кажется, вчера мы рассчитались, полностью рассчитались. Или ты не понимаешь, что означает слово «полностью»?

— Нет, дело было совсем не в разводе и не в изменении образа жизни, — тихо говорил сосед. — Болезнь его выглядела очень странно, он все слабел и слабел, и никто не мог понять причины, его исследовали...

— Так о чем мы с тобой говорим сегодня, Питер? — спросила Наташа.

— Собирались о деньгах. Что ты думаешь о деньгах?

— Ничего. Они не нужны мне.

— Как это?

— Все, что мне нужно, я имею без денег. Я сама никогда ни за что не плачу.

Черная маечка съехала набок, и вот-вот должно было обнажиться правое плечо.

— Я не зарабатываю ничего. Все, что у меня есть, подарено мне. Вот ты, например, почему-то решил подарить мне итальянский язык, так ведь?

— И твой белый автомобиль, и эту квартиру, и эту черную маечку — все это подарили тебе?

— Ладно, Питер, только тебе правду скажу (грузинский акцент и цыганское подмигивание). Я в поте лица зарабатываю скромное жалование и скапливаю по крохам, чтобы купить себе в конце недели килограмм сосисок. Маечка — папина, с отцовского плеча, видишь, какая огромная, он у меня лесоруб.

— Ты же говорила, что дипломат?

— А еще ученый и директор целлюлозного комбината. Ты еще не выбрал мне родителей, а, Питер?

— Так вот потом выяснилось, — продолжал сосед, вращая свой перстенок на мизинце, — что она подливала или подсыпала, я уж не знаю тонкостей, ему какое-то лекарство в пищу, и он все слабел и слабел. Ей понадобилось три года, чтобы свести его в могилу. И никто вначале ничего не заподозрил, ведь это естественно, когда люди в нашем возрасте теряют силы.

— А как же все выяснилось? — поинтересовался я.

— Ладно, Наташа. Не хочешь зарабатывать, не зарабатывай, дело твое.

— Я считаю, — сказала Наташа с напускной серьезностью, — что деньги нужны только мужчине, а не женщине. Для него они — средство, для нее — цель. Если они у него есть, то он может позволить себе иметь красивую женщину и приятных очаровательных детей. И это — настоящая роскошь, потому что это то немногое, что дарит ему ощущение тепла долгими зимними холодными вечерами. Но настоящему мужчине не страшны долгие холодные зимние вечера. Я правильно отвечаю, Питер? Как, тебе опять не нравится? Хорошо. Давай по-другому.

— Ее аптекарь. Он заявил в полицию, что она в течение нескольких лет регулярно покупала у него сильные средства.

— Неужели она не догадалась покупать в разных аптеках?

— Так вот. Стремление к деньгам, если оно не является естественной склонностью и воспитано обстоятельствами — я правильно сказала, Питер: «естественной склонностью»? — Маечка сползла, и Наташа, заметив это, быстрым движением подтянула ее и закрыла плечо, — калечит характер и душу, если только это не врожденная страсть, а всякая врожденная страсть бедную, несчастную человеческую душу разъедает вдвойне. Да и не от дьявола ли этот презренный металл произошел и расплодился без всякой меры в человеческой жизни и его кишащих помыслах? Звездное совершенно бесплатное небо над головой — это все, что нужно человеку.

— Плохо сыграно.

— Что ты, я серьезна, как никогда.

Телефон опять зазвонил.

— *Какие у тебя замечания? Какие были ошибки?*

Я протянул ей листок, который она немедленно вклеила в свою тетрадь.

— *Нам не дадут позаниматься.*

— Просто через некоторое время после смерти Жан-Пьера все внезапно в городе заговорили об этом, а потом было понятно, что она спешит, ну как бы это сказать, поскорее освободиться и остаться молодой вдовой с большими деньгами. Такие женщины ужасны. Они ослепляют мужчину, а дальше умело подводят его к краю бездны.

— *Запомни как следует, милок, то, что я тебе сейчас скажу! — почти прокричала Наташа, и ее лицо в этот момент сделалось каким-то маленьким и злым.— Сейчас ты позвонил мне в последний раз. Прожевал?.. Прости, Питер,— сказала она мягко,— здесь невозможно. Послезавтра у тебя, в два часа, хорошо? Хочешь, подвезу? Мне все равно нужно по делам.*

— *Ты же больна.*

— *Я не больна. Я не могла уйти из дома, прости, Питер.*

Я встал.

— *Спасибо, Питер, я очень люблю розы.*

Выходя, я снова оглядел комнату. Странный беспорядок. На кровати рядом с плеером кассеты с итальянским аудиокурсом.

— *И она сидит теперь в тюрьме?*

— Нет, она куда-то исчезла, говорят, уехала с молодым любовником за океан. Пусть эта история послужит и вам уроком, ведь вы еще молоды, а годы проходят так быстро.

— *Я беден, как церковная мышь.*

— *А почему церковная мышь бедна? — не понял старик.*

— *Так у нас говорят,— объяснил я.*

Через минуту передо мной стоял поднос с так называемым ужином, и я, механически накалывая пластмассовой вилкой бурые с жирной бахромой мясные кубики, отправлял их в рот и проглатывал не жуя.

10

Как будто засыпаю. Еда отяжеляет, тянет вниз, на дно небесного океана, и мы скользим по самому его дну на сверкающем распластанном суденышке, расставившем в разные стороны весла-крылья, и где-то слева от нас на пушистом, невесомом, словно парящая вата, облачном иле мчится сероватая тень, наперегонки, обреченно напрягая последние силы. Я пропустил закат. Слева жужжит старик. Через проход что-то быстро рассказывает Мишель. Тихо и навязчиво. Тихо потому, что сидит вполборота, спиной ко мне. Она говорит, что последнее время очень много путешествует.

Отец очень любил писать закаты. Особенно после того, как переехали в высотку на площади Восстания после премии за проект этой идиотской гостиницы, слепленной из двух не подходящих друг другу половин из-за торопливого прокуренного росчерка пера. Он часто бормотал себе под нос, окунаясь в очередное закатное варево за окном. Я слышал: «Для части неба возле самых ярких лучей солнца, то есть уже темнеющей,— желтый хром, белая камея и киноварь». Со временем я научился понимать, я знал, что такое камея, киноварь, кадмий. Сам он ничего не объяснял мне. Он не хотел, чтобы я подхватил его линию и продолжил ее. Он настаивал, чтобы я занимался другим. «Даже не малярюм»,— иногда шутил он. И давал деньги на рыб.

— *Но ведь путешествие стоит больших денег! — Мишель.*

— *Я хорошо позаботился о своих детях и внуках (фарфоровая улыбка), потому могу позволить и себе некоторые удовольствия! — Сосед.*

— *Это лучшее, что есть, путешествия... — Мишель.*

— Старость заслуживает впечатлений. В молодости они сыплются градом, а в старости их нужно раздобывать.— Сосед.

Реплика Мишель.

Реплика соседа.

Реплика Мишель.

Свист моторов.

«Кассельская земля и белила образуют потухающий полутон. Для светло-желтых отблесков на облаках — кадмий, белила, чуточку киновари».

Наташе нравился вид из моего окна. «Впечатляющее зрелище! — восклицала она, касаясь кончиками пальцев оконного стекла.— Как будто напоминание о чем-то...» Тогда, за два дня до того, как я попросил телефон, я предложил ей описать то, что она видит. «Напоминание» она сказала неправильно. Употребила не то слово, слово с совершенно другим смыслом, и получилось смешно, но я не подал виду. «Описать?» Это предложение удивило ее. «Только перечислить цвета»,— уточнил я. Я не отрываясь смотрел на глаза, на серые, чуть сощурившиеся глаза с более темными, чем волосы, ресницами. Она беспомощно улыбнулась. Ей явно не хотелось говорить «красный, желтый, оранжевый, голубой, зеленый». Это мы уже выучили давно. Она не хотела говорить банальности. Она всегда заботилась о том, чтобы не показаться банальной. Краска залила ее щеки — так было всегда, когда она чего-либо не знала, когда от нее требовалось какое-то усилие.

— Вишневый, малиновый, сливовый, яичная полоса, вон там, сверху, кремовый...

— Ты голодна,— попытался пошутить я.

— Во-первых, да, голодна,— чуть раздражаясь, сказала Наташа,— а вторых, я не знаю, как сказать «рубиновый, аметистовый, агатовый, гранатовый, бирюзовый».

— В первом случае,— улыбнулся я,— могу оказать существенную помощь и даже добавить фисташкового, салатного, орехового и шоколадного, во втором лишь отчасти — записывай.

«Для более оранжевой части неба, непосредственно над сияющим диском,— говорил отец,— неаполитанскую желтую, голубую и белила, но только обязательно нужно дать проступить оранжевому тону».

Мы ужинали на кухне. Наташа ела очень мало. Взяла пальцами с тарелки несколько ломтиков сыра. Съела немного орехов. Сказала, что из всех орехов больше всего любит фисташки, от шоколада отказалась. Любит горький, а был только молочный. Ее тарелка осталась чистой.

— А что ты любишь больше всего?

Она не знала, как сказать «каша», но употребила самое яркое и сильное «ненавижу».

«Оранжевый тон очень красив для неба,— часто повторял отец,— натуральная итальянская земля, белила, киноварь. Киноварь, белила, камедь и кое-где немного кадмия и белил. Вот и весь рецепт».

— Ненавижу картошку, кашу, мясо. Люблю бутерброды, огромные и вредные.

Гигантское синее облако слегка шевельнуло хвостом и почти вплотную прижалось мордой к иллюминатору. Кистеперые облака редко встречаются в небесных водах,— мелькнуло у меня в голове. Надо же, на такой высоте встречаются музейные экспонаты. Я понимаю, что это сон,— значит, не совсем сплю. Представляю, как запестрели заголовками газеты: «Вымершие ископаемые рыбы: латимерия. У берегов юго-восточной Африки на глубине 80 метров выловлен уникальный экземпляр подкласса кистеперых, которые, по мнению ученых, покинули Землю много миллионов лет назад». 1939 год. Потом еще и еще. Внушительных размеров со словно бронированной головой и круглыми неподвижными глазами. Никто не догадывался, что они существуют, описывали, основываясь на палеонтологических данных. Конечно же, первыми, как всегда, были французы, и вторыми, конечно же, англичане. Идеальный для жизни вариант: существовать так, чтобы считалось, что ты вымер многие мил-

лионы лет назад. Когда-то существовал, да, бесспорно. Легенды, истории, воображение. Жить далеко, в глубине. В другом пространственном и временном измерении. Интересно, как так получилось: в пространстве человек видит только вперед, а во времени только назад? Прихоть создателя.

По проходу пошел человек, чем-то напомнивший мне отца. Среднего роста, с небольшим брюшком, интересным гербообразным овалом лица. Я всегда стеснялся, когда отец, бережно обнимая маму за плечи, представлял ее новым знакомым: «Это мой самый дорогой друг», — говорил он, и мама в подтверждение немного наклонялась вперед. Я так и запомнил их: отец, по-дружески обнимающий маму за плечи, маму, которая всю жизнь сначала «берегла» его, а потом меня. Потом, после его смерти, мы вдвоем перечитывали его письма к ней. Все они начинались одинаково: «Дорогой мой человечек, друг мой...»

Я осторожно обвел языком небо, прежде чем открыть глаза. Какая-то невыносимая детская болезнь. Смешно в таком возрасте говорить о миндалинах.

— Знаете, сегодня утром в журнале «Пари-матч» я прочел интереснейшую статью, хотите взглянуть?

Сосед, вероятно, только того и ждал, чтобы я открыл глаза.

Я взял журнал у него из рук, новенький, как будто только что из типографии. Очередная кареглазая «ковер гёл». У них в этом году особенно модны блондинки с карими глазами. Корни волос темные, это странно, такая небрежность на обложке. Видно, что волосы крашенные. Фотограф, вероятно, хотел симулировать непринужденность — вот она, очаровательная, милая, домашняя, в каком-то то ли халатике, то ли маечке на «молнии», только что пылесосила ковер или гладила мужу рубашку, присела на секунду — и щелк. Слева надпись желтым: «Она приняла наших репортеров». Чуть ниже белыми буквами: «Я ни в чем не уверена, но смело иду вперед. Я эпатирую сама себя». В правом нижнем углу объясняется, что перед нами театральная знаменитость, недавно потерявшая любимого мужа. Почему-то хочется думать, что он был на тридцать лет старше ее. В детали не вникаю. Открываю указанную страницу. Читаю крупный заголовок «Почему и как мы влюбляемся?». Выделены черным с аппетитным черным кружочком три пункта. Читаю:

«1. От предков

Эволюция, генетика, психология и даже запахи способны вызвать любовную реакцию по отношению к другой персоне. Ученые недавно открыли, что животные могут иметь врожденный эстетический вкус и испытывать влечение».

— Мужчины слишком физиологичны, — голос Наташи, — они любят пицу, женщин, они нечистоплотны, мнительны и эмоционально упрощены.

— Как это «упрощены»? — Мой вопрос.

— Ровно пять эмоций. Сам подсчитай, Питер, я, как видишь, уже под считала.

Мы тогда отработывали очередную тему «Мужчины и женщины». Наташа сама предложила на каждом занятии обсуждать какую-нибудь тему, как она выразилась, «топик» для развития, опять же по ее словам, «навыков устной речи».

— Если для мужчины важна суть переживаемой им эмоции, для женщины важны оттенки, нюансы, антураж. Для женщины важно, не что происходит, а как...

В какой-то момент я перестал слушать и принялся наблюдать за тем, как она говорит. Чересчур схематично. Только то, что видит равнодушный наблюдатель.

Я продолжил чтение.

«2. Влечение, — крупно черным. — Мозг возбужден фенилэтиламином и, возможно, такими нейрохимическими веществами, как допамин и норадреналин, — все это естественные вещества. Они вызывают чувства эйфории и возбуждения. Данная стадия амфет может продлиться год-два, а потом исчезает».

— Женщина — раб обстановки. Женщины сложнее, мужчины эффективнее. Признаться, не люблю ни тех, ни других.

— Как это?

Мой вопрос. Дурацкий, нелепый, инфантильный.

— А кого же ты любишь?

Еще более нелепое продолжение:

— *Твоих рыб, Питер, ведь они молчат и прекрасны, как боги.*

Чуть пошловато и безвкусно.

Я пробежал третий заголовок: «Исследуем под микроскопом».

«И нужно не забывать, что эволюционная корневая система, «отпечатки» в мозгу, биологическая секреция — такова история любви». Так что о'кей.

— Это очень интересная статья.— Я протянул статью соседу и поблагодарил его.

— И что вы думаете об этом? Ведь вы же, если я правильно понимаю, почти что биолог?

— Мы это не проходили,— улыбнулся я,— во всяком случае, с теоретической точки зрения. А с точки зрения практической все выглядит несколько иначе.

— Более романтично и притягательно? По крайней мере заманчивее.— Сосед вздохнул.— Знаете, чем дольше я живу, тем больше жалею, что мы не можем разглядеть того, что делается у нас внутри. В прямом смысле. Мы были бы от этого настолько мудрее и могли бы избежать стольких бед! А так — слепы, совершенно слепы. Нас все время подкарауливает неожиданность, которая...

Я перестал его слушать. Время от времени я кивал, поглядывая в ослепший иллюминатор, показывающий теперь стертые контуры моего лица, ноги соседа, плечо Мишель.

11

— А откуда они знают?

— Кто?

«Кто» — сухое, воспаленное, словно лопнувший соленый пузырь.

— Ну эти, написавшие о дрозофилах.

— О каких таких дрозофилах?

Старик не понимал, чего я не понимаю. Я не понимал, о чем меня спрашивает старик.

— Вот они говорят, что при влюбленности выделяется в кровь возбуждающее вещество, а через три года какое-то успокаивающее. Откуда они знают? Что же они там, в этой Америке, дали объявление в «Вашингтон пост», мол, просьба всех влюбленных обратиться в клинику доктора Манфреда для научных разысканий и все такое прочее? А как, например, проверить, вам не солгали ради пускай даже и скромного вознаграждения, указанного в заметке? Вы бы как различили такое?

— Не знаю.

Я пожал плечами и почувствовал сильную пульсацию в горле. Ощущение показало мне необычным, и я еще раз пожал плечами, чтобы его «распробовать». Старик воспринял это однозначно, как желание продолжить разговор.

— У меня не было ни эйфории, ни апатии. Они просто придумывают сенсацию. То они боролись с материализмом, теперь они находят молекулы любви, молекулы страха и даже молекулы глупости. Русская одна обнаружила... Я вот что вам скажу: не нужны ни университеты, ни лаборатории, слова — вот что есть молекулы глупости, сло-ва. Я, знаете ли, прошел войну и знаю цену нормальной жизни, а вот вы не знаете.

Я со скрипом повернул голову и посмотрел на соседа. Лицо его сделалось красным, а крылья носа и губы почти что черными.

— Успокойтесь,— как можно убедительнее, хотя и шепотом, произнес я.

— Мы умирали в окопах за то, что вы теперь называете мешанством. Да, мы носили на груди фотографии всяких Кэти и Бетти, но женились мы на других, и другие выходили за нас, потому что идея великой любви и всякая эйфо-

рия нужны только как допинг для безумца, закладывающего свою голову на эшафот маньякам-политикам. Это забавы самоубийц, а мы погибали за жизнь.

Он продолжал говорить о ранениях и доброте как о первейшем женском признаке: «Доброта, а потом уж внешность, потому что в старости никакой уж внешности, а одна только доброта», — он говорил еще долго, пока наконец не заметил человека в проходе. Я глядел на него уже добрых десять минут, то покидая слова соседа в пользу растерзанного красавца, то возвращаясь к ним, как к чему-то привычному и успокаивающему.

— Я прошу вас выпить со мной, потому что я ненавижу летать! — провонил молодой человек и отчаянно дернул себя за шелковый в крупный горошек галстук, измазанный и мятый. — Хотите верьте, хотите не верьте, но я человек серьезный, и завтра, увидев меня на первой полосе газет, вы не узнаете меня, я пришел к вам из первого салона, я лечу на первом месте и пришел к вам, чтобы вы совсем немного выпили со мной, потому что я не выношу перелета...

Он, почти заваливаясь вперед, сделал несколько гигантских шагов и оказался рядом с Мальвиной, застывшей в позе Мёбиуса.

— Выпей со мной, женщина, и я расцелую тебя на прощание, вот моя визитная карточка и одна, и вторая, и третья. Если ты по ошибке огреешь мужа насмерть, я оправдаю тебя во всех судах вселенной и объясню, что есть густая женская обида, которая закипает один раз и не дает осечки.

Карточки вихрем закружились в воздухе и осыпали проход вместе с Мальвиной, несколько упало в книжку, одна, как погончик, опустилась на ее правое плечо, и одна застряла в пышности неподдельного перманента. Мальвина не шелохнулась. «Интересно, а места на странице, которые закрыла карточка, она читает по периметру или как?» — невольно задался я вопросом.

— Она отказала мне! — с искренним расстройством обратился буянящий к присутствующим, аккуратно вытаскивая карточку из Мальвининых волос. — А знаете ли вы, кто со мной пил?

Фамилии, которые он с трудом перечислял, действительно впечатляли, и нос с горбинкой заерзал, пытаясь установить имя ораторствующего.

— Большой человек, — констатировал он после паузы.

Справа согласились.

— Давай сюда, — послышалось со стороны левого кресла, — заказывай вискарь и смирновку, пить так пить, раз угощаешь, так чего же...

Через секунду молодой человек уже сидел на подлокотнике переднего кресла и заказывал стюардессе, отчаявшейся его утихомирить, все, чего было угодно душе его лояльных соотечественников.

— Вот вам сто, и сдачи, пожалуйста, не надо, — нарочито вежливо, хотя и заплетающимся языком, проговорил молодой разгильдяй.

— Ублюдок. — Женский голос сзади.

— А что вы хотели? — Многозначительная реплика сзади же.

Мишель заволновалась. Похоже, она хочет пересесть, но в ее ситуации это совсем непросто. Советуется с соседкой, сидит напряженная, обхватив руками живот.

— Какие проблемы, мужики? — загорланил адвокат, разливая смирновку.

Все внезапно замолчали. Мальвина смахнула карточку с плеча и осторожно опустила руку. Старик закрыл глаза, нарочито приоткрыл рот и задышал, симулируя глубокий сон. Сзади не доносилось ни звука: под такой аккомпанемент невозможно было развивать прежнюю партию. Шуршание газеты и хруст яблока. Мишель развернулась почти спиной к проходу. Я переместил правую руку с подлокотника на колено и принялся разглядывать ее.

Признаться, я всегда очень любил этот маршрут...

Я всегда очень любил этот маршрут. Выходишь из квартиры во всегда свежий, опрятный коридор, бодро шагаешь к лифту, камень падаешь вниз — рассказывали, что у этих лифтов бесшумные американские моторы, сделанные специально на заказ, — около первого этажа лифт притормаживает, шипит и пыжит, и нужно глотнуть, чтобы прочистить заложенные от ско-

рости уши, непременно приветствие консьержки — «Здравствуйте», полное чувства собственного достоинства и сдержанной расторопности, Ларочки, дочка Маргариты Сергеевны, которая здесь без малого сорок лет. Она-то совсем по-другому: «Здравствуй, Петюшенька, мама сегодня как?» — почти по-родственному еще со времен университета, белых синтетических рубашек и лакированных башмаков. И третий вариант заискивающе-панибратское «Драсьте» Дусечки, так ее все называют, говорят, очень груба с посетителями, и также говорят о ней, когда визитеры выказывают особую ранимость, что злая собака хорошо стережет. Ларочка — аккуратненькая, собранная девочка, учится на вечернем, днями в лифтерке читает без просыпу, Маргоша вяжет как заведенная, Дусечка — жрет, а что еще можно сказать при ее габаритах, вечно зажатой за щечкой котлетине и неизменно жирных губах?

— А вы, — завизжал адвокат и почему-то показал на меня красным и кривым пальцем, — если хотите знать, то швейцарский банк, как румынский офицер, денег не берет, то есть совершенно наоборот, опираясь на безупречные аморальные принципы.

— Я? — изумился я.

— Именно, — подтвердил адвокат, — лучше выпей с нами.

Старик не шелохнулся. Я почувствовал страх. Мишель повернула голову и скользнула по мне водянистым взглядом. Я не осмеливался поднять глаза и, как виноватый школьник, пробубнил:

— Я не могу, я болен. — И для большей уверенности указал пальцем на замотанное горло.

Осознав, что не замечен, я поднял глаза: крупно вьющиеся потные черные волосы, высокий мокрый лоб, рассеченный вдоль глубокой морщиной, густые брови, голубые глаза с длинными ресницами, орлиный фиолетовый нос, розовые, как у купидончика, щеки, чрезмерно полные губы.

— Я должен вам сказать, я не ожидал этого!

Говорил он один, бесконечно перебивая себя и фонтанируя гостями. Терпение старика лопнуло. Он открыл глаза, уныло опустил голову и принялся рисовать сухим указательным пальцем какие-то круги на подлокотнике.

— И почему мы должны это терпеть?

Я пожал плечами.

— Скажите, почему мы должны это терпеть, давайте вместе позовем стюардессу, — предложил он Мишель через проход.

Застекленный холл. Зеркала, которые помнят меня стройным и легким, стремительным и веселым, в отцовском слишком широком костюме и теперешним, круглоголовым, крупным, загорелым и замерзающим, зеркала, которые помнят приходы и уходы, приезды и отъезды, проскальзываешь, мимоходом отмечая: «хорошо», «плохо», «коротко», «длинно», «поправился», «постарел». А потом после привычного единоборства с тяжелыми входными дверьми — направо вниз — к «Баррикадной» с обязательными пробками в час пик, к зоопарку и эскимо, к деткам и шарикам по субботам и воскресеньям или в соседний, за углом, вход, в огромный магазин с вышколенными полногрудыми продавщицами в кокошниках — икра и прозрачные листья семги, майонез и бородинский, сыр российский и плавленый, пустота и мухи, очереди к застекленной кассирше, мама знает всех их по именам, но маршрут совершенно иной.

— Я готов немедленно покинуть вас. — Оценивающий взгляд на Мишель, в сторону старика — ни полоборота (молодец, складно и без акцента). — Но сами понимаете, не могу. — Он расставил руки в стороны, пытаясь имитировать полет, он чуть было не рухнул в проход и был по-родственному водружен на прежнее место владельцем носа с горбинкой. — За ваше многосложное здоровье, мадам. — Он поднял прихваченную со столика чью-то рюмку и выразительно подмигнул.

— Нужно протестовать, я лично больше выносить этого не могу, — прошептал мне старик, откинулся на спинку, закрыл глаза и бережно прикрыл руку с перстеньком другой плоской и сухой рукой.

Через сквер, вечно перенаселенный забулдыгами всех пород и мастей, всех возрастов, полов и религий, всех увечий: одноногих, рябых, распухших, изможденных, с расквашенными носами; лысые женщины, подростки, похваляющиеся самодельными ножами и кастетами, «гастролеры», демонстрирующие наколки, старики, скрючившиеся в собственных лужах, через них, наискосок, к остановке, можно на «Б» или на «10», можно пешком, чуть-чуть, если есть время, чтобы размяться, мимо американского посольства, железобетонных милицейских физиономий и впоследствии металлических загончиков для желающих, мимо глобуса слева — конечно же, символа новой Москвы, обаятельно вращающегося и источающего голубое сияние по вечерам, вперед к Парку культуры, оставив позади солидные широкоплечие изваяния, отрешающие отдельные элементы своего бетонного размаха на людские головы-судьбы, рано или поздно неизбежно вскакиваешь в троллейбус обычно еще до цветочной лавки, крошечной, с одной витринкой, у которой всегда назначались встречи, справа телефонные автоматы, подземная толкучка, называемая «туалет», а потом через мост, мимо отливающего музыкой роскошного классического портала парка. Затем не стало ни цветочного, ни будок, ни «туалета», перед «Октябрьской» справа и слева — какая-то сумятица, слева сначала заборы и кавардак, а потом ЦДХ и парк с изваяниями периода социалистического Нерона и его последышей, но нужно направо по великолепию Ленинского проспекта к каменным объятиям перед площадью Гагарина до потрясавшего умы начала семидесятых магазинища, чтобы перейти, потом прямо, налево, налево и прямо. Вертушка, доска объявлений, около вертушки — вахтерши, уж до чего солидарны они с уборщицами во всей полноте своего «отношения» к нам, по лестнице вверх через зеленый коридор к непонятно-лиловому столу за книжным шкафом — лаборатория, коллеги, окно, за которыми и клен, и дуб, и ясень, и жарво, и просвет...

— Будьте любезны, — сосед с лицом отличника выговаривает неудобные для его речевого и жевательного аппарата слова, — видите ли, — к стюардессе, — но нашему гостю нехорошо, мы обеспокоены...

Почувствовав, что тот совершенно безопасен — не только сер лицом, но и на грани срабатывания vomитативного рефлекса, — старик даже привстал, демонстрируя готовность помочь двум не последнего десятка стюардам, принимавшим великую личность на белые руки и превыпроваживающим его в хвостовой отсек самолета.

За три остановки до универмага-гиганта, теперь выглядящего по-стариковски невзрачно, — Наташин дом. Я множество раз про себя загибал пальцы, считал, что теперь носило на себе только мне одному понятные отметины, шрамы, и выходило, что все наилюбимейшее: кабинет, закат за окном, итальянский язык, самые чудесные рыбы, о которых я понарассказал ей с три короба, и этот мой любимый маршрут. Перечислил еще раз. Ерунда, лутно подумал я, а вот то, что сильно тошнит, — куда хуже. И кто теперь выглядывает из ее окон?

Тихонько, тихонько, баюкал я себя, не шелохнуться и дышать поглубже, чтобы не растревожить зарождающейся внутри бури, закрывать глаза не надо — слишком сосредоточишься, рассматривай что-нибудь, подсказал я себе и уткнулся взглядом в спинку опостылевшего переднего кресла: внизу карман с журналом, столик, пупырчатая обивка. Тошнотворно, мелькнуло у меня в голове, и я, не проговорив старику слов вежливости, перешагнул через его маленькие колени и побрел в хвостовой отсек самолета. Там, как и следовало ожидать, все было занято.

— И вот она ходит к нему каждый день, к психиатру, к Гиру. — Мужской голос сзади, окрепший, пополневший, румяный.

— Такой красавчик, плейбой, да? — Оживленный женский.

— Ну да, только посолднейший, поседевший, он как раз играл в фильме, сказочка для бедных, мелодрамочка для милых дамочек, он шикарный богач,

живет в отеле, подбирает на улице проститутку, влюбляется по уши — и хеппи-энд.

— Не видела.

— Сначала был Америка, а потом и европейские заокеанические окрестности с ума сходили.

— Такой смазливый, который играет настоящих мужчин с душой?

— С душком. Шучу. Это он, вы правы. Может, выпьем чего-нибудь?

— Нет.

Спереди — храп. Старик отсиживается за газетой. Потом мне, будто желая оправдаться:

— Наше европейское общество устроено так, что мы можем ничего не бояться. Вы слышали об этом?

— Правда? — Ироническая нотка в моем на секунду восстановившемся голосе.

— Вот посудите сами.

— ... и героиня, на самом деле вторая по значимости, ходит к Гиру каждый день, рассказывает ему разное, все как-то сводит к самоубийству, потом будто проговаривается, что ее изнасиловал отец, потом также ненароком о пистолете, Гир пугается, и тут она предлагает ему встретиться с ее сестрой, он совершенно не понимает, в чем тут дело.

— Ну давайте, пожалуй, выпьем...

— Что предпочитаете?

— Можно немного шампанского.

— Шампанского? Великолепно! Девушка, будьте добры! За знакомство — конечно же, шампанского!

— Смотря какое у них есть.

— Так вот он чувствует, что здесь что-то не так, а пациентка ему все время рассказывает о своем навязчивом сне, какой-то там постоянно фигурирует букет, и среди цветов обязательно фиалки, которые она каждый раз называет violence.

— Слушаю вас. — Стюардесса.

— Девушка, нам, пожалуйста, шампанского.

— Какого желаете, у нас есть...

— Лучшего, разумеется... А потом эта сестра сама приходит к нему, оказывается раскрасавицей, у них любовь, а он параллельно какими-то судебными делами занимается или чем-то в этом роде.

— Гир?

— Гир. Она, то есть сестра, жалуется Гиру на мужа, монстр, мафиози, там его показывают несколько раз, сыграно конкретно, ничего не скажешь, а сестра — знаменитая актриса, ну как ее, как ее?

— Ким Бессинджер?

— ...Ну так и что, что вы думаете об этом? — Сосед, кажется, от нетерпения почти что тряса меня за рукав.

Резкое улучшение возбудило во мне такую жизненную энергию, что я с размаху рубанул, уже через десять минут страшно раскаиваясь в содеянном.

— Да что вы в самом деле? — Я говорил зло, иронично, напористо. — Да у вас страх — основная движущая сила вашего, с позволения сказать, общественного прогресса. Боитесь умереть — страховочка, заболеть — страховочка, ограбления — пластиковая карточка в зубы, нет, чтобы делать общие отчисления, обыкновенные налоги, так нет, все до малейших деталей оговорено, этот вот процентик — на случай внезапной перевозки вашего трупа с одного континента на другой, и парадные — на запоре, и домофон, и консержка начеку, досье на всех жильцов составляет, плати только за все по отдельности и ничего в отдельности бояться не будешь. Не так разве?

Старик обиделся. Но потом на удивление быстро справился с собой.

— Давайте спокойно разберемся во всем по порядку.

Я содрогнулся.

— Начнем со страховой медицины. К примеру, вы...

— За знакомство в небесах.

— С удовольствием.

Пауза.

— Я?

— Ну не вы, я. Вот у меня случится аппендицит, кто за это должен платить? Давайте рассмотрим все поэтапно. Кстати, и пенсии. Сейчас в нашей стране поколение среднего возраста очень обеспокоено: их деньги пошли на наши пенсии, а нынешние молодые не хотят, знаете ли, работать. Так кто же будет платить пенсии через пятнадцать—двадцать лет? Я читал об этом.

— ...И что же Гир?

— Он защитил ее в суде, после того как она убила мужа. Доказал, что она, сестра то есть, страдала патологическим опьянением, и поскольку перед убийством выпила микстуру от кашля, то была невменяема.

— Я что-то читала об этом фильме. Она в конце, кажется, убила его ножом для колки льда.

— Нет, нет, это в другом, а здесь он случайно узнал, что все это было сфабриковано с агентурой, поскольку сон, который она ему рассказывала с фиалкой, был в точности описан Фрейдом, и тогда...

— ...особенно, если вы миллионер или миллиардер. Тем более вы должны платить за тех, у кого нету денег, чтобы они тоже могли быть уверенными, даже если деньги не очень честные, они все равно работают на благо.

— Ну и что бы ты делала со своим миллионом, Наташа?

Неожиданный поворот темы, выраж, которого я боялся больше всего и в который так часто соскальзывал помимо своей воли.

— Топик?

— Ну, положим.

Она повернула голову и весело посмотрела на меня. Хвостик с черной бархатной перевязью, черная майка, широкая, утепленная, с эмблемой «макинтоша», я тогда отметил, что эта перевязь никак не сочетается со спортивной майкой. Черные джинсы и мужские грубые башмачищи на толстой рифленой подметке.

— Лично я (смешок) на сегодня готовила про родителей, но если ты так настаиваешь...

— Ты так грустно сказала, что, будь у тебя миллион, ты бы тогда... И мне ужасно захотелось узнать, что было бы тогда.

— Ах, Питер, ох, Питер,— картинно жеманится,— я бы жила на берегу океана, в котором водились бы рыбы почище твоих, сидела бы у камина в кресле-качалке, пила бы грог и гладила бы старую вонючую псину.

— Ты?

— Я.

— И стала бы такой толстой-претолстой от грога-то.— Попытка улыбнуться.

— Почему же? Богатые худее бедных, если не страдают ожирением и примитивными взглядами на жизнь.

— Ошибка. Стилистическая. Взглядами не страдают.

— Уверен?

— Честно говоря, не очень. Откуда такие старческие мечтания? Нет, чтобы путешествовать, виллы, лимузины, картинная галерея на худой конец.

— А с чего ты взял, что его у меня нет?

— Кого?

— Ошибка. Смысловая. Чего. Миллиона.

— Ты же сама пожалела, что его нет...

— Я имела в виду отнюдь не деньги. А миллион я получила уже давно, будучи в самом расцвете сил,— в наследство.

— Разве твои родители умерли? — Я спросил вполне серьезно и тут же пожалел об этом. — Ты же говорила, что...

— Живы. Умер мой американский дядюшка и, умирая, завещал все мне.

— Вместе с мечтой о клетчатом пледе у камина?

— Нет, мечта из книжки. Книжка так и называется «Миллионеры и их мечты».

— Брось шутить.

— Я не шучу. А ты не любишь шуток, Питер?

— Ладно, давай про родителей.

С видом отличницы достает из тетради сложенный вчетверо большой лист бумаги. Выговаривает старательно:

— Мой отец — дипломат, известный и благородный. Он изъездил много стран, как известный капитан, помнишь песенку? Он настоящий, неподдельный дипломат, у его башимаков — лакированные носы, а в шкафу тожится множество белых рубашек. Он все время читает газеты, очень хорошо воспитан и никогда не говорит «да» и «нет», как в детской игре, помнишь такую, Питер? Говорят, что я похожа на него.

— А мать?

— Слишком спешишь, Питер.

— Прости.

— С матерью вышла проблема. Она позор нашей семьи, Питер, несмысленный позор. Была когда-то красивая, интересная, породистая женщина, вышла за отца и взлетала со ступени на ступень, как фея, но внезапно, и это подтверждают все друзья нашего дома, папенька охладил к ней, и она завила, теперь это уже опустившаяся полоумная старуха, изменившаяся до неузнаваемости. Отец уже несколько лет, как держит ее взаперти, говорит знакомым, что его жена очень больна и не встает с постели. Он выводит ее только иногда по вечерам, с десяти до одиннадцати, но вы сами понимаете, Питер Иванович, что он никогда с ней не разведется, и мне еще очень долго придется терпеть побои безумной матери.

— Ты же живешь одна! И вот-вот уедешь в Италию! Какие побои?! Грустная история, — добавил я, помолчав.

— Есть и другая, — бодро проговорила Наташа, — она, прямо скажем, куда светлее. Я, видишь ли, очень поздний и любимый ребенок. Мои родители — обыкновенные люди, инженеры оба, мама сама мне шьет, тихие, заботливые, скромный быт, телевизор и бесконечная родня. Так лучше?

— А почему тогда поздний? — искренне удивился я.

— А потому (пауза), что в предыдущей истории я была ранним ребенком — для разнообразия.

Световое табло замигало. Просьба пристегнуть привязные ремни. Нежный голос из динамика: «Через сорок минут наш самолет приземлится в столице...

— А ты, Питер, хотел бы иметь миллион и сероглазую девочку на коленях?

— Что ты такое говоришь?! Зачем?!

— ...просьба пристегнуть привязные ремни, не вставать со своих мест и не курить до окончания полета. Спасибо».

— Мы тогда украдкой читали Мопассана. «Милый друг», вы читали? — Женский голос сзади.

— А как же?! Старшее поколение считало это непристойной откровенностью, книгу прятали от детей, а там даже и эротика-то нет, не то что порнографии. Кстати, в чем видите отличие? — Вкрадчивый мужской.

Пауза.

— Ну, эротика. — Медленное, неуверенное начало. — Это когда все показывается красиво и без подробностей.

— Вы не любите подробностей?

— Смотря каких... — Интонации интригующие и заговорщические.

— Вы убедили меня! — резко оборвал я старика и, не выдержав, оглянулся назад.

Я посмотрел на часы: половина десятого.

— Папа, ну скажи, папа, когда же мы приедем?! — Мальчишка проснулся и уже минут десять теребил за руку отца.

Десятое по счету «скоро». Раздраженное и закипающее.

— Через двадцать минут или тридцать.

«Р» картовое. Мишель вытирает пот со лба кружевным носовым платком с крупной розой посередине.

— Через тридцать. Я расскажу твоей маме, как плохо ты себя вел. И больше ни за что не возьму тебя.

— Я сам расскажу, как ты оставил меня одного, а сам ушел. И тете Жене тоже. Она накажет тебя. Расскажу.

«Р» картовое. Правая рука с черными завивающимися волосками переместилась с подлокотника на колено. Примиряюще:

— Я понимаю, что ты устал. Через час ты будешь дома и отдохнешь. Потерпи, ты же мужик.

Побоялся угрозы. Клетчатая рубашка, потертые дешевые джинсы, кроссовки. Над креслом — истертый походный рюкзак. Технар, не заметивший, как быстро переменилась жизнь. Лаборатория, отдел, сектор. Уехали, разбежались, перешли круто, невзирая на размениваемый пятый десяток, поменяли жизнь. Говорят «чудак» или «слабак», не заметил: рисует формулы ручкой, купленной лет пятнадцать назад в журнальном киоске и перехваченной синей изоляционной лентой. Щи и каша. Несуветная оправка и слишком слабые очки. И уж, конечно, не моется, попахивает кисловатым потом и дешевым куревом.

— Вы совершенно правы.— Басок сзади.— Только не Леонардо да Винчи, а один из его учеников.

— А мне говорили, сам Леонардо.— Худосочная намазанная блондинка в крошечной кофтулечке с длинющей морщинистой шеей.

Бульканье.

— Да нет, ученик, тут вот и ярлычок есть, хотите проверить?

— Не понимаю по-итальянски.

— А дальше по-английски есть.

Пауза.

И вот он решил с сыном, редко виделся («Ладно, давай в морской бой, последний разок».— Совершенно сдался, неужели так испугался тети Жени?), после развода — работа, да и новая семья первой жены, положим, более благополучная, съездить к давно звавшим его друзьям в Брюссель, уехавшим еще в семидесятые или пускай даже в восьмидесятые, хором повторявшим «Здесь невозможно», в наитишайший университетшко, обуржуазившимся в мгновение ока, уже много лет, как ежедневно заносят неучтенные электронной сетью расходы в аккуратненький Хьюлетт Паккард, а он, видать, и не понял, когда увидел на нежно-голубом дисплее окошечко со своим именем, что подвергся учету: и вода, и электричество, и пицца, и сандвич, и русский завтрак с обедом, вредоносной колбасой и сливочным маслом: «Сами не знаете, чего творите с собой!», а дружок его еще университетский, поблескивая дорогими очками, пытался как-то смягчить раздражение преобразившейся, неузнаваемой, к примеру, Людмилы. «Знаешь,— извинялся он за постоянный комментарий и агрессивные эпитеты,— женщины ведь быстрее привыкают, чем мужчины, меняются».

— Только «мерси» и «бонжур». А разве так уж необходимо женщине разговаривать? (Смешок.) Ведь кто-то из великих, кажется, Цицерон, сказал одной из своих наложниц: «Молчи и будь прекрасной».— Женский голос сзади.

— Сказал, сказал, причем, заметьте, на чистом французском языке и без малейшего акцента.

— Да, древние знали много языков (вздых). Вы не курите?

— Балуюсь.

— А один! — Радостно и победно.

— Ранен.

— А два...

По совету друзей привез шмат сала, водки, черного хлеба и гречки. «Оставим на Рождество, русский стол, русский стол». И, конечно же, со вздохом про огурчики, про «икра стоит бешеных денег», про скупые местные застолья.

Мы молча переглянулись со стариком.

— В 1525 году Бернардино Луини, ученик Леонардо да Винчи, начал писать знаменитую фреску над алтарем храма Санта Мария дель Грация в Саронно.

— Писал фреску, а думал о ликерчике?

Продолжает укреплять знакомство. Перешли на ликер. Крепость повышается, но не сдается.

Щелкнула зажигалка.

— Ну и...

— Он выбрал в качестве модели, чтобы написать мадонну, молодую вдову, которая жила при храме. Вдовица была очень польщена и в благодарность угостила Бернардино ликером, который сама приготовила из фруктов, что росли у нее в саду. Так и появился знаменитый ликер «Амаретто ди Саронно». — Преподавательские нотки, венчающие финал истории.

— Значит, вдовушкин рецепт?

— Простите, вы не могли бы не курить, ведь мы снижаемся. — Я попросил ее очень любезно, даже мягко, приоткрыв губы в вальяжной улыбке, я как бы подсказывал ей, что нужно сделать, а не просил.

— О чем вы? — резко переспросила она. — Что вам нужно? Я не понимаю! Я не стал повторять просьбу.

— У вас очень красивые часы, — наконец сказал мой сосед.

Я видел, что он то и дело поглядывал на них.

— Верно, — согласился я.

Я развернул руку и замер: секундная стрелка стояла. Часы показывали половину десятого.

15

Господи, еще и эта госпожа Пишон! Но почему именно теперь, зачем именно теперь? В отделе на письменном столе записка: «Петр Иванович! Вас добивается некая госпожа Пишон, Элен Пишон. По ее словам, из «Пари-матч». Хочет интервью о вашей последней «японской экспедиции»... и т. д. Я знал, что Элен ищет со мной встречи — старинная знакомая, подруга из эпохи шестидесятых, прошедшая все стадии увлечения и увлеченности тем, что здесь: интеллектуалами и алкашами, чиновниками и доносчиками, влюбилась в вологодского поэтишку, зачитывавшегося Плинием, цитировавшего латынь с оканьем и путавшего все на свете ударения, умыла и вывезла, содержала и упрекала, поколачивал ее, поддразнивал в теплые минуты «пустышечкой», но уплетал за обе щеки все, что накладывали, так и не выучил ни словечка из их «тарабарщины», приезжал туристом в дорогой коже и кашине, детей родила, развелись, любила сюда приезжать, восторгалась, осуждала, последнее время опасаясь дружеских просьб и неумеренных визитов, обожала мамини голубцы, наконец вынесла окончательный вердикт: «Русские умеют только писать стихи — и больше ничего», не забывая с неумолимой четкостью каждую, пускай даже копеечную, трату запротоколировать и потом списать с налога, поместив ее в графу «деловая встреча» или «расходы, связанные с профессиональными интересами». О том, что она здесь и ищет со мной встречи, мне рассказала мама, она дозвонилась ей на дачу, радостно сообщила, что привезла ее любимого вербенового чаю, спросила, не ожидает ли она меня, мама опять упрекнула меня, что не еду к ней, тоскливо по вечерам, телевизор осточертел, ягоды, Лелька уже дважды приезжала к ней, а я так редко вижу дочь, подышал бы, чего в городе сидеть — душно, я обещал, понимающая, что не приеду.

— Ну вот, дорогуша, наконец-то до тебя добралась. — Мягкий голосок Элен в трубке на следующий день после записки во вторник. — Запропастил-

ся.— С этим словом справилась с трудом.— Нам надо повидаться, теперь у меня к тебе не только любовь, но и дела, сегодня увидимся, о. к.? Нормалек?

— Батюшки, какие слова! Где набралась таких изысков?

— Каждый день читаю русские газеты, очень быстро двигается язык. Плохое слово?

— Так говорят только мужчины. Подростки и работяги. И чаще всего под рюмочку. Выпиваешь с утра?

Смеется. Я просчитываю время. Половина одиннадцатого. Если куда-то ехать, значит, можно встретиться в половине первого. В пять урок с Наташей. Неужели Наташа так ничего и не скажет? Если ее это ничуть не тронуло, то она была бы раздражена, ведь не каждый же день она так, в коридоре с женщиной, который по меньшей мере вдвое старше ее. Но ведь для чего-то она пошла на это, в общем, сама, сама все так развернула, хоть что-то она должна сказать, хоть полслова! Урок с Наташей в пять. Может быть, она ждет чего-то от меня? Намека? Проявления чувств! Может быть, после того, что было, она считает, что я должен каким-то образом дать ей понять...

— Я могу зайти к тебе сегодня в три, идет?

— В три не могу, Элен, может быть, завтра?

— Завтра мы едем к твоей маме на дачу, она говорит, что ты занят работой, но, может быть, поедешь с нами, и там?

— Кто это мы, Элен? Нет, завтра я не могу.

— Приеду в пятницу, в субботу еду домой. В пятницу, часов в семь, хорошо? Только я не хочу, чтобы нам мешали, мне для работы с тобой нужен всего час времени для интервью, знаешь, как будет называться?

По пятницам в пять мы тоже обычно встречались с Наташей, значит, только сегодня в одиннадцать тридцать — двенадцать.

— Как?

— Петр Великий — капитан Немо двадцатого века. Пойдет?

— Это я Петр Великий? Ты можешь быть у меня к половине двенадцатого?

— В двенадцать у меня встреча. А совсем вечером?

Я боялся занимать вечер после урока. А что, если мы наконец разговоримся, Наташа задержится, неужели я скажу ей: «Знаешь, сейчас придет Элен Пишон»?!

— Послушай,— я почти умолял ее,— мы не виделись с тобой сто лет, неужели ты не можешь выкроить для меня часок, давай не в половине двенадцатого, давай в час. В половине второго на крайний случай.

Я боялся, что она засидится. С половины второго до пяти — три с половиной часа. Уложимся.

— Я попробую к половине третьего.

Конечно же, опоздала. Ввалилась взъерошенная, в майке и цветастых шортах в начале четвертого, сильно располневшая, неуклюжая, в руках — бесконечные пакеты с сувенирами, я моментально уступил ее отработанному «вытьем», глотнули теплой водки, она совершенно не замечала, что я нервничаю, что я смотрю постоянно на часы, на мое «у меня неожиданное срочное дело около пяти, у нас всего час, поэтому давай сделаем интервью, я дам тебе несколько последних статей, допишешь сама, а вечером встретимся, поболтаем» не отреагировала никак, уселась в кабинете в кресло нога на ногу, скинула пыльные босоножки, все время яростно расчесывала серую щиколотку...

— Как мама — лучше, расскажи мне...

— Встречаешься с прежней семьей?..

— У Лели уже есть друг? И где она будет учиться дальше?

— Ну как тебе ваша теперешняя жизнь, когда все воруют? У нас тоже все воруют...

— Когда думаешь приехать к нам? Знаешь, я купила дом на мельнице, глушь почти российская, в спальне ласточки гнездо свили, приезжай, будем крышу ремонтировать, приедешь?

15.45.

— Давай начнем, Элен, а вечером наболтаемся.— Дружеское похлопывание по плечу.

15.50.

— Я думаю, такой подзаголовок: «Технология исследования морского дна столь же фантастична, как и космическая технология». Хорошо?

— Хорошо.

15.55.

— Вы — крупный исследователь морских пучин. Ваши работы вызывают необыкновенный интерес.— Голос чужой, искусственно доброжелательный, вышколенный.— Морское дно — это новая «terra incognita». Создается впечатление, что Луну мы знаем лучше, чем морские глубины. Почему мы так мало знаем о них?

16.05.

— Луну легко увидеть. (Почему я должен мудрствовать? Потом Элен все равно для своего вечножелтого журнала сделает пошлятину.) Луна всегда вдохновляла не только поэтов, но и ученых. (Тошнотворно.) Всегда существовал великий соблазн поближе разглядеть ее. Плюс ко всему она и вправду очень красива, зрелищна, фотогенична наконец. Океанические глубины показать намного сложнее. На глубине более двухсот метров царит непроходимый мрак. Не слишком длинно, Элен?

Элен показала мне жестом, чтобы я продолжал. Она была в восторге.

— Мы открываем иногда просто невообразимые вещи...

16.15.

— Например, мы недавно обнаружили, что посередине океанического дна проходит огромная трещина. Длина этой трещины — шестьдесят тысяч километров.

— Была ли когда-нибудь в океанологии предпринята акция, аналогичная акции «Союз-Аполлон»?

16.25. Катастрофа!!!

— Да, с появлением «Архимеда» это стало возможным. Этот батискаф погружался на одиннадцать тысяч метров.

— Почему больше ничего не слышно об «Архимеде»?

16.35.

— Погружения стоят очень дорого и не могут проводиться слишком часто. Послушай, Элен, я должен идти.

Элен с изумлением посмотрела на меня.

— Вечером все доделаем, я обещаю.

Она напонила мне об обещанных статьях. Я отговорился: сейчас уже не было времени их искать. Через секунду я стоял в передней с портфелем в руках и раздраженно наблюдал, как она сражается с бесконечной шнуровкой на сандалиях и собирает по полу пакеты с сувенирами. В лифте мы молчали, я видел, что она обижена на меня, но ничего не сказал, был парализован страхом, боялся, что сейчас в подъезде столкнемся с Наташей и мне придется нелепо возвращаться.

Вышли. Наспех попрощался. Свернул за угол и наблюдал, как она идет через сквер к остановке. Вдруг оглянется и увидит, как я возвращаюсь в подъезд?

Через час Наташа бегло дочитывала страницу из Альберто Моравиа. Я не слушал, знал, что читает правильно и ошибок не делает никаких. Изучал пристально, болезненно, стараясь разгадать, откуда она пришла ко мне: голубая рубашка, мужская, из тонкой джинсовой материи, голубые обтягивающие джинсы, кожаный пояс с большой кованой пряжкой, кожаная заколка, выскокие кожаные сапоги.

— Спасибо, все в порядке. И не жарко тебе?

На стуле висела кожаная куртка с идущей наискосок длинной «молнией».

— *Вечером собираюсь часок покататься.*

— *На мотоцикле?*

Улыбка.

И вправду странное предположение.

— *Почти. На Агамемноне.*

— *Что это такое?*

— *Конь. Каурый такой. Мой друг. Переводить?*

— *Да, вот здесь и вот здесь.*

— *«Он работал в траптории уже третий день, народу было мало, но он старательно брilsя каждое утро, вытирал стаканы, сгонял ленивым ударом полотенца мух с клетчатых клеенчатых скатертей на столах. Как он хотел бы, чтобы все это оказалось не более чем дурным сном, как он хотел бы проснуться и увидеть другое небо, другие лица...»*

— *Правильно.*

— *Что правильно?*

— *Правильный перевод.*

Настал черед топика, и я заволновался. Еще утром я решил, что предложу ей рассказать о первой любви.

— *A, first love? — переспросила Наташа.*

— *Почему ты перешла на английский?*

— *Итальянцы это любят. Хорошо. Итак...*

Пауза. Она на секунду задумалась. Я увидел на мизинце левой руки, как мне показалось, новое кольцо, золотое, довольно тонкое, хорошей работы, с темно-синим овальным камнем.

— *Сапфир?*

— *Тебе придется выбрать одну из трех историй моей первой любви, Питер. Первая. С девяти лет я была влюблена в юношу, который жил по соседству на даче. Наши родители дружили, мы играли в песочнице, потом ходили за ягодами, писали друг другу записки, оставляли их под камнем в лесу, в двенадцать лет он погладил меня по волосам,— как ты считаешь, Питер, не рано? — в тринадцать мы впервые поцеловались, в пятнадцать лежали над пропастью во ржи и разглядывали крупные звезды на низком летнем небе.*

— *А дальше?*

— *А дальше — это уже не история первой любви. Вариант второй. Мы познакомились на выставке. Ему было сорок. Холеный талантливый художник с шелковистой бородой и широкими бедрами. Он попросил меня попозировать ему. Я согласилась. Он читал стихи и жег свечи. Его мастерская с гипсовыми головами, торсами, ступнями и кистями завораживала меня; однажды он попросил попозировать ему ню, показывал альбомы, говорил о чарующей красоте женского тела, а потом распрекрасненько и без затей...*

— *Ты опять начинаешь говорить гадости!*

— *Такие уж ли это гадости, а, Питер, ты не любишь эти гадости?*

— *Третий вариант,— раздраженно оборвал я.*

— *Третий вариант уж совсем... Как сказать по-итальянски «чернуха»?*

Мне сделалось очень неприятно. Я не хотел выслушивать омерзительный вариант, который, я не сомневался, она специально приготовила, чтобы разозлить меня. Или просто чтобы пошалить, побаловаться, подразнить, но только зачем? Разве что из любви к забавам.

— *Я скажу — не чернуха, а грустная история, хорошо? Это был отпетый подонок из соседнего подъезда, сынок каких-то торговцев, говорят, подворовывал, однажды в сквере, вроде того, что перед твоим домом, Питер, сорвал с какого-то парня кожаную куртку и потом продал ее кому-то за гроши. Он начал звонить мне, приглашать в кино. Я боялась его, он напивался и приходил, звонил в дверь, колотил в нее ногами, а папа мой так редко бывал дома, мама болела...*

— *И ты никому ничего не сказала...*

— *Что, страшно, Питер, погоди, то ли еще будет, он изрезал мою дверь бритвой, исписал все стены страшной бранью, я боялась входить в подъезд, мне казалось, что он подкараулит меня и убьет, или, что того хуже... понимаешь, что того хуже, несколько раз он встречал меня пьяный со своими друзьями, издевался, угрожал, но не тронул, он душно повел себя с моей подругой и так запугал ее, что та никому не решилась пожаловаться на него, призналась мне несколько лет спустя.*

— *И это история твоей первой любви?*

— *Моей? Нет, его. А ты хотел историю моей первой любви? Я не поняла тебя, извини.*

Самолет страшно качало. Он снижался рывками, падал вниз и потом, словно проштрафившись, взмывал вверх, уши заложило, но было несколько легче, чем при взлете. В салоне царил полнейшая тишина, все сидели смирно, вжавшись в кресла, потом где-то впереди заплакал младенец, теперь небось не утомится до самого приземления, но я ошибся, он внезапно, даже как-то странно, смолк — ни движения, ни шелеста газеты, только Мальвина пыталась накатать в пластмассовую розовую ложечку каких-то капель, не слишком успешно, неужели так распереживалась из-за своей книженции?

16

Мальвина ерзает в кресле, тянет руку и нажимает на кнопку вызова борпроводницы.

Я упорно листаю журнал дальше.

А это еще что такое? Вылитая Клавушка, тетя Клава, Клавдия Ивановна, «Автоклава» — так мы называли ее за глаза, нашу обожаемую школьную сторожиху, одинокую, пришлую, жившую в крошечной подвальной комнатке, хлебавшую суп прямо из алюминиевой выдавшей вида кастрюльки, всегда чистенькая, опрятная, в постоянном синем халате с крупными плашевыми пуговицами и накладными растянутыми карманами, мягко облегающем ее округлую крепенькую фигуру, ладную, всегда «домашнюю» фигуру русской женщины под пятьдесят. И далее: крупные капли пота на крыльях носа и высоком лбу, когда надраивает «уютными» тряпицами подоконники, перила и дверные ручки, шрам прямо посередине, рассказывала, что еще в юности пошла за водой к колодцу, да поскользнулась, нашли через несколько часов окровавленную и без сознания, зашивали потом. Безответная, роняла тихие слезы от наших отроческих шалостей, сморкалась в край платка, отглаженного, с отстиранными мелкими цветочками, наверное, разрешила старую скатерку или занавеску и надела себе косынок. Единственная, кажется, молчаливо не осудила историка нашего, стрелявшего из-за Светки Ивановой, полногрудой, с живыми черными глазами; тогда на собрании педсовет бесновался: «Почему, скажи ты нам, ты сначала выстрелил в учебник истории, а потом себе в живот, это объясни, и без вразумительного ответа...», спасли, ругали под портретами, исключили.

Следующий разворот. Крупно желтым и голубым: «Очарование сибирской реки...»

Текст и десяток цветных фотографий: красное закатное солнце над красного золота рекой и черная полоска леса, мужчина с огромными рыбинами, лодки, шаман колдует у ночного костра. Palace Hotel пять звездочек, 19, Tverskaya Street 125047 Moscow, fax, telephone, слева трое красавцев во фраках на фоне особняка с охраняющими его мраморными львами. Дальше.

Она была в тот вечер необыкновенно красива. Томная. Черный кружевной жилет, белая шелковая блуза, коралловая нить, черная юбка в пол, ортоносые закрытые туфли на каблучке, чуть подкрашенные глаза.

— *Траур или театр?*

Мой легкий ироничный вопрос показался мне вполне удачным.

Рассеянный взгляд, направленный куда-то внутрь.

— *А что это за рыба, Питер?*

— *Один из хирургов. Живет в водах Индийского и Тихого океанов. Видишь, какие у него забавные черные щечки?*

— *Щечки? У него? А почему отселен?*

— *Любит теплую воду.*

— *А ты, Питер, какую любишь воду?*

«Египетский сервиз императора Наполеона». Тарелки. Черные с золотом. Изготовлено во Франции в 1804—1806 гг. В стиле классического ампира. Мраморный юноша. Белый, плотный, широкий. С приклеенной правой рукой, на голове — огромное золотое блюдо.

— *Ты настоящий, Питер, настоящий и удивительный, как твои рыбы. Я благодарна тебе.*

Стюардесса вернулась к Мальвине со стаканом воды.

— *Пап, мы не разобьемся? А нас встречают на машине?*

— *Мне неприятно брать у тебя деньги, Наташа.*

— *А что тебе было бы приятно? Впрочем, как хочешь.*

Крупные серые буквы вполразворота: «Великий мастер». Мельче, черным текст, сходящийся конусом книзу: Шаляпин родился в старинном русском городе, в Казани, на берегу знаменитой русской реки Волги 13 февраля 1873 года в семье служащего Ивана Яковлевича Шаляпина и его жены Евдокии Михайловны Позоровой. Странно сформулировано. Волжские просторы, русские народные песни и легенды оставили глубокий след в его детской душе.

Мальвина обмахивается газетой. А что, интересно, оставило глубокий след в ее детской душе? Угрюмый отчим? Мышь, попавшая под плуг? Одноклассник, съехавший на мотоцикле с обрыва и сломавший себе шею, но зато выигравший пари?

— *Ну что ж, Наташа, давай сегодня попробуем описать кого-нибудь. Расскажи мне о...*

— *Можно я опишу тебя, Питер?*

Чувствую подвох, но расслаблен, соглашаюсь с улыбкой, вполне беспомощной.

— *Ты... ты женился курсе на пятом...*

— *На четвертом...*

— *Ты женился курсе на пятом, успел, многие из твоих друзей женились на втором, окутывались словно некоей тайной, ставили ширмы...*

— *Ширма будет не так, но как, я, признаться, не знаю...*

— *Неважно, в двадцатиметровых комнатах в коммуналке, другие женились на третьем и тут же обзаводились детьми, через год-два расходились...*

— *Тогда не расходились через год-два...*

— *Неважно, ты женился, потому что все женились, женился на той самой тихой, но миленькой Светланке, которая опускала глаза и краснела при твоём появлении, отец твой (пауза) — генерал, призвал тебя тогда и сказал: «Сынок, ты должен помнить, что для мужчины главное — дело...»*

— *Архитектор...*

— *Неважно. «Любовь любовью,— сказал он после тяжелой паузы,— а диплом-то не прозевай».*

— *Глупости.*

— *Усиленно занималась в читалке, делала тебе бутерброды с вареной колбасой, потом в аспирантуре — не проворонить диссертацию,— бутерброды те же, но в одиночестве, растила сына...*

— *Дочь...*

— *Неважно. Защитился. Болела за тебя душой. Стала разговорчивее, экономно тратила деньги, расплнела...*

— *Деньги спускала, как...*

— *Неважно. Твои длительные экспедиции. Скучала. Сына отправила в школу. Устроилась на курсы при жэке... На курсы кройки и шитья, например.*

— *Отнюдь. Она работала и добилась в жизни успеха.*

— *Хорошо (пауза). Это была страстная, яркая женщина, ты отбил ее у факультетского плейбоя, завоевал подвигом и ушел от нее сам к заморской*

принцессе с острова Пасха, на который ваш корабль выбросило бурей, в носу у нее было золотое кольцо, а на шее висело тяжелое ожерелье из бычьего вымени...

— Ты, кажется, хотела сказать что-то иное.

— Возможно. Она включила тебя в свой гарем, и ты стал первым из ее любимых мужей, но, как честный человек, ты был вынужден отправить в Москву телеграмму с просьбой о разводе.

— Не совсем так, но финал ты угадала. Я хотел, чтобы ты не рассказывала истории, а описывала, и необязательно, заметь, меня...

— Ты не похож на отца...

Взгляд прищуренных глаз на фотографию, стоявшую у меня на столе.

— ...ты похож на мать.

— Здесь ты угадала, признаюсь, Наташа.

— Поэтому ты счастливчик. Ты милый стареющий, нет, извини, ты милый зрелый мужчина — как сказать — в самом соку?

— Не знаю. Как Карлсон?

— Не совсем, у тебя обворожительные глаза с длинными ресницами и красивые руки, правда, мне очень нравятся твои руки.

Когда она уходила, я был необычайно оживлен, оживлен и взволнован. Я никогда не мог распробовать вкуса того, что она говорит, но этот вкус явно будоражил меня.

«Мистер Олег Кантор, президент» — розовое лицо, белозубая улыбка, свежая белоснежная рубашка, пиджак в мелкую клетку, золотые часы на запястье со свободным золотым браслетом... страница 53.

В коридоре у зеркала она поправляла волосы и случайно задела коралловую нить на шее. Я наклонился, чтобы поднять рассыпавшиеся кораллы, и, полуиграя, уткнулся носом в ее колено.

— Хочешь?

Прямо, игриво, в упор. И не дождавшись ответа:

— Только прямо здесь. Раздевайся.

Я онемел, распрямился, она обняла меня.

— Ну же...

— Что ты такое говоришь?..

Через секунду она стояла передо мной обнаженная прямо в темном пыльном коридоре...

...Внезапно она передумала.

— Мне это неинтересно.

Почему-то по-итальянски.

Через несколько минут я у закрытой входной двери слушал, как скоростной лифт спускает ее на первый этаж.

17

— Так, что ли, я позвоню вам?

— Или я вам.

Диалог сзади переметнулся внезапно на национальные кухни.

— У них — ни слова в простоте.— Реплика мужчины.

Обмен репликами.

Возврат, как бы невзначай:

— Так созвонимся?

— Обязательно.

Теперь уже дежурный обмен словами. Видимо, решено не возобновлять знакомства.

— Особенно их петух в вине...— Женщина.— Очень тяжелая еда, китайская еда куда легче.

Реплика мужчины о мозге живой обезьяны.

Реплика женщины о спаржевом супе-пюре.

Вареное и жареное. Растительное масло и масло сливочное. Климат и особенности кухни.

«Я наравне со всеми хочу тебе служить.— Из динамика полилась, точнее, посыпалась музыка, заедаемая словами и потрескивая всеми сочленениями.— От ревности сухими губами ворожить».

Звучит скромно, сдержанно, смиренно. Когда-то потрясла всех своим «Арлекино», артистизмом, выразительностью рук, в черном платье походила на свою же влажную тень: «Не утоляет слово мне пересохших уст, мне без тебя...»— Треск, хруст. Но потом тень высохла, налилась плотью, объемом, думали, что в кинофильме с Брыльской поет сама Барбара, тонкая лирическая стилистика, такая сдержанность. «Но я тебя хочу, и сам себя несу я, как жертву палачу...на дикую чужую мне подменили кровь...» — Звук поплыл окончательно, превратив неистовые откровения в пьяную мужскую брань.

— Ты же собирался летом отсидеться со мной на даче, отоспаться, спокойно доделать начатое. Что ты будешь здесь париться? — настаивала мама, заканчивая последние приготовления.— Обещал выкроить хотя бы неделю, а теперь ссылаешься на аспирантов, на какие-то необходимые присутствия.

Мой невразумительный ответ.

— Аспиранты всю жизнь ездили к тебе за город, им это только полезно, и Наташа тоже бы приезжала, не Бог весть какое расстояние — полчаса на электричке. А на машине — и того меньше.

— Я поговорю с ней...

— Решила высушить свою промокшую под дождем собачку в микроволновой печи.— В проем между впереди стоящими креслами выползла обращенная на собеседника ладонь, словно просящая подаяния, а затем и профиль, побагровевший и источающий перегарные струи.— Собачка, ясное дело, издохла.— Язык с трудом перекочевывал через бесконечные неудобоваримые сочетания согласных, подбадриваемый и вдохновляемый внутриутробным «ну», исходящим слева от невидимого собеседника.

А что если действительно поговорить? По вечерам она всегда занята, значит, она могла бы приезжать на дачу часам к двенадцати или к часу, ты занимался бы, потом обедали щами, пахнущими свежим укропом и петрушкой, ели бы мамыны оладушки с ароматной клубникой, сидели бы за круглым столом на застекленной веранде с ситцевыми в круглых лопуховых листьях иторами, той самой веранде, где я провел на раскладушке столько замечательных юношеских ночей, когда приезжали гости и до утра не смолкали их голоса, а я веселился с ними до середины теплой мерцающей летней ночи, а потом заваливался на скрипучую раскладушку под стеганое ватное одеяло и мечтал, закинув руки за голову, о морях, о похвале учителя, о наилучшем результате, о поверженном обидчике, о неких абстрактных ласках; я помню, как двоюродная моя племянница Настюша, утешившая около двух лет назад от рака желудка, не проявлявшегося поначалу никак и унесшего ее в считанные месяцы, читала взахлеб, сверкая возбужденными глазами, Новалиса. «Герой стоял в молчании,— жарко шептала Настюша из противоположного конца веранды.— ...Позволь мне коснуться твоего щита. Его доспехи зазвенели, он ощутил всем телом волну живительной силы, взгляд его блеснул молнией, громкое биение сердца раздавалось из-под тирасы». Ты слушаешь меня?

— Она подала в суд на компанию, изготавливающую микроволновые печи,— проговорил профиль, и ладонь развернулась книзу.

— Делать ей нечего,— промычало справа.

— Не скажи.

Настюшка задыхалась от волнения. «Король идет!» — воскликнула великопленная птица».

— Дурьнда ты,— не выдержал я и заржал.

— Да ты послушай, послушай, ты глухой мальчишка, все вы, мальчишки, глухие и заскорузлые. «Когда Эрос вне себя от восторга увидел перед собой

спящую Фрею, внезапно раздался оглушительный грохот. От принцессы к мечу пробежала яркая искра. Эрос уронил меч и запечатлел на ее свежих устах...»

— Гадость, — оборвал я, — девичьи грезы, зеленые и огромные, как парниковые огурцы!

В меня полетела сначала книжка, затем подушка; пришли ее родители и насилу растащили нас, уже переходивших в рукопашную. Из всех моих странствий я писал ей нежные письма.

— Она отсудила десять миллионов долларов у компании — ни хиханьки, — в инструкции-то не было указано, что в печи нельзя сушить животных. — Ладонь плавно опустилась на подлокотник.

— Охренели. А чего там еще нельзя сушить? (Хохот.) Может, попробовать?

Я, конечно бы, рассказал тогда Настюше о Наташе, она была единственной, кому я иногда рассказывал о редких и смутных проблесках чувств во мне, она всегда считала меня «не по этой части», таким же хладнокровным, как и мои любимые морские твари. «Наташина» история, конечно же, переменила бы ее взгляд на меня, но не вышло, не случилось, мы занимались бы с ней на веранде, разучивали бы итальянские фразы, и позднее ее призрак присоединился бы к столь любимым мною призракам, населявшим дом: отца, Настюши, бабушки — маминой мамы, стройной, строгой, художавой, непререкаемой, тени былых друзей, изменившихся, растворившихся в пространстве, во времени, я решил поговорить с Наташей и еще раз сказал, теперь уже уверенно и твердо:

— Я поговорю с ней! Давай заканчивай сборы! Когда электричка?

Весь коридор был заставлен сумками, пакетами и рюкзаками. Мама, не смотря ни на что, предпочитала все, что только возможно, перевозить из Москвы. Она стояла в защитного цвета расклешенных штанишках, клетчатой, застегнутой под горло ковбойке и в такой же защитной курточке. Китайская продукция периода всеобщей дружки с Китаем. Бодрая, оживленная, волосы прикрыты кепицей с огромным козырьком. Я разулыбался.

— Наташа должна приехать минут через пятнадцать. Мы с Маргаритой Афанасьевной говорили, и она предложила, и это, конечно же, удобнее, чем на электричке, Наташа так благодарна тебе за твои уроки, столько вещей, совершенно естественно...

— Ты что, звонила ей?

— А что здесь такого? Она внучатая племянница моей старинной подруги — помнишь, я же тебе говорила, — Кирочкина сестра? Ты назад с ней вернешься, чем по этим электричкам, в конце концов можно, она очень, очень хорошо к тебе относится, она сама позвонила.

Через пятнадцать минут влетела улыбающаяся Наташа в сопровождении розовощекого жеребца по имени Андрей, она дважды назвала меня Петром Ивановичем, подчеркнуто вежливо объяснила, что маму они перевезут сами, что я могу не беспокоиться, что к уроку она все выучила, мама ласково трепала ее по щеке, приговаривая: «Умница ты моя...»

Сзади отчаянно шуршали пакетом. Старик сделался совершенно синим. Дискуссия о собачке переродилась в ленивые метафизические прения относительно дозволенного, запрещенного лукавства формулировок и всеобщего права. По салону внезапно распространился необъяснимый запах крутых яиц. Нечто впереди вскочил с места, дабы достать какую-то свою ручную кладь, и был немедленно усажен на место стремительной стюардессой. Самолет садился. Горло, кажется, совершенно перестало болеть. Это подтвердил и один глоток, и второй, и третий. «Миллион, миллион, миллион алых роз», — заклинал динамик.

Корни небесные — город, залитый мраком с жемчужными нитями магистралей, всякое движение иллюзорно — самолет словно висит, только иногда

заваливается набок, забивая иллюминатор беспросветной ночной чернотой, рывками увеличивает масштаб, укрупняя разношерстные квадраты под брюхом, коробочки с окошечками, прилипших к автостраде букашек. Свист и треск окончательно сводят происходящее к пугающей правдоподобности аттракциона в детском парке, кажется, заест одна из шестеренок — и застрянем на верхотуре или, наоборот, обрушимся вниз, соединив в нелепой инфантильной привязанности к развлечениям трагическое и смешное. Ключущая носом сонная птица, мечтающая о том, чтобы прикорнуть в своем асфальтовом загончике, тянущая постылый груз и спотыкающаяся о каждую воздушную кочку, сотрясающаяся...

— У меня тоже были проблемы с почками,— говорит Мишель подруге осторожным шепотом,— эта наша национальная проблема — опущение органов и недержание... Просто статистики нет — кто же в таком признается? — но специальные прокладки в супермаркетах пользуются большим спросом.

Я посмотрел на Мишель — отекает на глазах. Почерневший сосед, распухшая Мишель, расквасившиеся от водки умники впереди, Мальвина, дрожжащими руками накладывающая себе пилюлю и накапывающая каких-то капель, мое перевязанное горло и гноящиеся глаза...

— Это связано,— методично продолжила Мишель после аккуратной паузы,— с нашей конституцией, я имею в виду конституцию тела, конечно же, мы маленькие и вытянутые, поэтому органы просто давят друг на друга. Небось американские кобылицы или немецкие коровы не страдают подобными расстройтвами.

Подруга утешительно:

— У нас средний срок жизни женщины — восемьдесят пять лет, ты знала?

— Тошнит,— выпалил мальчик,— папа, тошнит!

— Боже мой,— пробормотал старик,— нет страшнее перемен, чем перемены давления.

— Понимаешь,— оживилась Мишель в ответ на что-то крайне мало заметное,— просто человечество еще не научилось как следует бороться с пылью. Нет на Земле такого места, где не было бы пыли, а ты знаешь, что такое пыль?

— Отходы жизнедеятельности каких-то небесных тел? — вежливо предположила подруга.

— Отнюдь! — отрезала Мишель.— Пыль — это микроскопический молниеносно размножающийся клещ, вползающий через поры и отравляющий внутри все живое.

— Сами вы пыль! — еле выговорил старик.— Почему вы так орете, вы что, не видите, что здесь все спят?

— Во всяком случае, некоторые на удивление крепко,— прошипела в ответ Мишель.

Я закрыл лицо ладонью.

Однажды Наташа пришла в каком-то несусветном прозрачном платье и все время стояла у окна. Значит, она хотела мне себя показать. Ведь так, так? Тогда она была покладиста, послушна и улыбчива. Мы говорили о прошлом, о первом воспоминании, о детстве.

— Хочешь, я расскажу тебе, как я впервые солгала? — предложила Наташа.

— Только не забывай о согласовании времен,— напомнил я.

Она рассказала мне красивую историю о друге детства, ему было пять, ей шесть, они вместе бегали вдоль моря, собирали раковины. Однажды он предложил ей перелезть через огромный забор в чей-то сад поест яблок, она не согласилась, сказала, что подождет на улице, он сорвался с забора и разбилсь, лежал недвижимо на земле, и она смотрела на струйку крови, вытекающую из его глаза, с ужасом и потрясением, но потом совладала с собой, спокойно вернулась домой и не подала виду: боялась, что ее накажут, ведь она была старше. Наутро, когда нашли мальчика, она плакала со всеми. Кажется, я был тогда тронут тем, что первый узнал спустя столько лет никому не нужную правду, быть, поросшую билью, тогда мне еще не вполне было яс-

но, что все это, возможно, просто придуманная история, как и история о дедушке, застрелившем бабушку из ревности, или история об окнах дома напротив, в каком-нибудь из которых можно обязательно увидеть именно то, что тебе больше всего хочется увидеть в эту минуту.

До этого она агрессивно и зло рассказывала о своей ненависти к старикам, нарочито цинично об их капризах и истериках, об их алчности, скупости и безжалостности, я обрывал ее на каждом слове, делая замечания даже там, где можно было бы и не делать, она говорила о своей брезгливости к ним и здоровом — это она особенно подчеркнула — отвержении.

— Ты сама будешь такой! — гаркнул я.

— Ты действительно сейчас об этом думаешь? — спокойно спросила Наташа, сощурился глаза.

Я промолчал.

До этого...

— Он обделал меня, — отчетливо проговорил откуда-то сзади хриплый мужской голос, — обделал и исцарапал! Ну его к черту!

По проходу, истошно пища, засеменял котенок, скомканный и перепачканный, на мгновение он остановился, огляделся вокруг и кинулся под сиденье Мишель.

«Сейчас начнется», — подумал я.

— Когда же это наконец кончится? — сказали мы хором со стариком и удивленно посмотрели друг на друга.

19

Горло больше не отвечает болью на каждую попытку заговорить, горло как будто покрылось какой-то защитной пленочкой, можно глотать, насморк и слезы, льющиеся из глаз при каждом моргании, — сущее блаженство, облегчение — словно прорвало плотину, и вся застоявшаяся боль устремилась по узким шлюзам наружу, прочь. Сосед, продемонстрировав на своем лице все цвета радуги, наконец-то задержался в розовой гамме, внезапная зевота овладела мной, я зевал часто и сладко, с хрустом расправляя затекшую спину, головокружительная усталость разливалась по всем членам, котенок был пойман, и отчаянные его стенания как будто уходили все дальше и дальше, голоса постепенно настраивались на свое обычное звучание, спящие пробудились, бодрствовавшие приводили себя в чувство после стольких часов неподвижности и переедания, заскрипело шасси, и какое-то мгновение было непонятно, летим мы еще или уже катим по посадочной полосе, вот и долгожданный толчок, соприкосновение с землей, страшный вой моторов и хрип поставленных наперекор ветру закрылков, вибрация, рукоплескания пилоту, первые сольные номера:

— Будьте добры, разрешите достать...

— Слушай, браток, дай-ка мне вон оттуда...

— Перестаньте ходить по ногам.

Бас. Тенор. Сопрано.

— Вы сейчас домой? — Мужчина сзади.

— А вы? — Женщина.

— Просьба оставаться на своих местах до полной остановки самолета. К выходу мы вас пригласим специально. — Трескающийся голос из динамика, по-суфлерски приказывающий, по-актерски просящий.

Хохот. Сумка на «молнии», клетчатая, как шотландская юбка. Ребристый металлический чемодан, напоминающий межпланетное транспортное средство, пакет с метровыми плитками шоколада и бутылочными горлышками. Разве время не превращает в пыль все острое, не размазывает, не размалывает то, что разило некогда с небывалой силой?..

— Вы не могли бы поосторожнее?

— Вы же загромождаете проход.

— Подождем... — вздыхает Мишель.

— Подождем? — Старик явно смущен наступившей сумятицей.

— Вы топчете мой шарф.

— Пожалуйста, пожалуйста, пропустите, пропустите...

Брань. Штанина. Рука с рыжими завитками волосков. Подвернутый синий рукав. И разве счастье не сменяется покоем, а покой отчаянием?

Вой из динамика: «Я буду ждать звонка твоего, надежды огонек». И неужели жизнеспособно то, что противостоит порядку, заложенному совершенно во всем без исключения: и в бытии, и в предмете? Разве?..

Мама вечером за ужином попросила меня позаниматься с внучатой племянницей своей подруги.

— *С Наташенькой. Только разговорным языком, практикой, она такая умница, она будет жить в Италии (шепотом).*

Зевота просто раздирает голову пополам. Багаж сложили у одной двери, а выходить нужно через другую.

— *Я никогда не давал частных уроков.*

— *Но мы же сейчас стеснены в средствах.— Мама покраснела.*

Она всегда краснела, когда говорила о деньгах.

— *А чем занимается эта ваша Наташа?*

— *Она работает, очень состоятельная и старательная девочка. Петюша, всего уроков десять. Тебе, знаешь, это только полезно...— Смеется.— Я же знаю, что тебе не хватает сейчас, и заработаешь, и взбодрисься. Надо, Петюша. Будет к тебе ходить. Я уж и обещала почти. Почитаете что-нибудь, поговорите, плохо ли?*

— *А сколько платить будет?*

Мама сказала шепотом.

Я широко раскрыл глаза.

— *Не ты сейчас времена, чтобы нос воротить,— укорила меня мама.*

До чего все-таки утомительна эта зевота. Слезы застлали мне глаза, я держивал дыхание, но ничего не мог сделать, все зевал и зевал. Разве, разве возможно?..

Мы созвонились, и она пришла. Смело шагнула через порог и резким мужским движением протянула мне руку. Решительная, сосредоточенная, подтянутая. Только чуть развязно крутит на пальце связку автомобильных ключей. Серые волосы, карие глаза. Карие глаза? Я зевнул. Карие глаза или серые глаза? Зевота. По-моему, серые. Или карие? Зевота. Черт знает что такое!

Я повернул голову. Кресло старика было пустым. Не было также и Мишель. Оглянувшись в салоне не было уже никого. Только Мальвина обреченно пыталась собрать какие-то пакеты и свертки, сумка то и дело соскальзывала с плеча. Я поднялся и подошел к ней.

— *Могу вам чем-нибудь помочь?*

— *Большое спасибо. Я совершенно простудилась в дороге. Ангина.*

Я выпрямился и подал ей пакет.

На шею у нее было точно такое же кашне, как у меня.



Ирина МЕДВЕДЕВА,
Татьяна ШИШОВА

Новое время — новые дети?

Смотри всегда на сердца сограждан. Если в них найдешь спокойствие и мир, тогда сказать можешь воистину: се блаженны.

А. Н. Радищев

*Посвящаем эту книгу памяти
Александра Николаевича Радищева*

УРОКИ ПЕСОЧНИЦЫ

Любая эпоха возлагает большие надежды на молодежь. В переломные же периоды эти надежды перерастают в упования. «Коммунизм — это молодость мира, и его возводит молодым». Капитализм, правда, при всем желании молодостью мира не назовешь (в Нидерландах, например, буржуазная революция победила в XVI веке), но вторая часть лозунга нисколько не утратила актуальности. И в печати, и по телевидению, и с трибун, и в личных разговорах уже несколько лет звучит «молодежный лейтмотив», который обобщенно можно сформулировать примерно так: «Когда подрастет не порченное заразой социализма поколение и у руля политики, экономики, культуры станут люди, воспитанные без этих ложных позавчерашних идеалов, вот тогда в России начнется нормальная жизнь».

Кажется очень убедительным. И если посмотреть невооруженным глазом на сегодняшних детей, увлеченных компьютерными играми, представляющих себя то ниндзей-черепашкой, то Бэтменом, не хлопающих, а свистящих и улюлюкающих перед началом спектакля в кукольном театре, можно подумать, что это и вправду «племя младое, незнакомое». Настолько незнакомое, что ему даже трудно сказать «здравствуй» — с языка как-то само слетает слово «привет»...

А уж когда слышишь вопросы типа: «Кто такие пионеры?» или «А Ленин действительно был Антихристом?», последние сомнения улетучиваются. Да. «Им жить при...» Ну, в общем, при очередном заветном «изме». Опять лозунг старый, только «изм» новый. Ну, и, пожалуй, интонационный акцент поменялся — жирное ударение на первом слове: дескать, не вам, ископаемым, а ИМ, молодым.

Обычно, когда говорят «видно даже невооруженным глазом», подразумевают, что уж вооруженным-то тем более. Будем считать, что наша тема в этом смысле исключение. В данном случае «вооруженным глазом» можно увидеть не то же самое с еще большей отчетливостью, а нечто другое.

Часто общаясь с детьми разного возраста, мы вновь и вновь убеждаемся в том, что они на удивление «старые», наши новые дети. Впрочем, нас это уже и не удивляет. Ну, скажите, кто, где, в какой пробирке будет выращивать «совсем другое» поколение? И на каком «питательном бульоне»?

Пока что дети воспитываются не в пробирке, а дома, в детском саду, в школе. Крупнейшие психологи, в том числе Юнг, Пиаже, Выготский, Узнадзе, писали о колоссальном значении установок, полученных в раннем возрасте. Такие установки

Ирина Яковлевна МЕДВЕДЕВА, Татьяна Львовна ШИШОВА — психологи, члены Союза писателей, сопредседатели Международного общества артпедагогов и арттерапевтов, соучредители Фонда социально-психического здоровья семьи и ребенка.

вполне сопоставимы с понятием «импринтинг», «первообраз». Существуют не только зрительные, слуховые и осязательные импринтинги, но и этические. Вытесняясь вместе с ранними воспоминаниями, этические первообразы (как, впрочем, и воспоминания) вытесняются не вовне, а вглубь. На дно человеческой памяти, в сферу бессознательного. Что это означает на деле? А то, что человек иногда может не понимать, почему он поступает так, а не иначе, почему не в силах через что-то перешагнуть, что-то совершить, откуда идут импульсы, побуждающие его с легкостью делать одно и упорно мешающие делать другое.

А какие установки получает у нас ребенок, когда он еще пешком под стол ходит? Каковы его первые опыты социальных контактов? Вот типичная сценка в песочнице.

Малыш лет двух-трех хватает понравившуюся ему чужую игрушку. Хозяин игрушки, тоже малыш, пытается отобрать ее и, когда попытка заканчивается неудачей, с ревом бежит к маме. Но первой, как правило, реагирует мать обидчика.

— Отдай немедленно! Это не твое! — кричит она и тут же начинает оправдываться перед мамой обиженного: — Полно своих машин, и такая тоже есть. Только что купили. Вечно ему чужое надо схватить!

— Да пускай поиграет, — поспешно отвечает вторая мама и пытается усовестить плачущего сына: — А ты не жадничай. Он поиграет и отдаст. Надо делиться, ты же добрый мальчик.

Первая мама роется в сумке, достает машинку или конфету, протягивает ее малышу.

Вторая мама — первой:

— Ой, да не надо! Да что вы! — Своему ребенку: — Вот видишь? Ты поделился, и с тобой делится.

И обе женщины, довольные своими педагогическими талантами и друг другом, улыбаются.

Вроде бы пустяковый эпизод, но при этом в нем заключены важнейшие этические коды. Что сообщается детям? Прежде всего, что жадность — это порок, и *обязательно* надо делиться. Кроме того, щедрость вознаграждается, причем не запрограммированно, не рационально (ты мне — я тебе), а свободно, по велению души. Ведь конфетку обиженный ребенок получил не от своей мамы в качестве педагогического поощрения и не по предварительному договору с чужой матерью (ты моему сыну машинку, а я тебе конфетку). Это произошло неожиданно, спонтанно и вместе с тем как-то очень естественно.

С другой стороны, нельзя сказать, что детям не прививается понятие «свое-чужое». Обратите внимание, первая реакция матери маленького «экспроприатора» — пресесть посягательство на чужую собственность («Отдай немедленно! Это не твое!»). Но интересно, что ответная реплика («Да пускай поиграет») тормозит возвращение собственности в руки хозяина. Как правило, взрослые не торопятся выхватить отнятую игрушку. Скорее всего она будет сразу же возвращена хозяину лишь в том случае, если он среагирует не просто негативно, а бурно негативно — допустим, забудется в истерике. И скорее всего такая реакция вызовет всеобщее недовольство (в том числе и недовольство его матери, которой станет стыдно за сына-жадюгу).

Мысленно слышим саркастический вопрос:

— А в других странах, по-вашему, детей не приучают делиться? Это только у нас, да?

Нет, конечно. Мы не знаем культуры, которая бы восхваляла и воспитывала в детях жадность (как и вообще любые пороки). Но суть в акцентах, оттенках, нюансах. Одно дело воспитывать щедрость, а другое — разумную доброту. Можно призывать снять с себя последнюю рубашку, а можно — отдать излишек. Скряги и скупцы осмеиваются в самых разных культурах, но согласитесь: расчетливость и бережливость не у всех народов фигурируют в числе главных добродетелей. Помните? Слова про «умеренность и аккуратность» Грибоедов вложил в уста Молчалина.

Но вернемся к сцене в песочнице, наблюдая которую, мы оценили поведение матерей как совершенно правильное, и попробуем представить себе, какую оценку дали бы этой сцене «независимые наблюдатели», исповедующие другую этику. Скажем, протестантскую. Им поведение взрослых, вероятно, не показалось бы столь безупречным. Прежде всего они вряд ли одобрили бы вялую реакцию матери обидчика, которая ограничилась словесным замечанием, а не поспешила отнять у сына чужую игрушку. С другой стороны, их могли бы неприятно поразить слова «вечно ему надо чужое схватить»: ведь в культурах, в которых осуждается малейшее посягательство на собственность, это очень тяжкое обвинение. В рамках протестантской этики куда тактичнее прозвучала бы фраза типа: «Не понимаю, что на тебя сегодня нашло?», подчеркивающая случайность, неожиданность происшедшего.

Но вот что особенно интересно. Быть может, наибольшие нарекания вызвала бы другая мать, которая, с нашей точки зрения, повела себя в данной ситуации похвально. На ее глазах по отношению к ее ребенку был грубо погран закон, который по-английски кратко можно сформулировать словом «privacy». А по-русски даже трудно перевести (на что уже не раз обращали внимание наши публицисты). Скажем так: privacy — это неприкосновенно-интимно-собственное. А мать? Она же еще и «баллон катит»: «А ты не жадничай!» Хотя при чем тут жадность? Он протестует против посягательства на свою собственность.

Но промахи матери на этом не кончаются. Мало того, что она не помогает сыну вернуть игрушку, так еще и совершает откровенное насилие над его волей. Какова ее последняя реплика? «ТЫ ПОДЕЛИЛСЯ, и с тобой делятся». А ведь он ее не уполномочивал за себя решать. Он не поделился! Она за него все решила и насильно назначила его — щедрым. Разве это не нарушение прав ребенка?

Мы разобрали здесь два столь разных подхода к одной и той же ситуации вовсе не для того, чтобы определить, «кто самее». Нам хотелось на простом примере показать другое: глубинные, архетипические различия культур проявляются буквально на каждом шагу, начиная с первых шагов ребенка. И очень многое в жизнеустройстве целого общества, государства, в структуре власти и т. п. есть отражение, пусть в более сложном виде, таких вот архетипических моделей поведения.

И под этим углом зрения как-то особенно отчетливо видишь, насколько тщетны попытки кардинально реформировать жизненный уклад огромного народа. Для этого необходимо произвести полную трансплантацию, стопроцентную замену культурной ткани, т. е. надо завести (или завезти?) другой народ. Даже если не касаться нравственных аспектов подобной операции, стоит задать себе хотя бы такой вопрос: а реально ли это?

— Да все это натяжки! Мы никогда не станем американцами! Этого смешно бояться! — такие восклицания мы слышим все чаще и чаще.

(Характерно, что они исходят главным образом от тех людей, которые совсем недавно восклицали прямо противоположное и на каждом шагу приводили Америку в качестве примера для подражания. А чуть раньше, до сожжения партбилета, так же пылко рассказывали об очереди безработных за бесплатной похлебкой и о том, что Нью-Йорк — город контрастов. Короткая память этих людей настолько гротескна, что, право, заслуживает отображения в художественной литературе.)

Но когда начинаешь разбираться, в чем, по мнению таких людей, заключается особый, ни на кого не похожий путь России, то вскоре понимаешь: первоначальные планы по трансплантации не отринуты. Просто они в ходе операции претерпели некоторые изменения. А именно: больному решили оставить кожу. Дескать, не надо волноваться, ваших традиционных ценностей — valenki, matrioshka, vodka — у вас никто не отнимет. Пожалуйста, пляшите в кокошниках, пойте фольклорные песни, возрождайте народные игры, праздники, обряды. А уж кой-какие внутренние органы — не обессудьте — придется пересадить. Смелый, конечно, эксперимент, большой может и помереть, но ничего не попишешь: без этого у России нет будущего.

А что такое в данном случае пересадка внутренних органов? Это попытка кардинально изменить систему отношений в обществе. И прежде всего отношений собственности.

КОРЫСТЬ И PROFIT

Сегодня довольно часто можно услышать, что в нашей стране нет и не было уважения к частной собственности и отсюда многие беды. Даже в современной детской книжке читаешь про некую сказочную страну «Дайнию», где живут «дайки» (или «дайки» — по аналогии со словом «совки»?), которые только просят, вымогают, отнимают. Обращаясь к взрослому читателю, литераторы и общественные деятели уже безо всяких иносказаний вполне прямо и откровенно заявляют, что в советское время все жили по принципу «отнять и поделить».

Но даже из приведенного в предыдущей главе простого «детского» примера ясно, что понятие «свое — чужое» в России существует и внушается людям с самого нежного возраста. Другое дело, что русское и западное представления о собственности не идентичны. Во-первых, собственность в России не *священна*. И так было задолго до большевиков. Почитайте «Письма из деревни» помещика Ал. Ник. Энгельгардта, считавшегося большим знатоком русского крестьянства, — там об этом говорится прямо и доходчиво. А вот и еще более выразительная цитата:

«Горе, — думается мне, — тому граду, в котором и улица, и кабаки безнужно скулят о том, что собственность священна! Наверное, в граде сем имеет произойти неслыханнейшее воровство!» — это сказал отнюдь не классик марксизма, а М. Е. Салтыков-Щедрин.

Европейцу его высказывание наверняка покажется парадоксальным и даже абсурдным. Что за нелепость? Как это может быть? Раз собственность священна, то это как раз и есть надежный заслон от воровства. Или уж, во всяком случае, не стимул к его процветанию.

А вызовут ли удивление слова великого сатирика у наших читателей? Думаем, вряд ли. Особенно сейчас, когда реальность служит прямо-таки идеальной иллюстрацией его мысли. Представителям русского менталитета и без объяснений понятно, почему разговоры про священную частную собственность служат в России дымовой завесой для безбожного воровства. Но мы все же вкратце поясним. В православной культуре (в традициях которой мы все воспитаны независимо от степени религиозности или даже отсутствия оной) принято благоговеть перед духовными святынями, а поклонение материальным ценностям (в том числе собственности) трактуется как язычество, как идолопоклонство. Что такое собственность, как не золотой телец? А что такое золотой телец, как не идол? Ну а коли идол сакрализован, обожествлен, следовательно, истинного Бога нет. С отменой заповеди «Не сотвори себе кумира!» отменяется и заповедь «Не укради!».

Вторая важная характеристика: отношение к частной собственности в России не абсолютизируется. Иными словами, отношение к собственности связано с ее происхождением. Известное изречение Веспасиана «Деньги не пахнут» в нашей культурной системе не работает. Здесь деньги пахнут, и совсем немаловажно, пахнут они трудовым потом или нечестной наживой. «От трудов праведных не наживешь палат каменных», — гласит известная пословица.

Вообще язык — одно из ярких, точных и глубинных отражений коллективной психологии. Он может служить прекрасным тестом для диагностики истинного отношения народа к тому или иному явлению жизни. В русском языке существует множество отрицательно окрашенных слов, связанных с понятием прибыли: «нажива», «барыш», «куш», «барыга», «барышник», «деляга», «делячество», «торгаш», «выгадывать», «наживаться», «набивать карман».

Это отношение выражено и в пословицах: «Маленькая бережь лучше большого барыша»; «Лучше с убытком торговать, чем с барышом воровать»; «Не для барыша, ради почина»; «Плоти убыток, душе барыш»; «Неправедная нажива — не разжива»; «Не до барыша, была бы слава хороша»; «Деньги — не голова: наживное дело».

А вот, казалось бы, вполне нейтрально звучащее местоимение «свой». Раскроем словарь Даля. Среди прочих значений указывается: «Свое» — природное в человеке, нравственная порча, пороки, самые страсти, собь, все, что должно быть побеждено духом для возрожденья.» (!)

«Собь», как вы понимаете, и есть корень слова «собственность». Ну-ка посмотрим, как трактовалось это слово у того же В. Даля задолго до Октябрьской революции и даже до отмены крепостного права: «Собь — все свое, имущество, животы, пожитки, богатства; свойства нравственные, духовные, и все личные качества человека, особенно все дурное (выделено нами. — Авт.), все усвоенное себе по дурным наклонностям, соблазнам, страстям». А слова «собливый, собчивый, собистый» обозначают «корыстного скопида, скопляющего себе собинку».

То есть даже в нейтральном слове «собственность» спрятан отрицательный оттенок!

Для сравнения возьмем английское слово «property» (собственность). Цитируем по словарю Миллера: «property» — «имущество, собственность, поместье, имение, достояние, свойство, качество...»; «propert» — «присущий, свойственный, правильный, должный, надлежащий, подходящий, пристойный, приличный»; (propert behaviour — хорошее поведение), точный, истинный, совершенный, настоящий, красивый. Не обязательно быть ученым-лингвистом, чтобы уловить ярко выраженный положительный оттенок этих двух английских слов.

А слово «корысть», имеющее в русском языке, бесспорно, отрицательный привкус, переводится нейтральным «advantage», «profit» — «преимущество», «прибыль».

Еще раз повторяем (хотя, честно признаться, нам уже надоело оправдываться, равно как и твердить, что, говоря «русский», мы имеем в виду не кровь, а культуру), наш анализ не ставит перед собой задачу оценить, что лучше, что хуже, кто прав, кто виноват. Но нельзя же не видеть живой реальности и в угоду очередной утопии, очередному фантому в очередной раз эту реальность корезить!

Нам могут возразить:

— Господи, сколько можно идеализировать эту пресловутую русскую культуру? А то в России не было богатейших дворцов, поражавших своим великолепием иностранных гостей! И рядом нищий, голодный народ... А что касается языка, то здесь наблюдается некоторая предвзятость. Например, вы благополучно позабыли поговорку «Своя рубашка ближе к телу». Или ее не существует?

Почему же? Существует. Но тогда надо вспомнить и контекст, в котором она обычно употребляется. Когда человек не проявил должного бескорыстия, тогда, вздыхая, с оттенком сожаления говорят: «Что поделаешь? Своя рубашка ближе к телу».

Ну а насчет дворцов и хижин... Мы никогда не говорили о существовании в России идеального общества. Но какие в обществе этические установки, какие идеалы, немаловажно для хода истории. Что, кстати, и показала печальная история обитателей дворцов в 1917 году.

Причем установки, если пользоваться геологической терминологией, бывают разной глубины залегания. И важность глубинных пластов бессознательного признают сегодня психологи самых разных школ и направлений.

Очень интересное наблюдение мы сделали в Германии. Нам пришлось там много общаться с интеллигенцией. На уровне сознания все они были выражено левыми: возмущались засильем капитала, расслоением общества, смеялись над убогими интересами буржуазии. Да и русские эмигранты, с которыми мы там сталкивались, говорили, что немецкие интеллектуалы если не красные, то уж, во всяком случае, ярко-розовые. Однако интересное наблюдение заключается вовсе не в этом, а вот в чем: когда те же самые люди, которые пять минут назад выступали против социальной несправедливости, заговаривали о своих друзьях или знакомых, подходящих под категорию богатых, они неизменно понижали голос и с явным почтением произносили: «He is very rich» («он очень богат» — мы общались по-английски). Так было не один, не два, не три раза, и голос понижался автоматически, и в глазах появлялась какая-то детская зачарованность — так, наверно, заглядывали в окна богатого дома Тильгиль и Митиль из «Синей птицы» Метерлинка. И мы понимали, что благоговейный шепот исходит из самых глубин души, отражая определенную бессознательную установку, этический импринтинг.

Для сравнения предлагаем представить себе, будет ли говорить шепотом и с придыханием о своих богатых знакомых наш человек, возмущающийся, как и немецкие интеллигенты, социальной несправедливостью. Конечно, бывает, что, кланя богачей, люди им втайне завидуют. Но это отнюдь не «белая зависть». Она окрашена ярко отрицательно и несет в себе большой заряд агрессии — эмоции, несовместимой с пietetом. Т. е. даже глубинная установка на богатство — это как бы антиидеал, или, по выражению Льва Гумилева, «субпассионарное» проявление.

Работая с детьми, находящимися в пограничных состояниях психики, мы постоянно убеждаемся в прочности традиционных установок. А таких детей за последние годы побывало у нас множество, около пятисот человек. Учитывая, что мы тесно общаемся не только с детьми, но и с их родителями, бабушками и дедушками, число респондентов можно смело увеличить минимум до полутора тысяч. Так вот, мы наблюдаем очень показательную картину. На уровне сознания и взрослые, и даже дети прекрасно понимают роль денег и деловой хватки в современной жизни. Вчера еще полукоррупционное «хочешь жить — умей вертеться» сегодня воспринимается как вполне серьезный императив. Фактически это стало залогом выживания. Причем такая ситуация длится уже не месяц и не год и по идее могла бы повлиять на изменение ценностных ориентиров. К примеру, перечисляя положительные черты характера ребенка, родители должны были в духе времени указывать на практичность, бережливость, деловитость, желание пробиться, стать первым, интерес к бизнесу в конце концов! Но нет! Вместо этого пишут: «добрый», «ничего не пожалее», «отдаст последнее». Что же касается желания быть первым (совершенно необходимого в условиях рыночной конкуренции), то тут вообще парадокс: оно перечисляется в ряду главных недостатков, для искоренения которого его родители и обращаются к специалистам. За все время нам встретились только одна мама, которая среди достоинств своего сына указала (цитируем дословно): «Хочет быть богатым». Однако в числе недостатков назвала жадность и уточнила: «Любит копить деньги, никогда ничем не поделится».

Подчеркнем, что при этом среди родителей встречается немало сторонников либерально-рыночных реформ.

Ну, хорошо. Взрослые все-таки формировались в другое время. Может, у новых детей уже все по-иному? Более сообразно «историческому моменту»? В анкете, которую мы предлагаем детям, есть вопросы, позволяющие сделать выводы относительно ценностных установок: «Какие качества ты хотел бы приобрести?», «От каких недостатков желал бы избавиться?», «О чем ты мечтаешь?»

Конечно, дети мечтают о красивых и модных игрушках (как, впрочем, было всегда). Но никто ни разу не написал о желании разбогатеть, стать миллионером, владельцем «заводов, газет, пароходов» и т. п. Или нет... И тут не обошлось без исключения. Одиннадцатилетний подросток так прямо и написал: «Хочу иметь много денег». Правда, привели его к нам с жалобой на регулярное воровство в довольно крупных размерах. Кто знает? Может, случайно совпало...

Среди качеств, которые дети, наоборот, хотя и приобрести, в первую очередь фигурируют смелость и доброта. Опять же ничего нового.

Предвидим законное возражение:

— Распространяя на всех детей данные, полученные на группе риска, — это, знаете ли, очень сомнительно с точки зрения научной достоверности. Вы ведь имеете дело с детьми нервными, у которых хрупкая, сверххраняемая психика.

Но в том-то и суть, что у таких детей *размыты* традиционные этические границы, и мы, кстати, добиваемся хороших результатов в работе с ними (т. е. возвращаем их к норме) как раз благодаря восстановлению этих границ. Желания и мечты детей-невротиков действительно разнятся с желаниями и мечтами психически прочных детей. Но знаете в чем? В том, что мечты первых инфантильнее, эгоистичнее и прагматичнее. Мы давали такие же анкеты обычным детям и обнаружили, что у них мечты очень рано перемещаются в сферу идеального. Уже шести-семи-летний ребенок понимает, что игрушки и прочие «материальные ценности» — дело наживное, и говорит, что попросил бы фею или доброго волшебника о другом: чтобы родители никогда не ссорились, чтобы люди (или хотя бы близкие) не умирали, чтобы на свете не было несчастных и злодеев, чтобы стали возможными путешествия во времени.

А еще — и это уж, безусловно, веяние времени — ребята постарше, совсем как героиня «Пяти вечеров», мечтают о том, чтобы не было войны.

ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ, ВЕДУЩЕЙ ВНИЗ

«Реформы в России проходят на фоне неуклонного роста преступности» — это, похоже, стало аксиомой. Как и утверждение, что преступность в последние годы резко помолодела.

Однако внутри этих общих утверждений содержатся, на наш взгляд, любопытные частности, вряд ли известные широкому читателю. Например, то, что в 1986 году, в начале перестройки, когда у людей появились надежды на благие перемены, преступность значительно снизилась (грабежи и разбой — на 24%, убийства и покушения на убийство — на 30%). Или то, что... Впрочем, лучше процитировать слова нашего известного демографа, профессора И. А. Гундарова: «В европейских республиках СССР, где общественное мнение склонилось в сторону свободного рынка, рост преступности в 1989—1991 гг. был в два с лишним раза выше, чем на территории Средней Азии. В свою очередь, среди азиатских республик наибольший рост преступности отмечался в Казахстане и Киргизии. Их единственное принципиальное отличие от остальных республик региона — отказ от традиционной коллективистской модели государственного устройства в пользу либерально-рыночного варианта».

А вот и не менее характерные данные. Тот же автор сравнил итоги реформ в Нижегородской, Ленинградской и Ульяновской областях. В первых двух пошли по либерально-рыночному пути, а в третьей пытались сочетать плановый и рыночный уклад. Мы побывали в последние годы и там, и там, и там. Что ж, магазины в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге выглядят куда веселее, тогда как унылые прилавки ульяновских окраин воскрешают в памяти картины не столь далекого прошлого. Но зато если вернуться к демографическим показателям, то смертность и преступность в Ульяновской области существенно ниже.

Вернемся к теме реформ и преступности и подумаем: а такая ли уж это роковая «смычка»? Обязательно ли реформам должен сопутствовать разгул преступности? И войдет ли эта ситуация в нормальное русло, когда наконец-то будет построено гражданское общество, т. е. когда во главу угла будет поставлен Закон?

Мы полагаем, что реформы и преступность вовсе не обязательно должны идти рука об руку. Очень многое зависит от того, правое ли это дело (именно правое, а не правовое!) или неправое. И речь здесь идет об ощущении большинства людей, а не группы реформаторов, которые, естественно, должны внушать себе и другим, что они правы, иначе у них не будет энергии двигаться дальше. Если абстрагироваться от множества конкретных мотивов, толкающих людей на те или иные преступления, то можно выделить фактор, общий, пожалуй, для самых разных преступников: они все несчастливы. Спектр эмоций, конечно, многообразен. Тут и отчаяние, и разочаранность, и злоба, и обида, и зависть, и чувство неполноценнос-

ти, и презрение к людям, и жажда реванша, и еще много-много чего, но все это несовместимо с состоянием счастья, душевной гармонии, радости (в отличие от ЗЛО-радства, которое часто сопутствует преступлению). Иными словами, рост преступности свидетельствует о том, что все больше и больше людей в стране чувствуют себя несчастными. Следовательно, не всякая реформа вызывает всплеск преступности, а та, которая приводит к душевной угнетенности. (Между прочим, и специалисты — психиатры и невропатологи — отмечают рост за последние годы депрессивных состояний среди нашего населения.)

Что же касается «вхождения в нормальное русло», то мы располагаем интересными фактами, которые в какой-то степени позволяют нам сделать прогноз. В 1992—1993 гг. к нам на психокоррекционные занятия вдруг стали часто приводить детей, уличенных в воровстве. Их количество неуклонно росло. Сначала такая «криминализация» в группах детей-невротиков повергла нас в панику, но постепенно мы к этому привыкли и уныло говорили друг другу, что это теперь устойчивая тенденция, с которой волей-неволей надо смириться. Но в 1994 году мы были озадачены очередной неожиданностью: число юных любителей чужой собственности резко сократилось. Для наглядности приведем несколько цифр. Если в 1992 году на группу из восьми человек стабильно приходился как минимум один воришка, к концу 1992-го — часто двое, а в 1993-м бывало уже и по трое на группу, то в 1994-м мы вздохнули с облегчением: их попало всего двое за целый год. И сегодня такие дети на наших занятиях — это опять ЧП. Как и до 1992 года.

В чем же причина? Ведь преступность растет, в том числе и детская! А на наших занятиях все не так...

У нас есть по этому поводу своя гипотеза. Мы думаем, что вспышка воровства среди детей с хрупкой психикой была одной из форм шоковой реакции на «шоковую терапию». Когда же наступила относительная стабилизация (по крайней мере в Москве), шок прошел и в принципе восстановилась прежняя картина: воровство вернулось в маргинальные слои общества, где оно всегда и обитало. Однако нужно сделать две важные оговорки. Первая: маргинальный слой увеличился, за счет чего, естественно, увеличилась и детская преступность по стране. Но маргиналам не свойственно обращаться к психологам. Как и всерьез заниматься воспитанием детей. К нам же приходят люди, если и обедневшие, то все равно не выпавшие из культуры. А надо сказать, что сегодня культурные устаночки в семье служат, пожалуй, единственным надежным иммунитетом против воровства.

И вторая оговорка. Мы предпочитаем не браться за случаи детского воровства, когда с такой жалобой к нам обращаются родители-бизнесмены. Не из вредности, а потому, что это бывает малорезультативно. Если в подобных семьях дети вернут (естественно, речь сейчас не идет о kleптомании — серьезном психическом отклонении), то коррекционные меры, которые в данном случае необходимо принять, неизбежно сталкиваются с образом жизни родителей. Образом жизни, который они не хотят и не могут изменить, потому что он обеспечивает им высокий уровень доходов.

Конечно, они не учат детей воровать, но сами жизненные принципы, взятые на вооружение в этой среде, идут вразрез с наложением на воровство строгого табу. Чтобы избежать обвинений в предвзятости, процитируем выводы Центра комплексных социальных исследований и маркетинга «Круглого стола бизнеса России», опубликованные в газете «Известия» от 27 декабря 1995 г.: «Среди основных человеческих качеств, необходимых для того, чтобы сделать состояние в нынешней России, эксперты часто указывают способность к предпринимательской деятельности, неразборчивость в средствах и нечистоплотность... Богатые живут инициативно, раскованно, самостоятельно. Им предназначена роль новаторов, ломающих традиции. Отношения богатых с окружающими строятся на личной выгоде, а не на взаимопомощи. По мнению экспертов, моральные качества богатого сословия вообще невысоки. Они вороваты, неразборчивы в средствах, эгоистичны и жестоки».

Ну что таким людям проповеди о «разумном, добром, вечном!» Любопытно и другое. Подобные «новаторы, ломающие традиции», — это, по существу, тоже маргиналы. Только те нищие, а эти богатые и потому, увы, более безнадежные. Их маргинальное положение не гримаса злой судьбы, не следствие слабохарактерности, а осознанный выбор (другое дело, что уровень осознания у таких людей чистенько бывает невысоким). Но из культуры выпадают обе социальные группы — и «нижние» маргиналы, и «верхние», — что совершенно закономерно наносит вред психическому здоровью детей. Воровство ребенка из богатой семьи — это очень тревожный симптом. Гораздо более тревожный, чем в среде нищих и опустившихся. Не обусловленное рациональными причинами (голодом, отсутствием модных вещей и проч.), оно свидетельствует о серьезном душевном неблагополучии. Только наивный человек может думать, что жизнь в интерьерных каталогах сама по себе уже залог счастливого детства.

— Ну, ладно! Вас послушаешь, так вывод только один: чем лучше — тем хуже! — в раздражении воскликнет оппонент. — И что вы все заладили: традиции, устаночки, нормы?! Все течет, все изменяется. У новых детей будут уже несколько иные установки, а у их детей — и вовсе новые! Сейчас же происходит революция, ни больше ни меньше! Да, человеческий материал самый неподатливый, самый консервативный, поэтому человека поменять труднее, чем политический строй. Но ничего! Сменится два-три поколения, и все будет нормально.

Особенно забавно, что в следующую минуту такой «певец революции» может завести речь о стремительной криминализации жизни, о сращивании мафиозных кланов с госаппаратом и проч. И получается несуразица: как состоится *плавная* передача культурных норм, если одновременно происходит *стремительная* криминализация? И если единственная надежная защита от криминализации нашего общества — это опора на традиционные этические установки? Даже рост благосостояния не так важен. Смешно слушать: дескать, воры наворуются и заживут честно. «Богатство подобно соленой воде, — гласит древняя мудрость. — Чем больше ее пьешь, тем сильнее жажда». Уберите культурную опору — и тут же произойдет соскальзывание в субкультуру, т. е. маргинальную зону. И аргумент, что на Западе, мол, капитализм, а при этом все нормально (во всяком случае, верхний класс ведет себя вполне респектабельно) — такой аргумент попросту некорректен, ибо вовлекает нас в порочный круг: нормальный капитализм может быть там, где другие этические нормы, а перенять эти нормы России никак не удастся, поскольку при подобных попытках *деградация общества опережает его трансформацию*.

Думаем, читатели без труда найдут вокруг себя подтверждение этих строк. Мы же приведем пример из своей профессиональной сферы. В последние годы и мы, и наши коллеги-психологи, не сговариваясь, отмечаем, что сегодняшние дошкольники гораздо хуже, чем дошкольники 80-х, различают нравственные оттенки в поступках людей. По существу, у них две основных характеристики: «плохой» или «хороший». Более точное определение (злой, жадный, грубый, ленивый, вредный и т. д.), даже когда даешь очень простую, а то и примитивную ситуацию, вызывает существенные трудности. Вот они, первые симптомы деградации. Динамика тут ясна: сначала перестают различать оттенки, а потом и основные цвета. В то же время сменяются ценностные ориентиры, т. е. ожидаемой трансформации, не происходит. В массе своей дети не становятся более расчетливыми, предприимчивыми, конкурентными, индивидуалистами, превыше всего ставящими личный успех и благополучие. Иными словами, не приобретают — ну, хоть ты тресни! — положительных черт, на которые так надеются идеологи реформ.

МОИ ПЕРВЫЕ КНИЖКИ

Наверное, в эпохи «гибели богов», или, как говорят сейчас политологи, «кризиса смыслов», на опустевший престол закономерно возводятся то, что вообще-то должно занимать второстепенное, служебное место. Сейчас, когда на фоне краха идеологии заметно возрос интерес к явлениям психики, чуть ли не магическое значение стали придавать психологическим методикам, техникам, практикам. (Даже в непривычном множественном числе последних двух слов улавливается некий оккультный, жреческий оттенок.) Сколько раз мы слышали от педагогов и психологов, что идеология и политика их не касаются. То ли дело — обучающий семинар по какой-нибудь игровой методике, небывалой психотехнике или восточным практикам! Любопытно, что эти люди стараются отмежеваться от политики и идеологии как раз в тот момент, когда происходит смена общественно-политического строя и соответственно одним из определяющих факторов успеха (или неуспеха) всей затеи становится именно *идеологическое* воспитание детей.

А что, может, и правда?.. Может, действительно есть надежда, подкорректировав детское поведение, преподав подрастающему поколению азы вежливости (на пример, в недавно изданной «Энциклопедии юного джентльмена», кроме сведений о видах секса и обращении с оружием, есть и раздел, посвященный правилам хорошего тона), — может быть, есть надежда добиться того, чтобы это поколение органично вписалось в жизнь, контуры которой обрисовываются уже достаточно ясно?

Давайте попробуем себе это представить. Вообразим ребенка из богатой семьи, благо воображение напрягать особенно не придется — такие дети стали пусть малой, но частицей нашей реальности. В любой семье под тем или иным соусом заходит разговор о деньгах. Не только сейчас. Так было и раньше, при социализме. Правда, тогда этот вопрос не стоял ребром, для подавляющего большинства людей речь не шла о физическом выживании. Ну, и, разумеется, не вставал столь остро вопрос о бедных и богатых. Лексика — и та была иной. Не говорили: «Он из богатой семьи». Говорили: «Из обеспеченной». Короче, бедные не были такими бедными, а

богаты — такими богатыми. Но теперь с ханжеством покончено, вещи называются своими именами, а принцип равенства признан утопическим и даже противостоит современному. Поинтересуемся: что могут сообщить современные богатые родители своему ребенку о бедняках? (Написав последнее слово, мы вздрогнули. Еще недавно нам казалось, что все это какое-то мифическое прошлое... И снова сказку сделали былью.)

Богатые семьи, как и все прочие, конечно, разные, но думаем, что не ошибемся, перечислив основные варианты этических установок, бытующие в этой среде.

Один вариант: «Бедные сами виноваты. Не зарабатывают, потому что не умеют. А не умеют, потому что не хотят. Дураки они, лентяи и пьяницы».

Второй вариант: «Бедных жалко, но что поделаешь? Так всегда было, есть и будет. А равенство — миф, фантом, выдумка большевиков. Их партийными пайками, впрочем, и опровергнутая. Помогать бедным надо... по возможности, но менять порядок вещей? Опять устраивать революцию? Абсурд!»

Третий вариант: «У них свои проблемы — у нас свои. И мир у каждого свой. В нашем мире *всего этого нет*. А зачем думать и знать о том, чего нет? Разве у нас мало забот, интересов, развлечений?»

Назовем эти варианты «антагонистический», «гуманистический» и «отстраненный». В их рамках, безусловно, могут встречаться те или иные индивидуальное различия, но в целом нам такой «триптих» представляется достаточно полным.

А что же объединяет эти три варианта, какая сверхидея? Есть ли она? Есть. И звучит весьма банально: мир — для богатых! Сегодня эта сверхидея получила мощное подкрепление прежде всего, конечно, образами и текстом рекламы, видеоклипов, телешоу, многочисленных лотерей и викторин. Сладкая, сказочная жизнь оживших кукол Барби...

Но, с другой стороны, у нас не перестало быть престижным давать детям хорошее образование. Скорее наоборот, оно пользуется массовым и, мы бы сказали, ажиотажным спросом. Причем ориентация идет преимущественно на гуманитарное образование. Даже в школах с математическим уклоном литература часто находится в ряду приоритетных предметов.

Однако сейчас мы побеседуем не о школьниках, а о дошкольниках. Бытует мнение, что личность в основном формируется до пяти лет. Все, что потом, — это уже «тонкая отделка». Нам трудно согласиться с категоричностью такого утверждения, но, конечно, очень многое действительно складывается в раннем возрасте. Обратите внимание, что читать детям вслух у нас тоже принято начинать с раннего возраста. И не столько комиксы и журналы, сколько полноценную детскую литературу. Во всяком случае, родители, которые пекутся об интеллектуальном развитии детей и намерены в дальнейшем определить их в хорошую школу, на это нацелены.

А теперь вспомним, что же за круг чтения у наших дошколят? Разумеется, народные сказки (их сейчас издается как никогда много). Чуковский, Маршак, Барто, Михалков... В общем, «мои первые книжки»... Свободны ли они от социальной тематики? Отражены ли в них три вышеперечисленные установки богатых родителей?

Самый аполитичный, пожалуй, Чуковский. Но даже у него в «Мухе-цокотухе», «Тараканище», «Бибигоне», как это ни смешно на первый взгляд, звучит архетипическая тема русской литературы — тема маленького человека. Понятие «маленький» тут даже буквализировано: «маленький комарик», «воробьишка», крохотный Бибигон...

Ну, предположим, здесь это еще сводимо к общемировым моделям волшебной сказки (Мальчик с пальчик, побеждающий великана). Но вот Маршака, одного из любимейших детских писателей, аполитичным уже никак не назовешь. Вспомним стихотворение «Мистер Твистер». Вспомним пьесу «Кошкин дом», которую ставят в кукольных театрах по всей стране. Вспомним «Двенадцать месяцев», пьесу, по которой снят прелестный мультфильм — его и сегодняшние дети смотрят с удовольствием. Тема богатства и бедности звучит в этих произведениях пусть на доступном детям уровне, но вполне отчетливо. Автор высказывает не просто сочувствие бедным, но и ироническое презрение к богатым. Карикатурно-уродливые, тупые, жадные и в то же время какие-то жалкие гости Кошки (сам выбор зверей чего стоит: Козел, Свинья!) — вот образы богачей. С кем из них захочет отождествить себя ребенок из семьи нуворисшей? В этих образах начисто отсутствует даже зловещая инфернальность, которая тоже может быть для кого-то притягательна. По отношению к богатым Маршак стоит на классической позиции русского интеллигента. Если вспомнить перечисленные нами «антагонистический», «гуманистический» и «отстраненный» варианты, то она всем им, безусловно, враждебна.

Но это еще «цветочки». В нашей детской литературе существует целое направление, которое можно назвать «революционной сказкой»! Причем все эти произведения не утратили популярность и в последнее десятилетие. «Три толстяка»

Олеши, «Королевство кривых зеркал» Гундарева, «Чипполино» Дж. Родари (он хоть и итальянский писатель, но настоящую популярность и признание получил именно у нас). А разве «Золотой ключик» Ал. Толстого чужд этому ряду? «Золотой ключик», где самый лучший взрослый — это бедняк папа Карло, где полицейские гоняются с собаками за Буратино, защищая интересы буржуя Карабаса, где пресмыкающийся перед богачами Дуремар ассоциируется с пивячкой, где куклы в конце концов устраивают бунт, побеждают и уходят в «светлое будущее», отперев дверь за нарисованным очагом... И эта дверь, символизирующая райские врата, находится в каморке бедняка, т. е. бедняк тождествен праведнику. И бедняки добиваются вхождения в этот рай при жизни — идея весьма революционная.

И ладно бы это была халтура, книги-однодневки, написанные по социальному заказу определенного времени! Так нет же! Перечисленные нами книги — это настоящая, большая литература, хоть и для детей.

Как вы думаете, на чьей стороне будет ребенок из богатой семьи, читая, к примеру, такие строки:

«Со всех сторон наступали люди... Обнаженные головы, окровавленные лбы, разорванные куртки, счастливые лица... Это шел народ, который сегодня победил. Гвардейцы смешались с ним.

Три толстяка увидели, что спасения нет.

— Нет! — завыл один из них. — Неправда! Гвардейцы, стреляйте в них.

Но гвардейцы стояли в одних рядах с бедняками. И тогда прогремел голос, покрывший шум всей толпы. Это говорил оружейник Просперо:

— Сдавайтесь! Народ победил. Кончилось царство богачей и обжор. Весь город в руках народа. Все толстяки в плену.

Плотная пестрая волнующая стена обступила толстяков. Люди размахивали алыми знаменами, палками, саблями, потрясали кулаками. И тут началась песня... Тибул и Просперо запели. Тысячи людей подхватили песню. Она летела по всему огромному парку, через каналы и мосты. Народ, наступавший от городских ворот к дворцу, услышал ее и тоже начал петь. Песня перекачивалась, как морской вал, по дороге, через ворота, в город, по всем улицам, где наступали рабочие и бедняки. И теперь эту песню пел весь город. Это была песня народа, который победил своих угнетателей».

Отрывок, конечно, катарсический. Представьте себе, с каким чувством читают эти строки дети из обнищавших семей, которых сейчас огромное число по всей России. Но даже сын реальных «толстяков» будет сопереживать девочке Суок, канатоходцу Тибулу, оружейнику Просперо и всему победившему народу. Собственно, среди героев сказки Олеши есть аналог такого ребенка — наследник Тутти, который становится на сторону бедных.

В конечном счете никакая рациональная установка не может конкурировать с сильным художественным образом. Тем более если художественный образ соответствует традиционному представлению народа о добре и зле, а рациональная установка, пусть даже подкрепленная авторитетом родителей, таким представлением грубо противоречит. Хотя, бесспорно, финал такой конкуренции далеко не всегда сиюминутен.

А теперь вернемся к Барто и Михалкову. И добавим к ним Лагина с его «Стариком Хоттабычем», Носова с «Незнайкой» и «Витей Малеевым», Драгунского. Мы нарочно выбираем произведения, которые переиздаются сегодня, значит, их массово читают сегодняшним детям.

В произведениях этих авторов есть положительные и отрицательные персонажи, есть и конфликты, но идиллическая атмосфера окутывает все и всех, как плацента окутывает плод. Однако это не идиллия Чарской или «Детства Темы». Она другая. Предоставим слово классику детской литературы Аркадию Гайдару. Вот как кончается повесть «Чук и Гек» (тоже, кстати, переизданная в самое последнее время):

«Это в далекой-далекой Москве, под красной звездой, на Спасской башне звонили золотые кремлевские часы... И, конечно, задумчивый командир бронепоезда, тот, что неутомимо ждал приказа от Ворошилова, чтобы открыться против врагов бой, слышал этот звон тоже. И тогда все люди встали, поздравили друг друга с Новым годом и пожелали всем счастья. Что такое счастье — это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной».

Тема богатства и бедности не то чтобы вообще изъята из подобных произведений. Нет, но она как бы снята с повестки дня, ибо неактуальна: все сюжеты разворачиваются в мире победивших бедняков. Но старый мир не забыт, он существует как напоминание, как отрицательный образец. К примеру, в «Старике Хоттабыче» масса сюжетных казусов вызвана именно тем, что «дремучий» джинн не знает законов советского общества и пионеру Вольке приходится проводить с ним по-

литинформацию. У кого-то из сегодняшних взрослых эта агитация вызовет ироническую улыбку, но сегодняшний ребенок сам оказывается в роли Хоттабыча. Т. е. некоторые дети лишь из этой книги могут получить представление об идеологических основах социализма. А учитывая, что дети к иронии не склонны, хоть и смешливы (взрослые совершают большую ошибку, путая эти два свойства), и что Волька не просто главным, но и очень обаятельный герой, его поучения будут восприняты юным читателем безо всякого скептицизма. Да, собственно говоря, что уж такого плохого в строках типа: «Кому нужны друзья за деньги, слава за деньги? Ты меня просто смешишь, Хоттабыч! Какую славу можно приобрести за деньги, а не честным трудом на благо своей родины?» Или: «Если нашему человеку требуются деньги, он может обратиться в кассу взаимопомощи или занять у товарища. А ростовщик — это ведь кровосос, паразит, мерзкий эксплуататор, вот кто! А эксплуататоров в нашей стране нет и никогда не будет. Баста! Попили нашей крови при капитализме!»

Конечно, может, кому-то больше по душе ссуды под высокие проценты и мафиозное «включение счетчика», но это до поры до времени. Пока собственные дети не сталкиваются с подобными реалиями. Тут апологетика «периода первоначального накопления» быстро сходит на нет и начинаются поиски опытного психолога, который помог бы избежать встречи с органами правопорядка.

— Можно подумать, — возразят нам, — что в западной литературе для малышей богатые непременно показываются с симпатией. Да возьмите хотя бы творчество прекрасной шведской писательницы Астрид Линдгрэн! Что, она поет гимн богатству?

В двух словах тут никак не ответишь, потому что ответ гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

Да, богатые далеко не всегда выглядят в западной литературе симпатягами. Но там и нет нерасторжимого двуединства «зло — богатство», «добро — бедность». Пеппи Длинныйчулок, героиня повести Линдгрэн, добрая и при этом очень богатая девочка — обладательница сундука, битком набитого золотыми монетами. Она отдает излишки, а котятка из «Кошкина дома» или падчерица из «Двенадцати месяцев» делятся последним. Согласитесь, это не очень схожие образы доброты.

И Пеппи, и, если вспомнить М. Твена, принц из «Принца и нищего», и богатые филантропы Диккенса, и множество других подобных персонажей западной литературы — это все варианты частной, «точечной» благотворительности, «гуманистического» варианта. Идея кардинального переустройства мира им и в голову не приходит. Принц, узнавший на своей шкуре, что такое жизнь нищего, вернувшись на трон, не торопится раздать беднякам богатства английской короны, а лишь вознаграждает тех, кто был к нему добр во время его злоключений. Ну, и несколько смягчает участь народа, сделал кое-какие поправки в налогах.

Пеппи, если посмотреть на нее под этим углом зрения, выступает как аналог принца: с одной стороны, проявляет похвальную доброту, покупая бедным детям леденцы, а с другой — не собирается отказываться от сундука с золотом «в пользу бедных», ибо именно он обеспечивает ей свободу. Свободу жить по своему усмотрению и в том числе забавляться властью своего толстого кошелька над продавцами и приказчиками: сначала они относятся к Пеппи презрительно, ведь ее вид вовсе не наводит на мысли о миллионах, но стоит ей вытащить из кармана золотую монету, как те же самые люди начинают перед ней пресмыкаться, буквально ползать на брюхе.

Выходит, что даже в образцах демократической западной литературы, *по сути* дела, поется гимн богатству. Но богатству «с человеческим лицом», что нисколько не отменяет существования бедных. Сегодня Пеппи им купила конфеты, а завтра?

— Ну, конечно! — пошлышится сейчас язвительное возражение. — Лучше забивать детям голову откровенными утопиями. Ведь все, что вы приводите сейчас в пример, типичные утопии. Сегодня это ясно как Божий день!

Да, безусловно. Но, во-первых, утопичны любые сказки, поэтому сам признак утопичности следует вынести за скобки, когда речь идет о детской литературе, которая вся в той или иной мере сказочная, фантазийная. А во-вторых, утопия, она из сферы идеального, т. е. недостижимого в реальной жизни. Существует даже такое клише — «недостижимый идеал». Модель утопии, свойственная той или иной культуре, тоже формирует этические установки народа. И никуда от этого не деться. Точно так же, как не обойтись в воспитании без идеалов. Попробуйте — и вы быстро схватитесь за голову.

— А мы будем читать своим детям только западную, а не совковую литературу, Льюиса Керролла и Клайва Льюиса! — в запальчивости воскликнет оппонент. Очень хорошо, читайте. Только другие тоже воспользуются таким важным завоеванием, как плюрализм. И их дети будут прекрасно знать советскую детскую литературу. И уже знают, благо «Буратино» и «Три толстяка» не сходят с книжных

прилавков. И, сталкиваясь с детьми-«знайками» (которых большинство), ваши дети неизбежно почувствуют себя обделенными. Не верите? Ну, представьте себе в реальности семилетнего ребенка, который не знает, кто такой Буратино (или Чипполино, или Суок). Как на него посмотрят сверстники?

Да и как уберечь? Вот уж поистине утопическая идея! Эта литература настолько въелась в поры всей нашей культуры, что придется исключить массу фильмов, мультфильмов, спектаклей, песен, не водить ребенка на елки, где, в частности, очень популярен карнавальный костюм Буратино. А игрушки? А «одноименный» лимонад? А конфеты «Золотой ключик»? В общем, не очень понятно, как выкрутиться.

Но нашего оппонента не так-то просто сбить с панталыку.

— Ладно,— делает он тактическую уступку,— читать будем, но выборочно, с купурами.

Ну что ж, роль цензора в конце концов естественна для взрослого. Мы всегда что-то даем детям почитать, а что-то нет. Но именно идеологическую цензуру в данном случае осуществить невероятно сложно. Скажем более определенно: нам такая задача представляется невыполнимой. Это все равно что выдернуть из холста поперечные нити с целью смягчить ткань. Вот, например, В. Драгунский. Казалось бы, в его рассказах нет и не может быть никакой «идеологической подкладки». Кого-то, наверное, даже удивило, что мы поставили его в один ряд с Гайдаром и Лагиным. Откроем «Денискины рассказы». Конечно, это не «Школа» и не «Судьба барабанщика». Но... Впрочем, цитаты убедительней:

«Папа покачал головой.

— Ах, вот оно что! Его высокоблагородие фон-барон Кутькин-Путькин не хочет есть молочную лапшу! Ему, наверное, надо подать марципаны на серебряном подносе!

Я сказал:

— Это что такое — марципаны?

— Я не знаю,— сказал папа,— наверное, что-нибудь сладенькое и пахнет одеколоном. Специально для фон-барона Кутькина-Путькина! А ну, давай ешь лапшу!» (рассказ «Арбузный переулочок»).

Это юмор. А вот и лиризм:

«А потом один парень снял пиджак... достал с третьей полки гармошку и заиграл, и спел грустную песню про комсомольца, как он упал на траву, возле ног у коня, и закрыл свои карие очи, и красная кровь стекала на зеленую траву...» (рассказ «Поют колеса тра-та-та»).

А вот и революционный пафос, вплетенный в сюжет, как поперечная нить в продольную. Рассказ «Сражение у Чистой речки». Ребята сидят в кино.

«И в это время откуда ни возьмись появились белые офицеры, их было очень много, и они начали стрелять, и красные стали падать и защищаться, но тех было гораздо больше... И красный пулеметчик стал отстреливаться, но он увидел, что у него очень мало патронов, и заскрипел зубами, и заплакал. Тут все наши ребята страшно зашумели, затопали и засвистели, кто в два пальца, а кто просто так. А у меня прямо защемило сердце, я не выдержал, выхватил свой пистолет и закричал что было сил:

— Первый класс «В»! Огонь!!!

И мы стали палить из всех пистолетов сразу. Мы хотели во что бы то ни стало помочь красным.»

Заметьте, что в юмористическом рассказе нет ни тени ерничества. Напротив, юмор виртуозно сочетается с трагическим, высоким переживанием.

Вы думаете, наш оппонент сдался? О нет, он бьется до последнего, ведь он тоже как-никак воспитывался на книгах Гайдара и Драгунского.

— Ничего страшного! Можно прочитать все эти книги, только надо их по-умному прокомментировать: рассказать детям о зверствах большевиков, о сталинщине, о лагерях.

Верной дорогой идете, товарищи! И у вас уже появились проводники. Например, в новом учебнике русской словесности Е. Н. Басовской читаем: «Когда я училась в школе... революция представлялась нам примерно такой — радостной победой «хороших» над «плохими». Я очень любила и по сей день люблю «Сказку о ветре» — бесподобный романтический детектив, но сегодня мне делается не по себе, когда пришедшие к власти революционеры говорят о трудовом перевоспитании эксплуататоров. Слишком хорошо мы знаем теперь, что представляли собой реальные трудовые лагеря на Колыме или на Соловках...»

Родители могут развить эту тему и наполнить конкретными фактами.

Только пусть они сначала попытаются поставить себя на место ребенка пяти — семи лет. И спрогнозировать реакцию. Но подлинную, с учетом возрастных возможностей, а не запланированную взрослыми.

Как профессионалы в области детской психологии мы можем им в этом помочь.

Вместо ожидаемой реакции осознания у ребенка от рассказов о лагерях могут развиваться патологические страхи — фобии. Если уж они зачастую возникают сейчас от заграничных мультфильмов, то что говорить о «суровой правде жизни», о правде про Соловки и Колыму?! А с другой стороны, подобные рассказы могут вызвать у ребенка охранительную реакцию отторжения. Психика, будучи не в состоянии переварить непосильную информацию, вытеснит ее... И вытеснение это вовсе не безболезненно, не безобидно для тех же самых родителей. Страх порождает агрессию, а она выплескивается прежде всего на близких.

Есть и другой аспект. Маленький ребенок по многим причинам любит сказочный жанр. В частности, и потому, что один из его основных законов — победа добрых сил в финале. А тут вдруг получится, что именно эти добрые силы и совершали в жизни страшные злодеяния. Условно говоря, оружейник Просперо вовсе не благородный защитник и вождь всех «униженных и оскорбленных», а кровавый палач, на совести которого множество невинных жертв. Очаровательный наследник Тутти — да это ж Павлик Морозов, отрекшийся от своих пусть приемных, но родителей... Ряд таких пар легко можно продолжить.

Эти перевертыши настолько «зашкаливают», что восприняты ребенком просто не будут. В лучшем случае память удержит два отдельных образа: один — плохого палача (который, кстати, есть в «Трех толстяках» и выступает, разумеется, на стороне зла), другой — хорошего оружейника Просперо. Как говорится в известном анекдоте, котлеты отдельно, мухи отдельно. Но зато в памяти может остаться другое — попытка родителей разрушить гармонию хрупкого, еще очень уязвимого внутреннего мира ребенка, посягательство на правду, какой она *должна быть*. Должна и потому, что соответствует глубинным установкам нашей культуры, и потому, что изображена — как ни обидно это критикам подобной литературы — удивительно ярко и талантливо. А ведь даже взрослые люди, давно, казалось бы, выросшие из «коротких штанишек», упорно цепляются за дорогие их сердцу мифы и не прощают разрушителей.

Если же все-таки — чего в жизни не бывает? — ваш ребенок окажется в состоянии усвоить эти страшные перевертыши, не спешите радоваться. Игра (а дети подсознательно пытаются превратить страшное в игру), может быть, только началась. И мало ли какое развитие она получит дальше?

— Моя мама днем — мама, а ночью — ведьма, — сообщила нам по секрету одна девочка, чьи родители тоже старались «по-умному комментировать» книжки, которые ей читала бабушка. Вернее, девочка сказала «*ведьма*» — она была еще совсем маленькая.

КНЯЗЬ КУРБСКИЙ КАК ПЕРВЫЙ РУССКИЙ НЕВОЗВРАЩЕНЕЦ

Хоть и принято говорить «чужие дети быстро растут», свои тоже вырастают куда быстрее, чем хотелось бы. Не успеешь глазом моргнуть, а у них уже появляется серьезная социальная роль: ученик. И у государства соответственно появляется куда больше рычагов воздействия на юного гражданина. Семье приходится потесниться, делегируя немалую часть воспитательных полномочий школе. Там ребенок проводит как минимум полдня, он должен подчиняться общим требованиям, слушаться учителя, который нередко становится авторитетом, конкурирующим с родительским. И теперь основные детские книги — учебники, содержание которых школьник волей-неволей должен усвоить, иначе не получит хорошей оценки.

Надеемся, в предыдущей главе мы сумели показать, что в нашей детской литературе — так уж сложилось, и ничего с этим не поделаешь — содержится значительный классовый элемент. А если не бояться повторить учебник марксизма, то можно выразить более определенно: эта литература защищает интересы бедных и проникнута духом классовой борьбы. И то, и другое — ее неотъемлемые характеристики.

Поэтому в связи с глобальными планами переустройства общества перед школой стоит серьезнейшая идеологическая задача. Да-да, именно идеологическая, сколько бы ни твердили специалисты в области философии образования, что школу необходимо как можно быстрее деидеологизировать. Не надо обольщаться. Трудновыговариваемое слово — очередной эвфемизм. Подразумевается-то не только отмена старой идеологии, но и создание новой. И это совершенно естественное желание — никакое общество не может жить (и не живет!) без идеологии. Непонятно даже, почему этого надо так стесняться. Намерение вполне законное. Только осуществимое ли?

Не будем надолго застревать на школьной программе по литературе — она всем так или иначе знакома. Скажем только, что вполне понятный соблазн пересмотреть эту программу, исключить из нее «все устаревшее, утратившее звучание» (а называя вещи своими именами, социально вредное и даже опасное) не может быть удовлетворен. У нас не было другой литературы. Вернее, была: Греч, Булгарин, Боборыкин... По выражению Некрасова, «милорд глупый», которого темный, полуграмотный, пьяньский мужик несет с базара. Сейчас, между прочим, сделана попытка вернуть тот самый базар. Гипотетически можно себе представить, что содержание рыночного лотка с книгами переносится в хрестоматию по литературе. Но в реальности это невозможно. И невозможно по очень простой причине: там нет предмета литературы. Нечего проходить, нечего изучать.

И тут возникает другое искушение: так ловко перестроить школьную программу, сместив акценты, чтобы по возможности смягчить «социальный элемент». Поскольку такая заявка достаточно конкретна и серьезна, она заслуживает и более серьезного рассмотрения. Мы зафиксируемся на программе по литературе потому, что в формировании детского мировоззрения ей традиционно отводится одна из важнейших ролей. Литература дает модели человеческих взаимоотношений, а это неотъемлемая часть воспитания.

В предыдущей главе мы вскользь упомянули учебник Е. Н. Басовской, выпущенный в рамках программы гуманитарного образования в России, спонсором которой выступил известный американский предприниматель и общественный деятель Дж. Сорос. Подобных учебников сейчас расплодилось, как грибов после дождя, но мы остановимся только на одном, ибо он, на наш взгляд, весьма иллюстративен и дает достаточно полное представление о тенденциях в этой области. Тем более что упомянутый учебник победил в трех турах конкурса, в котором участвовало более полутора тысяч авторских коллективов из разных регионов России, и ориентирован — цитируем предисловие — «на ценности отечественной и мировой культуры современного демократического общества». В каком-то смысле это великодушная модель перестройки нашего образования в том ключе, который бы соответствовал интересам нового строя.

При беглом ознакомлении с этой книгой может возникнуть чувство удивительной насыщенности и разнообразия материала. Здесь и «Поэтика» Аристотеля, и Белинский. И оба Гумилева, и Самойлов. И Олеша, и Кривин, и Кукин, и Корнель, и протопоп Аввакум, и Марина Цветаева, и Буало, и Стерн, и Солженицын. И все это для VIII класса, т. е. для детей 12—13 лет!..

Когда проходит первая оторопь, естественно, задаешься вопросом: а может ли восьмиклассник осмыслить за год такое количество литературных произведений? Да хотя бы только прочитать! Совершенно очевидно, что нет. Это вряд ли под силу даже студентам-гуманитариям, а ведь в школе, во-первых, множество других предметов, и, во-вторых, у школьников, выражаясь языком точных наук, разрешающая способность не столь велика. Попросту говоря, не может детская голова всего этого переварить. Больше того, литература, о которой в основном идет речь в этом учебнике, сложна для восприятия, и с детьми нужно обстоятельно разбирать сложный смысл, облеченный в сложную для современного человека форму. Как, собственно, всегда и делалось, когда в школе проходили «Слово о полку Игореве», «Путешествие из Петербурга в Москву», «Бедную Лизу».

Задаешь себе вопрос: а к чему такая смысловая карусель? Неужели автор не знает элементарных законов детской психологии — специфики восприятия, внимания, памяти? Наверяд ли. Думаем, дело в другом. Учебников много, авторы разные, а схема одна. И, естественно, напрашивается вывод о новой педагогической установке. Ее можно сформулировать следующим образом: имея дело с таким социально взрывоопасным материалом, как русская литература, надо максимально запутать картину. Запутать так, чтобы голова закружилась. Как у человека, который играет в жмурки: глаза завязаны, а во тьме раздаются голоса. Только пойдешь направо — тебя окликают слева, делаешь шаг вперед — слышишь голос сзади. И уже хватаешь что попало, кого попало, лишь бы прекратить это хаотическое мельтешение.

На самом деле хаос иллюзорный, ибо карусель вращается вокруг совершенно определенного стержня. «Революция есть Зло» — такова основная идея учебника. Как сейчас говорят — «однозначно». Из этой не слишком оригинальной сверхидеи вытекает противопоставление гражданского долга и — цитируем — «маленького личного счастья в укромном уголке». И каким бы литературным материалом это противопоставление не иллюстрировалось, автор учебника недвусмысленно дает понять, что предпочесть следует второе. Прямо скажем, труд это нелегкий, когда имеешь дело с русской литературой. Конечно, наибольшего заострения вопросы социального неравенства, справедливости и гражданского долга достигли в литературном направлении XIX века, получившем название «критического реализма», но

и произведения предшествующих периодов в очень большой степени проникнуты теми же идеями. Достаточно вспомнить «Слово о полку Игореве», насыщенное яркими патриотическими чувствами; Даниила Заточника с его бесстрашными обличениями сильных мира сего за равнодушие к сирым и убогим; Сумарокова, воспевающего тех, кто заботится не о личном, а об общественном благе; Фонвизина, Карамзина, Державина.

Как же автор учебника выходит из положения? Способы разные, хотя их и не очень много. Первый мы уже упомянули — мозаичность подачи материала, приводящая к дезориентации в интеллектуальном пространстве. Такой прием воздействия на сознание называется «фрагментацией».

Второй прием — это «ложная аналогия». Вот, к примеру, «Слово Даниила Заточника». Голос, долетевший до нас из русского средневековья, и сегодня вызывает острое чувство сострадания, волнует какой-то вневременной подлинностью. «Княже мой, господине!... когда же лежишь на мягкой постели, под соболями одеялами, меня вспомни, под одним платком лежащего, и от стужи оцепеневшего, и каплями дождевыми, как стрелами, до самого сердца пронзаемого».

А вот как пишет о нем Басовская (курсив в цитате наш): «Именно в искусстве *задеть, обидеть* всех и каждого Даниил, видимо, не знал себе равных... Он обрушивает на голову своего господина град упреков, тревожит его совесть, то и дело сбивается с *униженного тона на надменный и издевательский*». Обратите внимание на подбор слов. Мало того, что автор наделяет страдальца множеством отрицательных свойств, но еще и старательно выбирает такие, которые особенно ненавистны детям.

Вы спросите: при чем тут ложная аналогия? Она дана ниже: «Такой оригинальной манерой общения с сильными мира сего, — пишет автор учебника о вышеприведенном отрывке, — Даниил напоминает мне литературного персонажа — героя... К. Г. Паустовского «Золотая роза».

Персонаж этот — старый нищий. Он описан Паустовским так, что вызывает чувство безразличности и неприязни. Причем нищий не просто упоминается. Цитата из «Золотой розы» занимает больше места, чем цитата из произведения Даниила Заточника. А после этой цитаты — чтобы уж не было никаких разночтений! — ставится жирная точка над *и*: «Если тебе захочется узнать, как был *посрамлен страшный* (курсив опять наш. — **И. М., Т. Ш.**) нищий, прочти главу из «Золотой розы». У нас сейчас речь о другом — о человеческом типе, который живет во все века». Ну, как вам такая аналогия? Впору воскликнуть: «Ай да Пушкин! Ай да...» Впрочем, не будем.

Пример этот не единственный. Вспомним уже упомянутого Сумарокова. Приведем строки монолога Ксении, дочери боярина Шуйского:

Блажен на свете тот порфиноносный муж,
Который не теснит свободы наших душ,
Кто пользой общества себя превозвышает
И снисхождением сан царский украшает,
Даря подданным благополучны дни,
Страшатся коего злодеи лишь одни,—

Е.Н. Басовская называет его «не совсем уместным монологом». (Хотя что в нем уж такого неуместного, если он обращен к князю? Вполне естественно, что невеста излагает жениху свой идеал правления, ведь, став княгиней, она будет чувствовать себя в какой-то мере ответственной за деяния мужа.) Ну а чтобы еще больше подчеркнуть нелепость поведения Ксении, автор призывает вспомнить... строки из повести Стругацких «Понедельник начинается в субботу»:

«Шар приземлился, из него вышел пилот в голубом, а на пороге Пантеона появилась... девица в розовом. Они устремились друг к другу и взялись за руки. Я отвел глаза — мне стало неловко».

Безусловно, если смотреть на героев классицизма с позиции сегодняшнего дня, они покажутся одномерными, прямолинейными. Особенно положительные герои, поскольку отрицательные обладают более яркой типажностью. И в советской школе детям говорилось о некоторой бледности и ходульности положительных персонажей эпохи классицизма. Говорилось и о морализаторстве, присущем подобным произведениям. А вот чего не было — так это попытки поставить все с ног на голову. Не говорилось, что единственный персонаж трагедии Сумарокова, вызывающий у читателя сочувствие, — это Димитрий Самозванец, которого автор недвусмысленно изобразил злодеем. И князь Курбский, который, как ни относись к личности Ивана Грозного, безусловно, совершил предательство, перейдя на сторону врага, не преподносился детям как «первый русский невозвращенец». Помните авторский отзыв о Данииле Заточнике? Вот и в пассаже про Курбского подбор слов «на пятер-

ку»: «Шла Ливонская война. Очередное сражение Курбский проиграл. Это окончательно лишало его шансов заслужить царское прощение. И он предпочел *эмигрировать* (выделено нами. — И. М., Т. III.) в Великое княжество литовское — к военным противникам России. Спорный поступок с нравственной точки зрения? Безусловно. Но Курбский не был малодушным человеком, который думает только о спасении своей жизни. Оказавшись в относительной безопасности, направил Ивану Грозному эпистола, больше похожую на обвинительный акт».

Не будем забывать, что жанр учебника весьма далек от жанра литературной эссеистики. Даже самый либеральный учебник по сути авторитарен — такое уж у него назначение. Он призван сообщать ученикам определенные установки: как относиться к произведению, его идеям, героям, автору.

Когда мы уяснили основные принципы «обновления гуманитарного образования в России», нам стало особенно любопытно, как автор управится с Радищевым. Преодолеет ли «сопротивление материала»? Что и говорить, потрудиться пришлось усердно. Были пущены в ход самые разные средства. Не будем останавливаться на уже упомянутых, лучше приведем примеры других.

«Выравнивание». Этот прием манипуляции сознанием заключается в том, что на чем-то важно внимание фиксируется минимально, а чему-то другому уделяется, напротив, непропорционально много места. Что главное в «Путешествии из Петербурга в Москву»? За что автор был сослан в Сибирь? Казалось бы, все ясно. Во-первых, значительная часть книги посвящена описанию тяжелой, унижительной доли простых людей, их страданиям, их бесправию. Причем это не просто бытописание, а страстное обличение несправедливости, произвола, подневольного труда. Но и это еще не все. Радищев не просто кипит благородным негодованием, а пытается, как принято теперь говорить, «найти конструктивное решение». И находит его в революции.

А что же находит читатель в учебнике Басовской? Как вы уже, наверное, догадываетесь, он не найдет там описания встречи с пахарем, который говорит, что у барина «на пашне сто рук для одного рта, а у меня две для семи ртов», ни душераздирающей сцены торговли крепостными в селе Медное (а ведь это и в художественном отношении ярчайшая сцена!), ни рассказа крепостного Ивана, измученного издевательствами господ и воспринявшего рекрутчину как счастливое избавление. Нет здесь и хрестоматийных цитат («Звери алчные, пиявицы ненасытные, что крестьянину мы оставляем? то, чего отнять не можем — воздух»... и прочих аналогичной направленности).

На что же автор не пожалела страниц в главе, посвященной Радищеву? Шесть страниц из одиннадцати занимает биография, из которой школьники могут почерпнуть жизненно необходимые подробности. Ну, например, что Александр Николаевич обучался в Пажеском корпусе по «всеобъемлющему плану академика Миллера, включавшему в себя даже курс сочинения комплиментов», и, представьте себе, очень в этом преуспел. Или что он был членом Аглицкого клуба, а потом «занял перспективное место в Санкт-Петербургской таможне», а «за разработку экспортно-импортного тарифа даже получил бриллиантовый перстень от императрицы Екатерины».

В принципе в столь подробном жизнеописании нет ничего плохого. Если отвлечься от пропорции: шесть страниц на биографию, пять на произведение. И тем более если учесть, что на описание главного — страданий народа — потрачено из этих пяти страниц... чуть более трех строк.

Интересно и обрамление, в котором подаются сии скупые строки. «В главе «Зайцово» рассказывается о том, как крестьяне учинили самосуд над помещиком и его сыновьями». Далее следует краткая цитата из «Путешествия», в которой на два предложения приходится четыре слова, характеризующих жестокость крестьян («убили», «до смерти», «ненавидели», «в убийстве»). Затем спрашивается: можно ли оправдать эту жестокую расправу? «Я уверена, что нет, — опережая ответ читателя, отвечает автор учебника, но все же потом оговаривается: —... была бы уверена, если бы один из персонажей «Путешествия» только что не поведал мне во всех подробностях историю столкновения барина и мужиков». И только потом следуют те самые четыре с хвостиком строки («Помещик и его сыновья изображены злодеями, чудовищами, господин ассессор разоряет, морит голодом и зверски наказывает крепостных, его наследники похищают у жениха крепостную девушку и собираются совершить над ней насилие»...). Ну а за этим в конце пассажа звучит заключительный аккорд: Тоже цитата из Радищева: «...Русский народ очень терпелив и терпит до самой крайности; но когда конец положит своему терпению, то ничто не может его удержать, чтобы не преклонился на жестокость».

Цитата эта, правда, взята из другого места. Сам Радищев заключает рассказ о расправе над помещиком совсем иначе. Крестьянkin, бывший председатель уголовной палаты, говорит: «Невинность убийц для меня, по крайней мере, была матема-

тическая ясность...» На суде он произносит речь, в которой звучат такие слова: «Убийственный крестьянами ассессор нарушил в них право гражданина своим зверством... и крестьяне, убившие зверского ассессора, в законе обвинения не имеют». Когда же суд не пожелал оправдать «невинных убийц», Крестьянкин ушел в отставку.

Об этом в учебнике ни ползвуха! Как, впрочем, и о том, что многие истории, описанные в «Путешествии», подлинны, документальны. Дело в том, что Радищев некоторое время служил протоколистом в Сенате и в его департаменте производился разбор челобитных, поступавших от частных лиц. И об этом важнейшем факте в такой пространной биографии тоже не сказано ничего. Зачем? Это ведь пустяк по сравнению с членством в Английском клубе.

При разборе главы «Зайцово» применяется еще один психотехнический прием. Его принято называть «приемом противопоставления». Он направлен на создание контраста читателя или зрителя. Для этого комментатор старательно подчеркивает точку зрения, противоположную точке зрения автора. Е. Н. Басовская прибегает к этому приему очень часто. Помимо всего прочего, это сообщает книге не свойственный нашим учебным пособиям оттенок задушевности, разговорности — того, что, в свою очередь, располагает к ответному доверию. «Когда я перечитываю «Путешествие из Петербурга в Москву», то не могу отделаться от неприятного ощущения: Радищеву удастся убедить меня... Нет, я не хочу соглашаться с Александром Николаевичем Радищевым, но я вынуждена признать его частичную правоту... Когда-то в советской школе 70-х гг. меня учили: Радищев призывает к революции. У нас тогда все писатели только тем и занимались, что к чему-нибудь призывали».

О всех прочих писателях сейчас говорить не будем. А что касается Радищева... Беда в том, что он действительно призывал к революции. И призывал: «...Прострите на... общественного злодея ваше человеколюбивое мщение. Сокрушите орудия его земледелия, сожгите его риги, овины, житницы и развейте пепл по нивам...»

Ликуйте, склепанны народы,
Се право мщения природы
На плаху возвело царя...

Да, тут уж «фрагментацией» и «противопоставлением» не отделаешься. И тогда идет в ход тяжелая артиллерия. Скажем, берется такой отрывок: «Вольные люди, ничего не преступившие, в оковах, продаются, как скоты!.. О! если бы рабы... разбили железом, вольности их препятствующим, и кровию нашей обогрили нивы свои! что бы тем потеряло государство? Скоро бы из среды их исторгнулись великие мужи для заступления избитого племени, но были бы они других о себе мыслей и права угнетения лишены». Ну, что тут поделывать? Как эти слова истолковать на другой, «правильный» лад? Оказывается, ничего сложного, если немного поработать с текстом: стоит убрать вопросительный знак после слов «что бы тем потеряло государство», поставить вместо него многоточие и опустить последнюю фразу, как мы получим совсем иную, прямо-таки апокалиптическую интонацию. Дескать, невосполнимая утрата. И вообще все пойдет прахом. Улавливаете разницу? У картежников это называется «передергивать».

Или вот такой пассаж: «Подтвердилось и еще одно предсказание, которое обычно остается незамеченным при торопливом чтении «Путешествия»: «Дошед до краев возможности, вольномыслие возвратится вспять». Исторический опыт нескольких стран, в том числе и России, показал, что именно революции порождают самых страшных тиранов».

А теперь откроем и неторопливо прочтем Радищева. Да, цитата на сей раз приведена точно. Вот только речь идет не о революции и тиранах, а о религии и суевериях, о разрушении религиозных норм и замене их схоластикой. И опять нам вспоминается Пушкин. Вернее, его «великое революционное предсказание»: «Октябрь уж наступил...»

Примеры можно множить и множить, но, думаем, мы достаточно наглядно продемонстрировали важнейшую тенденцию нашего «обновленного образования». Фактически вся эта глава — сплошная иллюстрация. Однако мы решили не жалеть на это места, поскольку, как нам кажется, взрослые люди должны знать, что именно вкладывают сейчас в детские головы и души.

Ну а о том, как это может повлиять на психику, на отношения между людьми и, соответственно, на атмосферу в обществе, мы поговорим в следующих главах.

«ЧУМАЗЫЙ РЕБЕНОК»

Как ни грустно это сознавать, но, увы, нет такого замысла, на который бы не нашлось исполнителя. А если исполнитель еще и ретив...

На одной педагогической конференции нам довелось познакомиться с молодым директором частного лица. Много мы слышали за последнее время всякого разного, но даже на этом фоне беседа с ним нас весьма впечатлила. Со свойственным его возрасту максимализмом он решил вопрос преподавания литературы в школе радикально.

— Мы вообще отказались от преподавания литературы и заменили ее литературоведением, — сообщил директор.

В ходе дальнейшей беседы выяснилось, что под литературоведением понимается исключительно разбор художественных особенностей произведения: анализ метафор, эпитетов, языковых пластов и проч. и проч.

Выяснилось, правда, и то, что недавно лицей вынужден был отказаться от столь жесткого подхода.

— Некоторые папаши и мамы выражали недовольство, — пожаловался директор. — Видите ли, дети не знают содержания произведений! Можно подумать, для современной жизни это актуально...

Дальше прозвучала еще одна претензия. Теперь уже в адрес учителей:

— Учителя в нашей стране нормально найти — это большая проблема. Уж, казалось бы, делай что хочешь! И деньги я приличные плачу, и детей по пять — восемь в классе... Только работой. Так нет же! Совковым учителям обязательно надо о смысле жизни с детьми разговаривать, о высоких материях. А нормально преподавать предмет им неинтересно. За год четвертых словесников сменил, представляете? Вот сейчас опять нового ищу.

Честно говоря, слушать эти откровения было не только любопытно, но и радостно. Радостно, потому что до сих пор не все покупается за деньги. Даже при такой нужде, какую терпят сейчас наши педагоги, они не спешат отказаться от основ своей профессии. Ведь вопрос о смысле жизни — это главный вопрос литературы. И не только литературы, но и обществоведения, истории, философии, социологии и т. п. И как можно, преподавая эти предметы, обойти его молчанием? Ох, долго незадачливый директор будет искать «чистых предметников»!.. Или это мы незадачливые и не понимаем, что параллельно с выпуском новых учебников куются новые кадры и проходят переподготовку старые? И вообще жизнь заставит, голод не тетка...

Можно, конечно, создать такую безработицу, что учителя будут на черное говорить белое и в рассказе «Муму» обращать внимание учеников главным образом на звукоподражательный характер заголовка.

Но представляете, как им будет тошно? С каким презрением к себе это будет связано? И как это презрение к себе отзовется ненавистью к тем, кто их вынудил постоянно лгать? И до какого градуса дойдет эта ненависть, поскольку будет тайной?

Внутренний конфликт учителей будет куда драматичнее, чем у партийных боссов. И вовсе не потому, что им придется лгать не во имя престижных благ, а только чтобы с грехом пополам прокормиться. (Это-то как раз могло бы послужить некоторым оправданием: дескать, «не корысти ради, а токмо волею посланшей мя жены», как говаривал незабвенный отец Федор.) Тут дело в другом. Партийные начальники нарушали моральные нормы, что называется, «в индивидуальном порядке»: призывали к добру, правде и справедливости, а поступать могли несправедливо и зло. Иначе говоря, их поведение не соответствовало провозглашаемому идеалам. Учителя же, умолчав о главном — самих идеалах, — косвенно посягнули на них и тем самым предадут основы нашей культуры, а это более страшное испытание для совести. К тому же не надо забывать, что учителями по большей части становятся люди с благородными помыслами, для которых карьерные соображения не приоритетны. Функционеры и в этом смысле были в более выигрышной ситуации, т. к. это люди другой породы. Честолюбивый, конкурентный характер не слишком совместим с обостренной совестью.

Кроме того, функционеры занимали весьма высокое положение в общественной иерархии (т. е. не зазря страдали, с их точки зрения). Учителя же и тут безнадежно проигрывают, ибо в результате социального расслоения будут находиться да и уже находятся на одной из низших ступенек иерархической лестницы. Зарплату им в десятки раз не увеличат, многочисленные льготы, которыми пользовались и пользуются чиновники, тоже никто не даст. А что еще определяет социальную высоту? Только одно: почет и уважение общества. А чем это завоевывалось в нашем культурном пространстве? Именно тем, о чем с таким раздражением говорил директор частного лица. Учителя стремились быть не чистыми предметниками, а именно

«учителями жизни». И жизнь ими понималась не просто как совокупность биологических функций, а напряженный путь вверх. Не к Богу, ибо советская школа была атеистической, но к нравственно-культурным вершинам. В свете этого важнейшей функцией учителя было развитие «нравственного прямостояния» учеников.

Если же учитель откажется от этой функции, станет «профи», если он, скажем, не будет учить детей сострадать крепостному Герасиму и призывать возмущаться бессердечием его хозяйки — ну что ж, такой педагог перейдет в категорию обслуги. А что? Одни стригут, другие подают, третьи детишек по разным предметам натаскивают.

Сдав идеологические позиции, учителя окажутся неконкурентоспособными в борьбе за место под солнцем. Их единственным козырем будет объем знаний, объемом информации по предмету. Но и этот козырь в очень недалеком будущем отберет у них компьютер. Собственно, так уже и происходит. Множатся обучающие компьютерные программы, и уже идут разговоры о том, что достаточно скоро дети смогут обучаться, не выходя из дому и общаясь только с «умным ящиком».

Директора упомянутого лица такая перспектива, конечно, обрадует. Но обрадуются ли педагоги?

Впрочем, мы думаем, что столь радикальный подход не имеет в нашей стране серьезного будущего. Гораздо важнее (и сложнее) поговорить о тех учителях, которые стараются отгородиться от темы социального неравенства и классовой борьбы не из конъюнктурных соображений, а искренне. О тех, кто по-прежнему хочет «сеять разумное, доброе, вечное», но, не приемля «октябрьского переворота» и считая все происходившее после него трагической ошибкой, стремится заменить пагубную идею справедливости, которая завела страну в тупик, благородной и перспективной идеей свободы.

И тут мы ступаем даже не на скользкую, а скорее на заминированную тропу. Дело в том, что для русского менталитета обе эти идеи не просто важны, а сверхценны. Обе они входят в культурное ядро. Да-да, несмотря на расхожие сентенции о «стране рабов» и о «рабской психологии», свобода в России — одна из главнейших ценностей. Но тут такая же история, как и с понятием собственности: европейская матрица не накладывается на русские представления о свободе. И поэтому, если стоять на позициях евроцентризма, может показаться, что русским вкус свободы неведом, недоступен и неугоден одновременно.

И тем не менее вся русская история и культура проникнуты стремлением к свободе. Что такое собиранье земель при Иване Калите, как не стремление освободиться от междуусобной распри? Разве не освобождение русской земли от «полчищ поганых» — главная тема «Слова о полку Игореве»? А тема воли, так часто и так пронзительно звучащая в русском фольклоре? И то, что после татаро-монгольского ига вот уже полтысячелетия никто не смог завоевать нашу страну, хотя не раз пытались? Как это увязать с рабской психологией? (Между прочим, ни одна европейская страна, кроме Англии, не может похвастаться такой длительной, пятивековой, независимостью.)

По мере укрепления государственности соответственно уменьшалось субъективное чувство опасности, исходящей от внешних врагов. И акценты постепенно смещались в сторону свободы внутригосударственной, которая тесно переплеталась с понятием социальной справедливости. Освобождение крестьян, уничтожение сословных перегородок, отказ от ущемления гражданских прав иноверцев, отмена эксплуатации, свобода слова, понимавшаяся прежде всего как возможность свободно критиковать власть, — вот основной, но далеко не полный перечень вопросов, которые волновали русское общество XIX — начала XX в.

— Да, но в чем же тут различия с западными представлениями? — спросите вы. — Там решали те же самые вопросы, разве что намного раньше.

Где раньше, а где и позже. В США рабство было уничтожено на четыре года позже, чем у нас крепостное право, а расовые барьеры существовали до 70-х годов нашего (!) века. Но речь сейчас не о том.

Различия есть. И не в частности, а в самой сути. В западных представлениях о свободе во главу угла поставлена свобода отдельного человека. Т. е. частная жизнь является важнейшей ценностью. Образно говоря, на Западе, в этом открытом мире, «железный занавес» висит на окне каждого дома, каждой квартиры. И это воспринимается как благо и как священное право.

Сказать, что в России отдельный человек и частная жизнь не имеют никакой ценности — значит, либо ничего не понимать, либо безбожно лгать. Все социологические опросы показывают огромную важность семьи для наших людей. И это даже сейчас, при такой ужасающей статистике разводов! Довольно наивно полагать, что в 30-е, 40-е, 50-е гг., когда семьи были крепче и разводы реже, частная жизнь не имела ценности. Конечно, имела, поэтому-то многими так болезненно воспринималось вмешательство в нее: проработки на собраниях, жалобы об изменах мужа в

партком и т. п. А богатейшая, на любой вкус лирическая поэзия — от Асадова до Пастернака — это что, свидетельство равнодушия к частной жизни? А то, что наши дети чуть ли не с пеленок начинают думать о том, кем они станут, когда вырастут, причем думать, исходя именно из личных пристрастий и склонностей? Другое дело, что свободой отдельного человека и его частной жизнью русские представления о свободе не исчерпываются. Скажем определеннее: частная жизнь при всей своей важности не ставится во главу угла. Больше того, люди, провозглашающие ее безоговорочный приоритет, русской культурой столь же безоговорочно (а часто с перехлестом) порицаются. Их называют мещанами, обывателями, эгоистами, индивидуалистами (все эти слова имеют в русском языке ярко выраженный отрицательный оттенок). А с какой неприязнью про таких говорят: «Моя хата с краю, ничего не знаю!» (Сравните с совершенно нейтральным английским эквивалентом «It's not my business» — «Это не мое дело», «I have nothing to do with it» — «Я не имею к этому никакого отношения».) Вот почему такими жалкими и смешными выглядят современные потуги реабилитировать эти слова. Например, идея назвать мужской журнал «Обыватель». Или когда интеллигентные люди с каким-то надрывным пафосом называют себя мещанами, как бы бросая вызов обществу, а при этом совершенно очевидно, что движимы они идейными соображениями — дескать, пора вернуть очерченному большевиками понятию его исконный смысл. И это безумно комично, ведь мещанам, в каком значении это слово ни употребляй, свойственна приземленность, а не идеализм и уж тем более не идейная горячка. Да и с обществом они в противоречие не вступают.

Нам кажется, в коллективном бессознательном русского народа заложено представление о свободе как о личном благе, напрямую увязанном с благом всеобщим — с идеей всеобщей справедливости. В России, как ни старайся, не получается отгородиться «железным занавесом» на окне. Это не дает ощущения психологического комфорта, ибо свобода здесь предполагает и чистую совесть, свободную от угрызений.

Какая, собственно говоря, основная претензия людей к советской власти? Что привело в свое время очень многих под знамена демократов? Что вменяется в вину КПСС? А то, что ее вожди нарушали принцип справедливости: обещали одно — делали другое, провозглашали равенство, а сами пользовались множеством привилегий, декларировали свободу и при этом очень во многом ее ограничивали.

Но больше всего чувство справедливости было оскорблено тем, что в тюрьмы и лагеря были посажены невинные люди. Настолько оскорблено, что совсем недавняя, близкая история стремительно трансформировалась в исторический миф. И теперь уже все, сидевшие в лагерях и тюрьмах, воспринимаются как невинные жертвы. (Хотя ясно, что такого не бывает. Это, как утверждать, что все, кто сидит сейчас, сидят за дело.)

В перестройку у многих людей возник соблазн отказаться от идеала справедливости, который был так дискредитирован реальной жизнью, что уже и сама его идеальная суть стала вызывать сомнение. Помните анекдот про цыгана, который смотрит на своего чумазого ребенка и думает: «Что легче? Этого отмыть или нового сделать?»

Но история продолжается, и порой возникает впечатление, что она решила преподнести нам всем, как нерадивым ученикам, наглядный урок: поставила перед нами гигантские веса и все подкладывает, подкладывает гири... На одной чаше весов свобода слова и печати, демократические выборы, возможность увидеть мир и затеять свое дело, купить то, что ты хочешь, без очереди.

Все это замечательно. Кто же спорит? Но как быть с тем, что другая чаша — чаша издержек свободы — стремительно тяжелеет? Как быть сельскому учителю, который, увидев зимой полупустой класс, понимает, что дети отсутствуют не по болезни, а потому, что у них нет теплых вещей и не в чем прийти в школу? (Это настолько уже распространенное явление, что даже обсуждается в Государственной Думе.) Сказать, что дети свободны в своем выборе ходить или не ходить в школу и что надо потерпеть лет тридцать, пока все встанет на свои места? А что сказать про миллион беспризорников? Что это как-нибудь рассосется? А про растущее число заболеваний детским туберкулезом? Что как-нибудь вылечатся? А про сто тысяч погибших за полтора года в чеченской войне? Что в Афганистане тоже погибли и вообще, мол, все происходящее — это расплата за революцию, сталинские репрессии и брежневский застой? А если вдруг какой-нибудь шустрый ученик спросит: почему, собственно, расплачиваться должны потомки тех, кто гнил в лагерях, голодал в деревне и надрывал здоровье на великих стройках? Что же ответить ему? Что он свободен выйти из класса? И, спокойно приступив к разбору «Муму», зафиксировать внимание учащихся на защите прав домашних животных? Но ведь мы с самого начала подчеркнули, что будем говорить не о циниках и конъюнктурщиках, а о людях, которые искренне восприняли призывы к гуманизации образования. Они-то

очень быстро поймут (и уже понимают), что уход от социальных проблем в столь острой социальной ситуации прежде всего негуманен. Чем раньше мы признаем, что для России разрыв свободы и справедливости — это как разрыв сердца, тем будет лучше для всех. Отмывать «чумазого ребенка» все равно придется. И потому, что другого Бог не дал, и потому, что на самом деле только этот нам по-настоящему дорог.

РОЖДЕСТВО ДЛЯ БЕДНЫХ ДЕТЕЙ

Недавно в одной из газет нам дали несколько читательских писем. Дали, не особенно выбирая, — такого там сейчас очень много. Письма из разных областей: из Амурской, Волгоградской, Брянской, Пензенской, Нижегородской, Владимирской. В общем, со всей России.

«Зарплату нам не выдают вообще уже года два. Как же нам детей-то отправить в школу? Наступает зима, морозы. Как нам их одеть, не получая денег?»

«В школе дети с полвосьмого до трех и все это время без обеда. Денег на столовую у нас нет. Мы просили хотя бы напоить их горячим чаем. Но все ссылаются друг на друга, и никто ничего делать не хочет. Раньше и дети учились лучше, а сейчас дети голодные и сбегают с уроков. Кому учеба пойдет впрок на голодный желудок?»

«Я сама инвалид первой группы. Пенсии хватает на маргарин и жир, даже на хлеб не остается, а у меня трое маленьких детей».

«Я работаю в совхозе телятницей, имею четырех детей. Зарплата очень маленькая (из приложенной к письму справки явствует, что за весь 1995 год женщина получила 1 млн. 900 тыс. рублей, т. е. меньше 200 тыс. в месяц. Муж у нее в заключении. — Прим. авторов), и мне на один хлеб на пять человек никак не хватает, не говоря о других продуктах... Нет больше сил никаких. Часто в газетах пишут, что дети кончают самоубийством от голода. Как бы эта беда не пришла в мою семью».

«Мне 43 года, имею 5 детей. Заболела в 1989 году, туберкулез легких. Живем без хлеба, без сахара, детям купить невозможно ничего. Сейчас зима, нужно детям учиться, так они ходят по очереди, т. к. сапоги теплые одни на троих... Хотела однажды отравиться, но муж не дал, пришел с работы вовремя. Он получает 30 тыс. (в 1996 году! — Прим. авт.) — это такие заработки у нас в колхозе».

«Картошки осталось 10 ведер, больше нет ничего, мясо все приели. Я уж в церковь ходила просить, чтоб на работу взяла хоть полы мыть, чтоб вот за те куски, что люди в церковь приносят. Но, увы, и там нет работы. Батюшка говорит: «Молись...» Я никогда не думала, что так жить будем. Вермишель раньше мешками стояла, конфеты, печенье всегда, а теперь нет ничего. Ребятишки ревут, и я с ними. Комиссия приезжала, и дали им конфет, так они накупились, словно век не видели. Господи, неужели ничего не изменится?»

Конечно, эти письма свидетельствуют о крайних проявлениях бедности. Массовой нищеты, слава Богу, пока нет. Но просто бедных, обедневших по сравнению со своей прежней жизнью людей очень и очень много. Хлеб и сахар они купить могут. А вот подписаться на привычный журнал, купить диван или поставить коронки — стало для них недоступным. Нам кажется, имеет смысл представить себе, как может «обновление гуманитарного образования» повлиять на детей из таких семей. Еще раз напомним: мы имеем в виду уход от социальных проблем, замалчивание темы социальной несправедливости и фиксацию на благе личной свободы. Каково будет ребенку жить в двух измерениях: реальность будет сообщать ему одно, а учебник и учитель — другое?

Для сравнения обратимся к пока еще недалекому прошлому, в котором тоже, хоть и не в таком количестве, были дети из малообеспеченных семей. Безусловно, жизнь у них была несладкой и им, как и сегодняшним бедным детям, были свойственны мечты о дорогих игрушках, вкусной еде, модной одежде, отдыхе у Черного моря, зависть к тем, у кого все это есть. Но что им при этом сообщалось в школе (да и не только в школе)? Какой образ мира формировали у них, в частности, учебники по гуманитарным предметам?

Возьмем для примера «Родную речь» и перечислим лишь некоторые темы произведений, читавшихся во 2-м классе. Защита слабых, взаимопомощь, осуждение равнодушия, народ как монолитная сила, которая и кормит, и ограждает от зла, армия, которая не даст в обиду своих граждан и в особенности детей, Родина-мать. В данном случае не важно, сколько в этом было правды, а сколько ложного пафоса. Важно другое: у детей создавалась защитная аура и возникло чувство, что общество не даст им пропасть. Иными словами, у ребенка было множество внешних психологических опор.

Что мы имеем сейчас? На что может опереться ребенок в новой реальности, которая, как теперь модно говорить, «центрирована» на личной свободе? Если он из бедной семьи, то исключительно на самого себя. Следовательно, опора у него только одна и притом внутренняя. Но реальное желание попробовать свои силы, а затем и опереться на них возникает у людей гораздо позже — в юности. Даже для подростков это в основном демонстрация, а окажись они полностью предоставлены самим себе, без поддержки взрослых — и угроза психического срыва практически неизбежна.

Ребенок же при опоре только на свои силы не может нормально развиваться. Не может по одной простой причине: этих сил еще слишком мало. Их надо накопить. А если весь интеллектуально-психологический ресурс будет уходить на самохранение, что тогда останется на развитие?

А какие чувства постепенно поселятся в душе такого ребенка? Прежде всего чувство оставленности, растерянности, обиды, страха. Потом очень скоро придут озлобленность, агрессия, цинизм. Это тоже своеобразное накопление ресурса. Только ресурса отрицательного, ведущего к психическим искажениям. Показательно, что среди детей, просящих милостыню (т. е. рассчитывающих исключительно на свои силы), лишь шесть процентов могут быть признаны психически нормальными. Это данные XII психиатрического конгресса, состоявшегося в ноябре 1995 г. (Мы, честно говоря, полагаем, что и эта цифра завышена.) На том же конгрессе приводились данные и по более благополучным категориям детей. Например, по тем, которые в отличие от нищих ходят в школу. Статистика тоже неутешительная. 70 — 80 процентов школьников страдают теми или другими нервно-психическими расстройствами, причем наблюдается выраженная тенденция роста неврозов, психозов и прочих подобных заболеваний.

Какова могла бы быть роль учителя в «предлагаемых обстоятельствах»? Он мог бы сыграть амортизирующую, а следовательно, стабилизирующую роль. Но для этого надо остаться русским интеллигентом, т. е. восставать против несправедливости. И тогда хотя бы одна, но очень важная внешняя опора у ребенка из бедной семьи будет. В «России, которую мы потеряли», дело именно так и обстояло. На стороне обездоленных была вся русская классика, а учитель, насколько мог, служил ее проводником.

Если же разговор о бедности, о социальном неравенстве и, главное, возмущение этим неравенством будут в школе табуироваться, если ребенку дадут понять, что *про это* не говорят (благо тема секса растабуирована, и «святое место» пусто), то у него появится дополнительный и очень сильный источник невротизации.

И расчет, что у нас будет как на Западе — дескать, ребенок, усвоив с детства, что бедность — это «его проблемы», будет лишь активнее пробиваться наверх, — подобный расчет представляет собой очередную химеру. Мы склонны считать вслед за рядом крупных философов и культурологов, что конкурентность не есть доминирующая черта русского характера. А наша работа с детьми-невротиками многократно убеждала нас в том, что жизнь в соревновательном режиме для их психики просто губительна. К таким детям неприменима мысль, что самый простой путь — это путь прямой. Поясним на примерах. Казалось бы, чего проще: ответить, как тебя зовут? Но это для ребенка с устойчивой психикой. А нервный ребенок может дать самую парадоксальную реакцию: закрыть лицо, спрятаться за спину матери или под стол, зарыдать и выбежать из комнаты. Т. е., вроде бы страшась людского внимания, он своим поведением как раз это внимание привлечет. Или, предположим, уроки. Сколько мы видели детей, которые способны все сделать за полчаса, но тратят на это целый вечер, лишая себя прогулки, телевизора, доводя до иступления родителей!

Так что не надо строить иллюзий: большинство детей из числа малообеспеченных будут психологически неспособны на длительный, упорный труд и довольствование малым в сочетании с предпримчивостью и гибкостью — а этот комплекс как раз и необходим в рыночных условиях для достижения «маленького личного счастья в укромном уголке», к которому призывают авторы новых гуманитарных учебников. Тем более что «укромный уголок», во-первых, нынче недешев, а во-вторых, современные установки, реклама и проч. формируют как идеал образы, ассоциирующиеся вовсе не со скромным достатком, а, по выражению О. Мандельштама, с «бандитским шиком». Социологи, занимающиеся проблемами молодежи, уже отмечают огромный разрыв между реальными возможностями молодых людей и уровнем их притязаний, и этот разрыв с ростом социального расслоения будет только увеличиваться.

Поэтому разумнее представить себе реальную судьбу множества сегодняшних детей. Самые слабые постараются уйти от реальности. В алкоголизм, наркоманию, бродяжничество. С соответствующим качеством труда и потомства.

Более шустрые и честолюбивые будут всеми способами завоевывать себе «место под солнцем». Но опять-таки не честным трудом и пуританским образом жизни! Портрет советского карьериста памятен, наверное, многим. И вряд ли у кого-то (и уж тем более у людей, лично столкнувшихся с подобными персонажами) вызывает симпатию. Но декларируемые тогда установки — честность, взаимопомощь, презрение к подлости — хотя бы отчасти сдерживали карьерный раж. Нынешние же установки не только не противовес, а, можно сказать, попутный ветер для карьериста. Лицемерие, эгоизм, продажность, способность на любой подлог — эти и многие другие столь же «приятные» качества расцветут (и уже расцветают) пышным цветом. Каково будет работать с такими людьми, общаться, заводить семью?

Весьма реально и то, что традиционно называется кривой дорожкой, — уход в криминальный мир. И сегодняшняя-то статистика выглядит угрожающе. С 1987-го по 1995 г. уровень общей преступности увеличился более чем в два раза, убийства выросли в четыре, а грабежи и разбои — более чем в шесть раз. Мы берем на себя смелость утверждать, что уход от социальных проблем в школьном образовании не смягчит, а значительно усугубит эту картину. Вы спросите: какая связь? Самая непосредственная. Учитель, отгораживающийся от борьбы с несправедливостью, в условиях русской культуры автоматически выбывает из списка порядочных людей. И соответственно утрачивает право и возможность влиять на ребенка, перестает быть авторитетом. А у детей и подростков, тяготеющих к криминальной среде, потребность в авторитете гораздо выше, чем у детей обычных. (Кто не верит, пусть перечитает хотя бы «Педагогическую поэму» А. Макаренко.) Бедные и нередко спившиеся родители — какой это авторитет для мальчиков, жаждущих яркой, полной остроты и сильных впечатлений жизни? И тут совершенно естественно актуализируются криминальные авторитеты, которые, кстати, с готовностью предоставляют ребенку и внешние опоры. Ведь мафия — уродливая замена модели традиционного общества с его патернализмом, семейными связями. Недаром там приняты клише «семьи», «кланы», «крестный отец», «братва».

Еще раз подчеркнем, что по трем описанным нами путям пойдут не жалкая горстка людей, а большие социальные группы. И, понятное дело, это не будет способствовать оздоровлению общества. Уже сейчас профессионалы отмечают рост депрессий, агрессивности (в детской среде до 40 процентов), неудовлетворенности качеством жизни. А психический дискомфорт ведет к ухудшению здоровья и прежде всего к развитию сердечно-сосудистых, онкологических, легочных заболеваний (что четко прослеживается и по статистике последних лет).

Общество не может вечно находиться в состоянии депрессии. И часть молодежи в поисках выхода, отвечающего ее архетипическим культурным представлениям о нравственной полноценности, сама почитает русскую классику. Почитает внимательно, с упором на смысл, соотносит прочитанное с личным опытом и личными переживаниями. (На то она и классика, чтобы каждое поколение находило в ней мотивы, созвучные современности.) Бедные дети на рубеже третьего тысячелетия совсем не так, как их родители, прочитают и Короленко, и Тургенева, и Некрасова, и Куприна, и Радищеву, и многих-многих других писателей. Вот тут-то и будут обретены те самые опоры, которые вовремя не дала им жизнь. Но это будут уже не просто опоры, а нечто динамичное, заряженное и заряжающее энергией. (В технике есть даже специальный термин — «активная опора».) Так всегда бывает, когда человек долго чего-то жаждал и наконец получил. Через головы тех, у кого повернулся язык сказать маленькому человеку: «Это твои проблемы», молодым людям протянут руки настоящие Учителя. И скажут: «Нет никаких твоих проблем, а есть наша общая боль, общий позор. И общее дело».

Мы хотели на этом закончить, а потом вспомнили один эпизод. Дело было под Рождество. Нас пригласили на представление, которое показывали приехавшие в столицу провинциальные школьники. И все вроде бы было прекрасно: о детях позаботились, их приобщили к культуре, устроили им праздник, привезли в столицу. Словом, все было, как раньше, только показывали они уже не литературно-художественный монтаж со стихами Барто и Михалкова, а Рождественский вертеп. Тоненькие детские голоса славили Рождение младенца Христа, и растроганные зрительницы поспешно доставали из сумочек носовые платки. Но нам что-то мешало испытать запрограммированное умиление. И скоро мы поняли, что именно. Когда мы шли к подвалчику, где все это происходило, подъезд к дому был забаррикадирован иномарками. Это была одна реальность. А когда в зале погас свет, софиты высветили другую реальность: худые и бледные лица детей, ноги, напоминавшие макаронины. Педагоги искренне считали, что они внесли свой скромный вклад в возрождение России, а мы и теперь уверены, что, *по сути* (конечно, не желая того), они предали детей, ибо признали, что жизнь, в которой соседствуют две такие реальности, незбылема. Признали, что *каждому свое*, и в этой ситуации учили детей покорности.

НОВАЯ РУССКАЯ КАСТАЛИЯ

Вы заметили, что слово «элита» звучит сегодня все чаще и уверенней? По расхожести оно уже вполне сопоставимо со словом «демократия». Более того, если к любимым словосочетаниям политологов типа «правящая элита», «властная элита», «региональные элиты», «борьба элит» еще можно худо-бедно подобрать «демократические» аналоги, то в сферах, далеких от политики, рейтинг элитарности куда выше. Попробуй скажи: «демократическая мебель», «демократические сорта кабачков», «демократические дома, меха, отдых... *образование*»...

Показательно и заметное смещение смыслового акцента. Если раньше слова «элитный», «элитарный» обозначали «лучший», то сегодня это прежде всего значит «для избранных», т. е. для богатых. (Правда, кабачков это не коснулось. Даже самые элитные сорта могут стать достоянием широких масс.)

Так что, слыша теперь про элитарное образование и элитарные лицеи, наши сограждане уже понимают, что речь идет не столько о качестве образования, сколько о социальном составе учащихся. И спрашивают обычно, не чему там учат, а сколько это стоит.

Мы же поинтересовались первым. И узнали, что именно такие школы в первую очередь поспешили воспользоваться новыми гуманитарными учебниками. И это совершенно естественно. Идеология подобных учебников по сути элитарна. Это и есть идеология нарождающегося в России нового правящего класса. Вот кому новое образование призвано обеспечить психические опоры.

— Ну и хорошо! — скажут нам. — Пусть хоть кто-то выиграет в этой жизни. Пусть хоть кому-то перепадет. Хоть кто-то вырастет нормальным человеком. А там, глядишь, элитарная идеология окрепнет, наберет силу и получит достаточное количество приверженцев.

И действительно, если в случае с бедными детьми максимальное заглушение темы социальной несправедливости, так волновавшей умы русской дореволюционной интеллигенции, безоговорочное осуждение восстаний и революций, повышенное внимание к теме отдельной личности, упор на индивидуальное счастье — все это идет вразрез с их истинными интересами, то интересам богатых детей это соответствует идеально.

Все вроде бы логично, но не будем забывать, что существует понятие бредовой логики. Например, шизофреники могут рассуждать в высшей степени логично, но если спуститься по ступенькам их умозаключений вниз, к базовой, исходной посылке, то окажется, что в основании стройной системы лежат фантом, миф, мираж.

Поэтому нам кажется бесполезным пройти несколько ступенек вниз и посмотреть, на каком же *реальном* основании будет покоиться предполагаемая идиллия.

Конечно, для создания психологического комфорта лучше всего было бы воспитывать богатых детей совершенно изолированно от мира бедных. Но это, увы, недостижимо, ибо даже из окна «мерседеса» ребенок может увидеть нищих с протянутой рукой, а также подбежавшего к «мерседесу» мальчишку с тряпкой для протирки стекол. И живут богатые и бедные пока что вперемешку, а не в разных районах. (Порой даже в одних и тех же домах.) Да и по телевизору то объявят про голодовку обнищавших шахтеров, то про забастовку не менее обнищавших учителей и врачей. В общем, проблему бедности не обойти никак, и приходится волей-неволей что-то ребенку объяснять. И не просто объяснять, а формировать правильное (по мнению богатых родителей) отношение.

Собственно говоря, мы об этом уже писали и даже вкратце рассмотрели три варианта бытующих установок. Теперь мы остановимся на них подробнее и рассмотрим возможное влияние этих установок на психику элитарного ребенка. А также возьмем на себя смелость сделать какие-то прогнозы.

«Антагонистический» вариант («бедные сами виноваты, потому что лентяи и пьяницы»), по сути, дает установку на презрительное отношение к неимущим. Но презрение, если можно так выразиться, не детское чувство. Нормальный ребенок по природе не высокомерен. И это даже биологически оправдано, потому что высокомерие резко сужает круг интересов и общения, а значит, и познания мира. Нельзя быть одновременно высокомерным и пытливым. Кроме того, классовое презрение в демократическом XX веке непременно должно подзаряжаться агрессией (ведь уже нет «испокон веку» установленных сословных перегородок и презрение к низшим классам необходимо жестко мотивировать, иначе возникают вполне оправдан-

ные сомнения). Но агрессия и для взрослой-то психики разрушительна, а для детской тем более.

И это еще не все. Давая подобную установку, родители обрекают ребенка на ответную ненависть, ибо традиционно негативное отношение к богатым будет многократно усилено. Мало того, что ты «новый русский», так ты еще и нос воротить?! Т. е. ребенок будет жить в ощущении постоянной угрозы, исходящей от огромного враждебного мира. (Ведь процент бедных намного превышает процент богатых.) Причем угроза эта не диффузная, не «вообще», а направленная конкретно на него. Сейчас и самые обычные дети склонны к повышенной тревожности и страхам. Что же говорить о тех, которые напоминают броскую мишень? И никакой телохранитель тут не поможет. Душу-то он не охранит. В раннем возрасте «антагонистический» вариант вызывает у детей болезненные страхи, в подростковом — повышенную агрессию (в основе которой лежит все тот же неизжитый страх, порождающий патологические формы защиты).

А это прямой путь к хулиганству и уголовщине. Будет ли способствовать разрешению внутреннего конфликта «обновленное» образование? Думаем, нет, потому что оно этот конфликт тщательно замазывает, уводя ребенка в другой мир. Но реальность настолько ярче и убедительней учебников, что и уходить от нее надо гораздо более эффективными способами. Что такие дети и делают. Недаром среди «новых русских» одна из важнейших проблем — наркомания их детей. И смешные объяснения, что, дескать, у богатых подростков много денег на карманные расходы. (Как будто, кроме как на анашу, деньги девать некуда!) И наркоман, и алкоголик — это люди прежде всего *неустойчивые*, не находящие в реальности достаточного опора.

А описанные нами дети с ранних лет попадают именно в такую ситуацию. Что может дать опору душе, которую разъедает агрессивное презрение? Причем презрение к слабым, совсем уж омерзительное в нашей культуре. Катарсическое чувство стыда. А именно это спасительное бремя с души таких детей и снимают! Сначала родители, а потом и школа.

«Отстраненный» вариант сводится к тому, что жизнь бедных — это *чужая* жизнь. А надо интересоваться своей. В одном элитарном лицее нам даже так и сказали: «У нас кастальское братство. А то, что творится за окном, нам просто неинтересно». Т. е. это вариант кастовой обособленности, в основе которого лежит равнодушие. В отличие от первого он эмоционально не заряжен и поначалу кажется более благоприятным для психики, поскольку ее не разъедают агрессия и презрение.

Но только человек, совсем уж не знакомый с детской психологией, может предположить, что ребенку под силу дифференцировать, чем стоит интересоваться жителю Касталии, а чем не стоит. Тем более что в современном мире, где все так перемешано и переплетено, и взрослому весьма непросто отделить «зерна» от «плевел». Скажем, элитарность искусствоведения не вызывает сомнения. И лицеисты-кастальцы идут в Третьяковскую галерею. А там куда ни посмотри — везде народ! Ведь русская живопись очень демократична. И детей — так уж они устроены — особенно заинтересует жанровая, сюжетная живопись, а не пейзажи, натюрморты и даже портреты. Поэтому в память им врежутся прежде всего Перов, Репин, Федотов, Суриков. И примеров подобных тьма.

Поэтому будучи не в состоянии произвести тонкую дифференциацию, ребенок включит в категорию «чужих» людей вообще. Чтобы упростить непосильную задачу. В психиатрии это называется аутизацией. Аутизм, патологическая отгороженность от мира, считается тяжелейшим психическим недугом. (Между прочим, число аутистов год от года растет.) Но аутизироваться под влиянием определенных жизненных обстоятельств могут и вполне нормальные люди. Например, оглохший человек или инвалид, тяжело переживающий свое увечье. Так вот, детей-«кастальцев», по существу, провоцируют на аутизацию.

Можно, конечно, возразить, что зато у них будет богатый внутренний мир и что самодостаточный человек более независим, а независимость — путь к счастью. Но советуем таким оптимистам сперва пообщаться с родителями аутичных детей и со специалистами, которые буквально кладут жизнь на то, чтобы хоть как-то их социализировать. Эти люди подтвердят, что под толстым панцирем равнодушия у аутистов прячутся запредельные страхи. Отгороженность от мира неизбежно приводит к трудностям в установлении контактов, а это, в свою очередь, затормаживает развитие человека (что, разумеется, в корне противоречит интересам элиты, ибо высокий уровень развития — залог ее статусного выживания). С независимостью дело обстоит тоже весьма прискормно. Не ориентируясь в чужом, неведомом мире, человек остро нуждается в поводыре. Без него он просто нежизнеспособен.

Что же касается счастья, то надо видеть, как просветляются лица аутичных детей, когда им, пускай на мгновение, удастся установить нормальный человеческий

контакт. Тому, кто это видел (а мы видели, и не один раз), совершенно ясно, что патологическое стремление к одиночеству парадоксальным образом сопряжено у аутичных людей с безмерным страданием от того же самого одиночества. И обрывать на все это — даже в малой степени — здоровых детей можно только от вопиющей непросвещенности. Или от тотального отсутствия воображения.

Дадут ли психическую опору таким детям обновленные учебники? Естественно, нет, потому что они воспитательную установку на обособление «продолжат и углубят».

Ну, и что же будет? А то, что «новые русские кастальцы» и во взрослом возрасте будут напоминать детей. Причем детей, лишенных иммунитета, а потому обреченных на жизнь в условиях барокамеры. Инфантильные, с неповзрослевшей, ибо не пробужденной для сострадания, душой, они не смогут устроить даже собственную жизнь. Какой уж там разговор о жизнеустройстве общества! В условиях жесткой конкуренции, тем более в такой кризисный период, место этих эрудированных недорослей будет отнюдь не у пульта управления государством, а в лучшем случае у компьютера. (Кстати, если говорить о компьютерной наркомании, об уходе в виртуальную реальность, то именно такие дети представляются нам первыми кандидатами в группу риска.)

«В свете вышеизложенного» очевидно благоприятный для психики — это вариант, который мы условно назвали «гуманистическим» («бедных жалко, им надо оказывать посильную помощь, но менять сложившийся порядок вещей — это абсурд»). Такая позиция не отгораживает от мира и не ведет к конфронтации с ним. Справедливости ради отметим, что более или менее интеллигентные «новые русские» (которые, кстати, зачастую болезненно реагируют на это клише) придерживаются именно «гуманистической» воспитательной установки. Но, увы, и она далеко не безопасна, ибо ребенок, чуть повзрослев, узнает, что тот порывок вещей, который преподносился ему как данный от века, установлен *совсем недавно его родителями*. Одновременно с этим он узнает и о разграблении народной собственности, благо об этом говорится на каждом углу. Интеллектуально полноценный ребенок достаточно скоро свяжет два эти обстоятельства и окажется перед весьма драматичным выбором. На одной чаше весов будут родители, которых он не только любит, но которым еще и целиком обязан своим комфортным существованием. На второй же чаше... ох, много чего там окажется: и архетипическое тяготение к справедливости, и личная совесть, развитая культурным воспитанием, и пробужденная каким ни есть обновленным, но все же образованием чувствительность, и независимый ум, который особо ценится в подобной среде.

И получится, что «гуманистическая» установка, в более младшем возрасте действительно дававшая ребенку психологическую опору, неожиданно выступит в роли катализатора внутреннего конфликта, поскольку на данном этапе будет лишь усугублять чувство вины. Подросший и поумневший ребенок поймет, что помощь бедным, выдаваемая за благодеяние, — это лишь жалкие крохи от недавно украденного у тех же бедных пирога. И что бедные до того, как у них украли пирог, не были такими бедными и вполне могли обойтись без благодеяний богачей. И сколько сыну ни рассказывай, что работаешь в поте лица по 25 часов в сутки, рано или поздно он задается вопросом о «первоначальном накоплении капитала». А поскольку быльем это порастит не успеет, непременно найдутся люди, которые прочтут подростку краткий курс политической экономии нашей жизни и доходчиво объяснят, что даже в золотой период постсоветского Клондайка на «раскрутку» частного бизнеса требовались достаточно большие деньги, какие честным трудом и тогда не жавали.

Нас спросят: «Ну, и куда они денутся со своим внутренним конфликтом? В революционеры пойдут, что ли? Неужели в этой стране, несмотря на горький исторический опыт, кто-то снова будет рубить сук, на котором сидит?»

Кто-то — непременно, можете не сомневаться. И чем нравственней будет воспитание (а похоже, сейчас даже власть несколько обеспокоена падением нравов), тем труднее станет человеку усидеть на *этом* суку.

Можно, конечно, попробовать отгородиться, уйти в развлечения, дружбу, романы и проч. В подростково-юношеском возрасте к этому есть все предпосылки, а в богатой среде — еще и все условия.

Но «момент истины» у развитого человека все равно наступит, и, если образ жизни останется прежним, беззаботность естественная может перерасти в беззаботность неестественную, показную. А отсюда совсем недалеко до цинизма — свойства, грубо деформирующего личность. Если же не обрести коркой цинизма, произойдет душевный надлом со всеми вытекающими из этого последствиями (наркомания, алкоголизм, суицидальные мысли и попытки, пониженная сопротивляемость к воздействию уголовного мира — короче, знакомый «джентльменский набор»).

Опять же зададимся вопросом: чем могло бы помочь в данном случае гуманитарное образование? И вообще могло бы оно что-то сделать?

Теоретически — да. Причем именно заостряя внимание на любимых темах русской литературы. Учитель должен был бы внушать богатым детям, что их долг, когда они вырастут, постараться изменить положение вещей. И что тот, кто не хочет революций (а революции — это обязательно кровь, насилие, горе), прежде всего не доводит людей до крайности. И что лучшие люди в России, среди которых, кстати, было много богатых, это понимали. Даже великий «непротивленец» Л. Н. Толстой — и тот в письме к П. А. Столыпину писал: «Ведь еще можно было бы употреблять насилие, как это и делается всегда, во имя какой-нибудь цели, дающей благо большому количеству людей, умиротворяя их или меняя к лучшему устройство их жизни, вы же не даете ни того, ни другого, а прямо обратное». Письмо датировано 1909 г., так что высказанное в нем можно считать неким жизненным итогом, результатом множества споров. В том числе и с самим собой.

Но власть упрямо не желала ничем поступаться. И уж тем более понять вообще-то достаточно прозрачный смысл русской поговорки «Дорога ложка к обеду». Иными словами, идти на уступки надо не когда тебя загоняют в угол и больше ничего не остается, а хотя бы немного раньше. А еще учитель-гуманитарий должен был бы донести до своих воспитанников весьма гуманную, или гуманистическую (это как кому нравится), мысль: если они, наши «новые русские дети», не поймут, что Россия всей своей культурой и историей *обречена* на справедливое переустройство общества, не только у страны в целом, но и лично у них не будет ни счастья, ни покоя. Уж такая здесь жизненная основа, и ее отрицать не только бессмысленно, но и губительно. Для всех.

Но скорее всего будет по-другому. Учителя частных школ побоятся потерять место. И в оправдание произнесут до боли знакомую фразу: «А что мы можем? От нас ведь ничего не зависит». (Уже боятся. Уже произносят.) Родители постараются отправить детей за границу (уже отправляют), не предвидя опять-таки многих последствий, но об этом мы поговорим дальше.

Власть же... власть поступит традиционно. (Тем более она у нас теперь тоже за культурные традиции.) Суммировав достижения царской и советской России, она поведет (да и уже ведет с помощью расторопной интеллигенции) наступление на «вредные веяния». То там, то здесь высказываются авторитетные мнения, что считать настоящей классикой, а что — ненастоящей. Скажем, поздний Пушкин, монархист и государственник, — «настоящий», а ранний, вольнолюбец, — нет.

В новое «прокрустово ложе» втискивается бесчисленное множество исторических событий и лиц. Даже отец П. Флоренский, казалось бы, кумир последних десятилетий, объявлен «временно впавшим в бесовскую прелесть» за то, что он осудил казнь лейтенанта Шмидта.

Сокращается объем классики в школе, и уже идут разговоры о том, что русскую классическую литературу надо бы преподавать лишь в двух последних классах, до которых «в наше трудное время» доучатся далеко не все.

Ну а в Калининградской области повторили еще и зарубежный опыт полувековой давности. В бывший пионерский, а ныне школьный лагерь, что на Куршской косе, приехали «начальники по образованию» (так выразились местные жители). Привезли «детективы и всякую другую глупость» (опять цитата), а русскую классику из библиотеки изъяли и прямо на месте сожгли. Надо же, как почва влияет! Тут волей-неволей станешь мистиком. Особенно когда, проехав километров сорок по побережью, видишь великолепный особняк. И узнаешь от старожилов, что это чудом уцелевшая при бомбежках Восточной Пруссии дача Геббельса.



Евгений ПЛИМАК,
Вадим АНТОНОВ

Накануне страшной даты

К 60-ЛЕТИЮ ПРОЦЕССА ТУХАЧЕВСКОГО

Сказочная история уже десятилетия бродит как привидение по Европе... Мрачная, призрачная проделка Макиавелли нашего столетия. Проделка не столь простая, как подает ее Хрущев и как излагали ее Бенеш, Черчилль и паладины Гимmlера.

Пауль Карелл. 1963.

Мир потрясен сообщением из Москвы

11 июня 1937 года мир был потрясен сообщением, переданным радио из Москвы (в газете «Правда» в этот же день оно публиковалось под заголовком «В Прокуратуре Союза ССР»).

В сообщении говорилось, что расследованием закончено и передано в суд «дело арестованных органами НКВД в разное время» маршала Тухачевского М. Н., генералов Якира И. Э., Уборевича И. П., Корка А. И., Эйдемана Р. П., Фельдмана Б. М., Примакова В. М., Путны В. К., а также покончившего жизнь самоубийством еще до процесса Гамарника Я. В. Указанные выше арестованные обвинялись в нарушении воинского долга (присяги), измене родине, измене народам СССР, измене Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Обвинения особенно не детализировались. Военачальникам инкриминировались «антигосударственные связи с руководящими военными кругами одного из государств, ведущего недружелюбную политику в отношении к СССР» (имелась в виду гитлеровская Германия.— Авт.). «Находясь на службе у военной разведки этого государства, обвиняемые,— как утверждалось далее,— систематически доставляли военным кругам этого государства шпионские сведения о состоянии Красной Армии, вели вредительскую работу по ослаблению мощи Красной Армии, пытались подготовить по случаю военного нападения на СССР поражение Красной Армии и имели своей целью содействовать восстановлению в СССР власти помещиков и капиталистов». Добавлялось, что все обвиняемые «признали себя виновными полностью». Сообщался состав Специального Судебного Присутствия Союза ССР, призванного вершить суд, в него вошли маршал Блюхер, маршал Буденный, некоторые командармы и комдив. Уточнялось, что дело слушается в порядке, «установленном законом от 1 декабря 1934 года» (т. е. без права защиты, права обжалования приговора, с немедленным приведением его в исполнение).

В день суда, 11 июня 1937 года, в республики, края и области было спущено из Москвы такое указание: «Нац. ЦК, крайкомам, обкомам. В связи с предстоящим судом над шпионами и вредителями Тухачевским, Якиром, Уборевичем и другими ЦК предлагает вам организовать митинги рабочих, а где возможно, и крестьян, а также митинги красноармейских частей и выносить резолюцию о необходимости применения высшей меры репрессии. Суд, должно быть, будет окончен сегодня ночью. Сообщение о приговоре будет опубликовано завтра, т. е. двенадцатого июня. 11. VI. 1937 г. Секретарь ЦК Сталин».

На другой день, 12 июня, «Правда» сообщала, что суд состоялся, маршал Тухачевский и его сподвижники лишены своих званий и приговорены к расстрелу. На полосах того же номера «Правды» под рубриками «Шпионов, стремившихся расчленивать нашу родину и восстановить власть помещиков и капиталистов, — расстрелять», «Шпионов, совершавших вредительские акты для подрыва мощи Красной Армии, — расстрелять»; «Шпионов, стремившихся к поражению Красной Армии, —

расстрелять» уже публиковались резолюции воинских частей, собраний трудящихся, интеллигенции по адресу «предателей» и «шпионов».

Если передовица «Правды» от 11 июня 1937 года была озаглавлена «Крах иностранных буржуазных разведок», то передовицу от 13 июня озаглавили «Голос великого народа». А в разделе «Хроника» сообщалось главное: вчера, 12 июня, приговор приведен в исполнение. Потоки резолюций «масс» занимали полосы «Правды» и других газет еще с неделю, с 17 июня их уже чередовали с предложениями «о выпуске займа обороны СССР». А 19—22 июня все внимание страны было приковано к такому событию, как перелет В. Чкалова, Г. Байдукова, А. Белякова по маршруту Москва — Северный полюс — Москва, и шло сообщение о торжественной встрече участников экспедиции на Северный полюс под руководством О. Ю. Шмидта.

Эти воистину славные дела затмили черное преступление Тухачевского и его подручных, более о них ничего не сообщалось. Страна перешла к очередным делам. К очередным арестам комсостава РККА — теперь уже без огласки — перешло и ежовское НКВД: военачальников расстреливали десятками, сотнями, тысячами. Всего через 9 дней после суда над Тухачевским в застенки НКВД было брошено по обвинению в «военном заговоре» около тысячи командиров, в том числе 29 комбригов, 37 комдивов, 21 комкор, 16 полковых комиссаров, 17 бригадных и 7 дивизионных комиссаров. А через полтора года после рокового дня 11 июня 1937 года первый маршал К. Е. Ворошилов докладывал Военному Совету при наркоме СССР о таких «успехах»: «Весь 1937 и 1938 годы (!) мы должны были беспощадно чистить свои ряды, безжалостно отсекая зараженные части организма от живого, здорового мяса, очищали от мерзостной предательской гнили... Достаточно сказать, что за все время мы вычистили больше 4 десятков тысяч человек» («Реабилитация. Политические процессы 30—50-х годов». М., 1991, стр. 299—301). Арест, уничтожение более 40 000 «шпионов и предателей» в рядах собственной армии — до такого безумия нигде и никогда не доходил ни один главнокомандующий!

И вот ныне, 60 лет спустя, мы снова возвращаемся к «делу» Тухачевского — одной из величайших провокаций XX века, тайна которой — мы попробуем это доказать — остается не до конца раскрытой и по сей день...

Сталин и Ежов стягивают кольцо вокруг маршала и генералов

Папка с «уголовным делом» Тухачевского и его соратников по различным пунктам пресловутой ст. 58 с надписью на обложке «Совершенно секретно. Хранить вечно» долежала до времен хрущевской «оттепели» и горбачевской «перестройки», когда она была рассекречена. Но ни Военная прокуратура в лице ее представителя Б. А. Викторова и его подчиненных, ни комиссия Политбюро ЦК КПСС под руководством А. Н. Яковлева, созданная для дополнительного изучения сталинских репрессий, не обнаружили в папке «ничего конкретного» о враждебной деятельности осужденных военачальников. Все они были реабилитированы (Б. А. Викторов. Без грифа «секретно». М., 1990, стр. 215, 256; «Реабилитация...», стр. 304).

Однако вот на чем не акцентировали внимание обе высокие инстанции — точно с середины 1937 года резко изменились и сама манера поведения Сталина, и содержание обвинений, выдвигавшихся им против арестованных и поспешно расстрелянных маршала и генералов.

Раньше уголовные дела старых большевиков велись довольно долго и рутинным порядком, как он сложился вслед за загадочным убийством Кирова 1 декабря 1934 года*. От арестованных следователи ОГПУ—НКВД месяцами истязаний добывались самооговоров и оговоров, и со зловещим клеймом «троцкист» они выставлялись на «суд», где после изнурительных гневных допросов прокурора-инквизитора Вышинского подтверждали свои «признания». Затем их отправляли на тот свет, изредка — на каторгу. Так, после поразивших весь мир открытых политических процессов оборвалась жизнь десятков бывших соратников Ленина; показания подсудимых широко воспроизводились всей советской прессой. Начались эти процессы еще в 1936 году и продолжались до 1938 года. А поскольку ушедший в изгнание «главный преступник» Троцкий был когда-то создателем Красной Армии, то клей-

* Высказанная в последнее время в книге Павла Судоплатова «Разведка и Кремль. Записки нежелательного свидетеля» (М., 1996) и подхваченная некоторыми газетами версия о том, что Киров пал жертвой мести одиночки — ревности обманутого мужа Николаева, на наш взгляд, не выдерживает критики и расходится с установленными ранее фактами (освобождение НКВД захваченного в Смольном с оружием Николаева, убийство охранника Борисова, подготовка «антитеррористического» законодательства еще накануне убийства и т. д.). К тому же Судоплатов обходит молчанием существенный вопрос: был (или не был?) дневник убийцы Николаева и что он там пишет о терроризме?

мо «троцкист» можно было без особого труда приклеить и к **отдельным** военачальникам, над которыми «работали» следователи.

Так, от арестованных в 1935 году крупных советских деятелей Е. А. Дрейцера, С. В. Мрачковского и И. И. Рейнгольда следователи Ягоды добились показаний о том, что в Красной Армии якобы существует некая «военно-троцкистская» организация, в которую входили заместитель командующего войсками Ленинградского военного округа В. М. Примаков и военный атташе при полпредстве СССР в Великобритании В. К. Путна.

Комкора Примакова арестовали не сразу, а только 14 августа 1936 года, обвинив его в том, что он лично «примыкал к троцкистско-зиновьевской организации» (Б. А. Викторов. Указ. соч., стр. 216—220). Примкнувший к «троцкистам-зиновьевцам» комкор в течение девяти месяцев выдерживал изнурительные допросы, пока наконец при сменившем Ягodu Ежове из него не было выбито (в буквальном смысле этого слова) признание в сознательном «запирательстве». «Настоящим заявляю, — «сознался» он, — что, вернувшись из Японии в 1930 году, я связался с Дрейцером и Шмидтом, а через Дрейцера и Путну — с Мрачковским и начал троцкистскую работу, о которой дам следствию полные показания». Показал он, что в «троцкистскую организацию» входит Якир, которого прочат на место Ворошилова, и что во главе заговора стоит связанный с Троцким... Тухачевский.

Но Тухачевского пока не трогали, хотя «наблюдательное производство» на него (существовавшее с начала 20-х годов) пополнялось систематически. Так, в одном из старых дел обнаружены показания двух офицеров, служивших в прошлом в царской армии, вдохновителем своей антисоветской деятельности они называли... Тухачевского. Копии протоколов допросов были доложены Сталину, который направил их Г. К. Орджоникидзе с такой многозначительной запиской: «Прошу ознакомиться. Поскольку это не исключено, то это возможно». Реакция Орджоникидзе неизвестна — он, видимо, не поверил клевете. Еще раньше в Наркомат по военным и морским делам жаловался на Тухачевского секретарь парткома Западного военного округа (неправильное отношение к коммунистам, аморальное поведение). Но М. В. Фрунзе наложил на информацию резолюцию: «Партия верила тов. Тухачевскому, верит и будет верить». Хранилась в «наблюдательном производстве» на Тухачевского и выписка из показаний арестованного комбрига Медведева от 8 мая 1937 года о том, что ему еще в 1931 году (!) стало «известно» о существовании в центральных управлениях РККА контрреволюционной троцкистской организации. 13 мая 1937 года Ежов арестовал бывшего соратника Дзержинского А. Х. Аргузова, тот показал, что еще в 1931 году в поступившей из Германии информации сообщалось о заговоре в Красной Армии под руководством некоего генерала Тургуева (псевдоним Тухачевского), бывавшего в Германии. Предшественник Ежова Ягода заявил тогда же: «Это несерьезный материал, сдайте его в архив». Ежов, получивший указания от Сталина, был иного мнения, что выяснилось в середине мая, когда следствие вдруг приобрело невероятно быстрый ход (Борис Викторов. «Заговор» в Красной Армии. «Правда», 29 апреля 1988 года).

Фамилия Тухачевского была привязана и к делу Путны. Последнего арестовали также не сразу — 20 августа 1936 года, и после непродолжительного «отпирательства» он сознался, что «знал о существовании троцкистских центров и совместно с Примаковым участвовал в военной организации троцкистов». После этого следователи на несколько месяцев отвязались от Путны, но фамилия Тухачевского как бы «невзначай» была пристегнута к Путне на процессе по делу так называемого «параллельного антисоветского троцкистского центра» Пятакова — Радека (23—30 января 1937 года).

Люди, знавшие манеру «введения» Сталиным—Вышинским в круг обвиняемых новых лиц, сразу же поняли: секира занесена над головой Тухачевского! Вот характерное для тех времен свидетельство одного из самых информированных тогда чинов — начальника нашей военной резидентуры в Европе Вальтера Кривицкого:

«Вечером 24 января я сидел дома с женой и ребенком, читая протокол показаний (лиц, обвиненных в «т оцкистском заговоре» и шпионаже в пользу Германии.— **Авт.**), когда вдруг мое внимание привлекла выдержка из секретного признания Радека. Он утверждал, что генерал Путна, в недавнем прошлом советский военный атташе в Великобритании, а ныне уже в течение нескольких месяцев узник ОГПУ, пришел к Радеку с «просьбой от Тухачевского». Прочитав показания, главный прокурор Вышинский обратился с вопросом к Радеку:

«**Вышинский.** Скажите, в какой связи вы упомянули имя Тухачевского?»

Радек. Тухачевский был уполномочен правительством осуществлять определенную задачу, для решения которой он не мог найти необходимый материал. Тухачевский не знал ничего о роли генерала Путны или о моей преступной деятельности.

Вышинский. Если я правильно понял вас, генерал Путна поддерживал связь с членами вашей подпольной троцкистской организации, и ваше упоминание Туха-

чевского сделано в связи с тем, что Путьна был направлен к Тухачевскому по его приказу с официальным поручением?..»

Когда я прочел это, я был настолько глубоко взволнован, что моя жена спросила, что случилось. Я дал ей газету, сказав: «Тухачевский обречен».

Она прочла сообщение, но, не сумев вникнуть в его суть, возразила:

— Но Радек начисто отрицает какую-либо связь Тухачевского с заговором.

— Так точно, — сказал я. — Думаешь, Тухачевский нуждается в индულгенции Радека? Или, может быть, ты думаешь, что Радек посмел бы по собственной инициативе упомянуть имя Тухачевского на этом судебном процессе? Нет. Это Вышинский вложил имя Тухачевского в рот Радека, а Сталин спровоцировал на это Вышинского. Неужели не ясно, что Радек говорит это для Вышинского, который говорит словами Сталина? Я говорю тебе, что Тухачевский обречен...» (Вальтер Кривицкий. Я был агентом Сталина. М., 1991, стр. 228—230).

Но кольцо вокруг Тухачевского и других генералов медленно стягивалось еще несколько месяцев, прежде чем Сталин приступил к их поспешной ликвидации.

Важным этапом в действиях «вождя» были проведение февральско-мартовского Пленума ЦК и публикация в «Правде» от 29 марта и 1 апреля его речи, нацеленной на создание в стране невероятной кровавой вакханалии, когда люди вообще переставали соображать, кто виновен, а кто нет. В речи Сталин объявил, что «троцкизм перестал быть политическим течением в рабочем классе», превратился «в оголтелую и беспринципную банду вредителей, диверсантов, шпионов и убийц, действующих по заданиям разведывательных органов иностранных государств», что эта шпионская и диверсионная работа задела «все» (!) или «почти все» (!) наши организации, что сила современных вредителей-троцкистов состоит в обладании «партийным билетом», а многие из них ввиду беспечности руководства проникли на «ответственные места». Из числа их не исключалась и Красная Армия. «Чтобы выиграть сражение во время войны, для этого может потребоваться несколько корпусов красноармейцев. А для того, чтобы провалить этот выигрыш на фронте, для этого достаточно несколько человек шпионов где-нибудь в штабе армии или даже в штабе дивизии, могущих выкрасть оперативный план и передать его противнику».

Так, предваряя отдаленную пока еще грозу, обстояли дела в России до тех пор, пока их не подтолкнули события, начавшиеся в Париже и продолженные в Берлине и Праге.

Мог ли генерал Скоблин передать немцам информацию о «заговоре» Тухачевского?

16 декабря 1936 года в Париже белоэмигрантский генерал Скоблин, как сообщают компетентные зарубежные авторы, передал представителю германской разведывательной службы два сообщения. Первое — командование Красной Армии готовит заговор против Сталина; во главе заговора — маршал Михаил Тухачевский. Второе — Тухачевский и его ближайшие соратники находятся в контакте с ведущими генералами германского верховного командования и германской разведывательной службы.

Но, прежде чем говорить о дальнейшей судьбе переданной информации, скажем несколько слов о самом Скоблине.

В конце 80-х — начале 90-х годов усилиями наших журналистов Леонида Михайлова и Леонида Млечина была создана легенда о том, как бывший корниловский и врангелевский офицер, а впоследствии близкий к руководящим кругам белогвардейско-эмигрантского Российского Общевоинского Союза (РОВС) генерал Николай Владимирович Скоблин, проживавший в Париже вместе со своей женой — известной певицей Надеждой Плевицкой, понял бесперспективность белого движения, проникся советскими патриотическими чувствами и стал ценнейшим агентом ОГПУ—НКВД.

При этом приводится документ, собственноручно написанный Скоблиным:

«ЦИК СССР. Николая Владимировича Скоблина

Заявление

12 лет нахождения в активной борьбе против Советской власти доказали мне печальную ошибочность моих убеждений.

Осознав крупную ошибку и раскаиваясь в своих проступках против трудящихся СССР, прошу о персональной амнистии и даровании мне прав гражданства СССР.

Одновременно с сим даю обещание не выступать как активно, так и пассивно против Советской власти и ее органов. Всецело способствовать строительству Советского Союза и о всех действиях, направленных к подрыву мощи Советского Со-

юза, которые мне будут известны, сообщать соответствующим правительственным органам.

10 сентября 1930 г.
Н. Скоблин»

На этом заявлении имеется резолюция начальника Иностранного отдела ОГПУ:

«Заведите на Скоблина агентурное личное и рабочее дело под псевдонимом «Фермер» — ЕЖ(13)».

«Делом» Тухачевского и ролью в нем Скоблина Л. Михайлов вообще не интересовался, а Л. Млечин дал отрицательный ответ на вопрос: мог ли ОГПУ — НКВД использовать немецкие контакты Скоблина, чтобы запустить пробный шар относительно Тухачевского и посмотреть, какова будет реакция Берлина? "Скоблин не годился на эту роль... Ведь Николаю Скоблину готовилась новая крупная роль..." (после «ликвидации» руководителя РОВС Миллера ОГПУ — НКВД прочило на его место Скоблина.— Авт.). Л. Млечин. Миссия генерала Скоблина. «Воскресенье», 1992, № 2, стр. 38—39).

Аргументация Млечина выглядит убедительной, но при одном условии — если Скоблин служил только ОГПУ — НКВД. Немецкие источники показывают другое: он был **агентом-двойником**. Вот любопытное свидетельство некоего Вильгельма Хёттля, сотрудника германской службы СД. В своей книге «Секретный фронт. История немецкого шпионажа». (Нью-Йорк, 1954) он уделяет «делу» Тухачевского целую главу «Как подложных дел мастера убили советского маршала». В ней он пишет: «Гейдрих (глава Службы безопасности Германии.— Авт.) начал создавать свою секретную организацию против Советского Союза в 1935 году... Гейдрих через своих собственных агентов вошел в контакты с Центральным Комитетом РОВС в Париже. Здесь его представитель установил связь с бывшим белогвардейским генералом Скоблиным... Агент Гейдриха обнаружил, что Скоблин поддерживает отличные отношения с наивысшими кругами в Москве. Это само по себе было удивительным, ибо ни в каком другом случае **эмигрантским** секретным службам не удавалось проникнуть в высшие структуры советской иерархии. В ходе дальнейших сделок агент Гейдриха узнал вскоре, что генерал Скоблин... работал на обе стороны: за Советы и против Советов.

В этой двойной игре Гейдрих не видел никаких оснований отказываться от использования Скоблина, а тот за известную мзду, со своей стороны, был совершенно готов войти в список агентов германской секретной службы. От него-то Гейдрих и получил к концу 1936 года информацию о том, что Тухачевский при помощи Красной Армии намерен захватить власть и отделиться от Сталина и всего большевистского режима в целом. Вопрос о том, была ли информация правдивой, мы оставляем в стороне...» (Wilhelm Hoettl. The Secret Front. N.Y., 1954, pp. 77—78).

Получение Гейдрихом, шефом СД, информации от Скоблина о заговоре Тухачевского подтверждает и автор книги «Заговорщики» Г. Бейли; он же отмечает, что Скоблин «уже некоторое время от случая к случаю снабжал гестапо сведениями о русских делах» (Geoffrey Baily. The Conspirators. London, 1961, p. 190).

В наиболее широком плане роль Скоблина в «деле» Тухачевского рассматривает в своих воспоминаниях (изданы посмертно) начальник одного из отделений СД Вальтер Шелленберг: «Как свидетельствуют изученные мною документы, первые контакты с Красной Армией — после того, как 16 апреля 1922 года в Раппало был подписан договор между Германией и Россией, — были установлены в 1923 году под руководством тогдашнего министра обороны Гесслера и продолжены генерал-полковником Сектом. При помощи этих связей германское командование хотело предоставить немецким офицерам сухопутных войск, насчитывающих всего сто тысяч человек, возможность научиться на русских полигонах владеть современными видами оружия (самолетами, танками), которые по Версальскому договору рейхсверу запрещалось иметь. В свою очередь, немецкий генеральный штаб знакомил русскую армию со своим опытом в области тактики и стратегии. Позднее сотрудничество распространилось и на вооружения... Так, например, фирма «Юнкерс» основала свои филиалы в Филях и Самаре... После Секта сотрудничество с Красной Армией продолжил его преемник генерал Хайе, а позднее генералы Хаммерштейн и фон Шляйхер, а в России ту же линию проводил Сталин, сменивший Ленина*». И тут Шелленберг сообщает нечто чрезвычайно важное: «Когда в Германии к власти пришли национал-социалисты, руководство германской компартии получило из Москвы указание считать врагом № 1 не НСДАП и тем самым командование вермахта, а социал-демократическую партию. В политическом руководстве НСДАП Сталин

* Не столь давно и у нас вышла книга Ю. Л. Дьякова и Т. С. Бушуевой о военном сотрудничестве Германии и России в 1923—1933 гг.: Фашистский меч ковался в СССР. М., 1992.

видел тогда своего рода попутчика в достижении собственных революционно-коммунистических целей в Европе, причем он рассчитывал, что в один прекрасный день Гитлер обратит свое оружие против буржуазии Запада, борьба с которой должна истощить его силы».

Что касается Скоблина и его «миссии», то Шелленберг разделял мнение сотрудника ведомства Гейдриха некоего Янке. «По его мнению, Скоблин мог вполне играть двойную роль по заданию русской разведки. Он считал даже, что вся эта история инспирирована. В любом случае необходимо было учитывать возможность того, что Скоблин передал нам планы переворота, вынашиваемого якобы Тухачевским, только по поручению Сталина... Сталин при помощи этой акции намеревался побудить Гейдриха, правильно оценивая его характер и взгляды, нанести удар командованию вермахта и в то же время уничтожить генеральскую «фронду», возглавляемую Тухачевским, которая стала для него обузой; из соображений внут и партийной политики Сталин... желал, чтобы повод к устранению Тухачевского и его окружения исходил не от него самого, а из-за границы» (Вальтер Шелленберг. Мемуары. М., 1991, стр. 40—41, 43—44).

Гейдрих и Гитлер включаются в игру

Шеф Службы безопасности (СД) Германии Гейдрих, «мастер политических интриг», как характеризует его Карелл (псевдоним сотрудника ведомства Риббентопа и личного переводчика Гитлера Шмидта), по достоинству оценил дошедшую до его органов информацию: если донесение Скоблина является достоверным, то «Советский Союз мог превратиться в военную диктатуру во главе с исключительно способным организатором и стратегом, «Красным Наполеоном», что едва ли отвечало интересам гитлеровской Германии». Посадив под домашний арест Янке, который настаивал, что сведения подброшены Кремлем в первую очередь для того, чтобы заставить Гитлера «подозревать собственных генералов», Гейдрих связался с самим Гитлером. Вместе с фюрером они решили: «Позволить информации из Парижа попасть в руки Сталина и тем самым отдать наиболее способного военачальника в руки следственных органов». Одним словом, Гитлер с Гейдрихом решили в конце концов «подыграть» Сталину. В том, что Скоблин с его «сведениями» является лишь проходной пешкой в шахматной игре, затеянной Сталиным, они не сомневались...

Игра началась. Агенты Гейдриха тайно проникли в секретный архив Верховного командования вермахта (германских вооруженных сил) и изъяли досье Тухачевского из фондов так называемого «Спецотдела R», закамуфлированной организации, которая существовала в 1923—1933 годах, когда Германия активно сотрудничала в военной области с СССР. Чтобы «замести все следы» своего вторжения, молодчики Гейдриха устроили еще и пожар в архивах Генштаба!

Затем Гейдрих приступил к изготовлению предназначенных для Сталина «доказательств». В тексты писем Тухачевского, который в 1925—1928 годах был начальником штаба РККА и переписывался с немцами, были включены «дополнительные фразы, появились и новые документы» с подписями высших военных и должностных лиц Рейха. Получилось солидное «досье» (его иногда называют «красная папка») с официальными бумагами, достаточными для того, чтобы «передать любого генерала в любой стране в руки военного трибунала по обвинению в государственной измене» (это обвинение и было сформулировано в сообщении Прокуратуры СССР от 11 июня 1937 года в Москве!).

Возникла и следующая проблема: «Как сделать, чтобы досье попало Сталину», причем не возбудив у него подозрений. Гейдрих, согласно Кареллу-Шмидту, действовал сразу по трем линиям.

Первая линия Берлин—Прага работала через чехословацкого посланника в Берлине, который, пользуясь конфиденциальными германскими источниками, сообщил уже в конце января 1937 года президенту Чехословакии следующие данные: «Немцы поддерживают контакт» с антисталинской группировкой в Красной Армии; «Берлин явно ожидает смену правительства в Москве, которая приведет к изменению расстановки сил в Европе в пользу нацистской Германии». Бенеш сообщил эти «сведения» советскому послу в Праге С. Александровскому. Тот немедленно вылетел в Москву.

Вторая линия Москва—Берлин—Париж была направлена на премьера Франции Даладье. Карелл-Шмидт предполагает, что источник «сведений» был в Москве, где существовал контакт между агентами немецкой и французской разведслужб. Во всяком случае, через два-три дня после беседы Бенеша с Александровским на дипломатическом приеме Даладье взял под руку советского посла В. Потемкина, отвел его в сторону и сказал, что Франция обеспокоена сведениями и слухами о «возможной перемене политического курса в Москве» вследствие сговора между командо-

ванием вермахта и командованием РККА. Посол сразу же покинул прием, и в Москву полетела очередная срочная шифровка.

Третья линия Берлин—Прага—Москва была использована Гейдрихом для установления прямого контакта разведслужб Германии и СССР. В Прагу Гейдрих направил своего личного представителя штандартенфюрера СС Беренса, руководствуясь таким «кредо»: «Даже если Сталин просто хотел ввести нас в заблуждение, я снабжу дедушку в Кремле достаточными доказательствами того, что его ложь — это чистая правда». В Праге Беренс сумел сообщить представителю президента о «существовании документов, содержащих улики против Тухачевского». Бенеш тут же «информировал Сталина» и даже посодействовал установлению контактов немцев в Праге с сотрудником Советского посольства (он же агент НКВД) Израиловичем. Тому немцы продемонстрировали для начала два «подлинных» документа из досье Гейдриха—Гитлера, а потом досье уже целиком закупили срочно прилетевшие из Москвы люди Ежова, не поскупившись на оплату «товара»: цена досье составила 3 млн. рублей в крупных советских купюрах. «Ни за один план военных операций, ни за какую измену или предательство в истории секретных служб, — пишет Карелл—Шмидт, — никогда не платили такую высокую цену». Правда, агенты Ежова были тоже не лыком шиты: номера купюр, переданных немцам, «были заранее переписаны», и гитлеровские агенты, начавшие позже пользоваться ими, были арестованы. Оставшиеся иудины деньги немцы сожгли... (Paul Carell. Unternehmen Barbarossa. Der Marsch nach Rußland. Frankfurt /M., Berlin, Wien, 1963, s.s. 174—194).

Все эти линии Гейдриха—Гитлера не просто сообщали Сталину его же **собственные** сведения, но и обеспечивали ему «алиби» в глазах Запада и собственного окружения.

Важные хронологические уточнения мы можем внести в рассказ Карелла-Шмидта, обратившись к содержанию книг Хёттля и Шелленберга.

Хёттль свидетельствует, что целых четыре месяца — с декабря 1936 года по апрель 1937 года — в немецком руководстве не было согласия насчет того, как ответить на действия Сталина. Начальник службы контрразведки (Абвера) адмирал Канарис поначалу вообще отказался участвовать в затее Гейдриха; только впоследствии удалось поставить его подпись на «документе», содержащем благодарность Тухачевскому за полученную «информацию». Гейдриху пришлось долго убеждать Гиммлера и Гитлера в пользу своего замысла. Возможно, добавим мы, проверили лишний раз лояльность генералов вермахта. Так или иначе только в апреле 1937 года Гейдрих смог с помощью того же Беренса приступить к спешному изготовлению «досье» для Сталина. «Лишь в начале мая Гиммлер получил возможность передать досье — довольно пухлую подшивку — в руки Гитлера» (W. Hoettl. Op. cit, s.s. 81—82). Шелленберг точно указывает время закупки «досье» агентами Ежова: «Это было в середине мая 1937 года» (В. Шелленберг. Указ. соч., стр. 45).

Синхронность действий Берлина и Москвы, что никем не отмечено в литературе, была абсолютной: **точно в середине мая** в СССР разразилась гроза — начались повальные аресты, завершившиеся скоропалительной расправой над высшим и средним составом РККА.

«Разные времена» — разные методы следствия и обвинения

Следователям НКВД, почти каждодневно инструктируемым через Ежова и его зама Фриновского **самим Сталиным**, было тут же предписано выбивать из вновь арестованных — и притом в кратчайший срок! — показания не в одном только «троцкизме» (в случае сопротивления обвиняемых в допросах принимал личное участие Ежов, «ускорявший» их ход).

Арестованный 14 мая и сломленный к 16 мая А. И. Корг «показал», что он был вовлечен А. С. Енукидзе в военную организацию «правых» (!), которая готовила переворот в стране, и что в штабе «военной организации правых» состояли сам Корг, М. Н. Тухачевский, В. К. Путьга. 15 мая 1937 года был арестован комкор Фельдман, а всего через четыре дня, 20 мая, Ежов уже представил Сталину, Молотову, Ворошилову, Кагановичу протокол его «допроса» с просьбой разрешить арестовать названных Фельдману, но пока остающихся на свободе Тухачевского, Якира, Эйдемана и других. 22 мая был арестован (до того снятый с должности замнаркома и пониженный до должности командующего Приволжским военным округом) Тухачевский; в тот же день был арестован Эйдеман. 28 мая последовал арест Якира, 29 мая — Уборевича. Посредством жесточайших избиений (на отдельных листах протоколов его «допроса» сохранились «буро-коричневые пятна» крови) были «доказаны» участие маршала и его соратников в той же военной организации «правых» и его шпионская деятельность в пользу немцев с 1925 года!

В дни этих арестов и допросов, 24 мая, а затем 30 мая — 1 июня 1937 года, было принято Постановление ЦК об исключении из его состава членов и кандидатов

ЦК ВКП(б) Рудзутака, Тухачевского, Якира и Уборевича за участие в «военно-фашистском троцкистском правом заговоре» и шпионаже в пользу Германии, Японии, Польши — сознательное сваливание «в одну кучу» левых, правых, троцкистов, фашистов было, начиная с времен «ежовщины», обычным приемом сталинской пропаганды, обрушенной на партию и народ...

Крайне показательный факт! Если в протоколах более ранних допросов «троцкистов» Примакова и Путны обвинения в шпионаже особо не выделялись, то в выступлениях Ворошилова и особенно Сталина на происходившем с 1 по 4 июня расширенном заседании Военного Совета с участием членов Политбюро ВКП(б) акцент был сделан **именно на шпионаже** в пользу фашистской Германии. Так, Сталин говорил о существовании гигантского антисоветского заговора, в который **по гражданской линии** были зачислены воедино такие деятели, как Л. Д. Троцкий, А. И. Рыков, Н. И. Бухарин, Я. Э. Рудзук, Л. М. Карахан, А. С. Енукидзе, Г. Г. Ягода, а по **линии военно-политической**, главной, — М. Н. Тухачевский, И. Э. Якир, И. П. Уборевич, А. И. Корк, П. П. Эйдеман и Я. Б. Гамарник, Б. М. Фельдман. Сталин на Военном Совете заявил: «Это военно-политический заговор. Это собственноручное сочинение германского рейхсвера. Я думаю, эти люди являются марионетками и куклами в руках рейхсвера. Рейхсвер хочет, чтобы эти господа систематически доставляли им военные секреты, и эти господа сообщали им военные секреты. Рейхсвер хочет, чтобы существующее правительство было снято, перебито, и они взялись за это дело, но не удалось. Рейхсвер хотел, чтобы в случае войны все было готово, чтобы армия (!) перешла к вредительству с тем, чтобы армия не была готова к обороне, этого хотел рейхсвер, и они это дело готовили. Это агентура, руководящее ядро военно-политического заговора в СССР, состоящее из 10 патентованных шпииков и 3 патентованных подстрекателей шпионов. Это агентуры рейхсвера. **Вот основное.**»

Но к величайшему удивлению историков-специалистов, по этому **главному пункту** обвинения следствие не получило ни от Сталина, ни от Ежова или Фриновского, которые с ним общались, **ни одного** конкретного доказательства! Владимир Карпов, автор интересной книги «Маршал Жуков. Его соратники и противники в дни войны и мира» (М., 1992), делает предположение: «Видимо... до начала заседания судьи были ознакомлены работниками НКВД с той фальшивкой, которая была подброшена гестапо». Но ведь ни одного свидетельства в пользу правоты этого предположения нет!

Пристегнув к вновь арестованным давно томившихся в застенках Примакова и Путну, получив какие-то новые странные указания насчет «правых», учтя дошедшие до них так или иначе слухи о «шпионаже», следствие вынесло путаное обвинение, о котором авторы книги «Реабилитация...» пишут: «Следствие, не располагая никакими объективными доказательствами о «заговоре» в Красной Армии, сфабриковало пять противоречащих друг другу предположений об обстоятельствах возникновения «заговора». По «делу» получается, что «заговор» возник: 1) по инициативе М. Н. Тухачевского, в его бонапартистских целях; 2) по директиве Л. Д. Троцкого; 3) по указанию центра правых; 4) по решению блока троцкистско-зиновьевской и правой организаций; 5) по установкам, исходившим от генштаба Германии. Материалы дела показывают, что все эти обстоятельства возникновения «заговора» от начала до конца являются вымышленными» (стр. 294, 303).

Но определенная путаница наблюдается и в материалах руководившего впоследствии реабилитацией обвиненных Бориса Викторова, выступившего со своими воспоминаниями на страницах газеты «Правда». Он пишет, что в начале 1955 года его вызвал Генеральный прокурор Союза ССР Р. А. Руденко для проведения реабилитации осужденных по делу о **«военно-фашистском заговоре»**. Именно такое обвинение инкриминировалось судимым в 1937 году — мы видели это по формулировкам «Правды» от 11 июня 1937 года. Но как следует из статьи того же Викторова, «Заговор» в Красной Армии» 31 января 1957 года Военная коллегия Верховного суда СССР по заключению Генерального прокурора сочла невиновными, оправдала участников «антисоветской **троцкистской** военной организации», формулировка **«военно-фашистский заговор»** вообще куда-то исчезла. Но ведь сам Сталин назвал **«основной»** шпионскую деятельность подсудимых именно на службе у рейхсвера! Почему же и в книге «Реабилитация...» «дело» Тухачевского именуется «Антисоветская **троцкистская** организация» в Красной Армии?»

Думаем, эта некоторая недоговоренность в решениях обеих инстанций связана с неопределенностью данных о дальнейшей судьбе «досье» Гейдриха—Гитлера. Во всяком случае, авторы книги «Реабилитация...» совершенно ясно указывают, что «ни в следственном деле, ни в материалах судебного процесса дезинформационные сведения зарубежных разведок о М. Н. Тухачевском и других военных деятелях **не фигурируют**. Свидетельств о том, что они сыграли какую-либо роль в организации «дела военных», **не обнаружено**». Но, с другой стороны, те же авторы пишут и нечто противоположное: где-то все же такая дезинформация имела место: «Материалы зарубежных разведок в значительной степени были рассчитаны на такие черты

характера И. В. Сталина, как болезненная мнительность и крайняя подозрительность и, по всей вероятности, **в этом они свою роль сыграли (?)**» (стр. 304, выделено нами.— Авт.). Так был ли вообще «мальчик», или его не было?

А впрочем, путаница была и остается и по более крупным вопросам! Некоторые источники ставят под сомнение само проведение суда над Тухачевским и его соратниками, само существование «процесса Тухачевского»!

А был ли «процесс Тухачевского»?

Вот что писали по поводу «процесса Тухачевского» лучшие наши аналитики в разведке той поры (занимавшиеся и террористической деятельностью): начальник военной резидентуры в Европе В. Кривицкий и начальник резидентуры НКВД в Европе А. Орлов — с их данными надо все же как-то разбираться...

«12 июня, — пишет В. Кривицкий, — пришло известие о расстреле восьми военачальников якобы по приговору военного трибунала из шести военачальников высших рангов.

По крайней мере один из этих шести судей, генерал Алкснис, по моим данным, уже был узником ОГПУ в тот момент, когда он, как сообщалось, вершил суд над своим прежним начальником Тухачевским.

Позже Алкснис был казнен. Такая же участь постигла двух других членов военного трибунала — генералов Дыбенко, Белова. Маршал Блюхер, четвертый член этого трибунала, попал в лапы ОГПУ через несколько месяцев.

На самом деле перед военным трибуналом **не предстал ни один человек** из группы Тухачевского. Не существовало даже подобия обвинения, выдвигаемого против этих жертв. Восемь генералов не были даже казнены вместе. Заключенные расстреляны по отдельности в разные дни. Ложное сообщение о том, что суд состоялся, сделано Сталиным для того, чтобы рядовые военные поверили этой сказке о «внезапном» раскрытии заговора в Красной Армии». (В. Кривицкий. Указ. соч., стр. 242).

Еще интереснее данные А. Орлова. «Я сделал все, что было в моих силах, — пишет он, — чтобы узнать детали трагедии, происшедшей с Тухачевским. Больше всего интересовали меня показания маршала и его товарищей на суде. Мои друзья и знакомые по НКВД, наезжавшие в Испанию, по своему положению обязаны были знать то, что происходило на суде, поскольку аппарату НКВД всегда поручались подготовка и охрана таких судилищ. Однако эти люди пожимали плечами: до того момента, как в газетах появилось сообщение о расстреле руководителей Красной Армии, они и понятия не имели об этом процессе.

Подробности, интересовавшие меня, я узнал только в октябре 1937 года от Шпигельгласа...

— Это был настоящий заговор! — восклицал Шпигельглас (он был позже расстрелян.— Авт.). Об этом можно судить по панике, охватившей руководство: все пропуска в Кремль были вдруг объявлены недействительными, наши части (части НКВД.— Авт.) подняты по тревоге! Как говорил Фриновский (зам. Ежова.— Авт.), «все правительство висело на волоске», невозможно было действовать, как в обычное время, — сначала трибунал, а потом уже расстрел. Их пришлось вначале расстрелять, затем оформить трибуналом!

Как утверждал Шпигельглас, сразу же после казни Тухачевского и его соратников Ежов вызвал к себе на заседание маршала Буденного, маршала Блюхера и других высших военных, сообщил им о заговоре Тухачевского и дал подписать заранее приговоренный «приговор трибунала» (Александр Орлов. Тайная история сталинских преступлений. М., 1991, стр. 232—233).

Был ли «заговор Тухачевского»?

Подобная путаница существует в литературе и по другим вопросам.

Большинство зарубежных авторов, рассказывая о подлоге Гейдриха—Гитлера, тем не менее признают существование самого заговора Тухачевского против Сталина чуть ли не со времен сотрудничества Германии с СССР в военной области в 1923—1933 годах.

Большинство советских авторов (исключая разве что Ю. Емельянова) утверждают обратное: никакого заговора и в помине не было, все это результат оговоров и самооговоров военных в застенках НКВД. Расхождение следует устранить, учитывая недавно введенные в советскую литературу о Тухачевском данные. Они сорок лет ждали своего часа...

В «Московских новостях» за 10—17 марта 1996 года нам довелось выступить со статьей «Сталин знал, что делал (невостребованное сообщение знаменитого разведчика)». Подзаголовок статьи относился не в последнюю очередь к книге Олега

Царева и Джона Костелло «Роковые иллюзии. Из архивов КГБ: дело Орлова, сталинского мастера шпионажа» (М., 1995).

Особое внимание Царева и Костелло привлек эпизод из жизни Орлова, происшедший 15 или 16 февраля 1937 года, когда к нему, лежавшему после автокатастрофы в гипсе в одной из клиник Парижа, приехал его кузен и друг, сотрудник НКВД Зиновий Кацнельсон, привезший ему сенсационные сведения о том, что Сталин был когда-то осведомителем охраны. «Я содрогался от ужаса на больничной койке,— вспоминал Орлов,— когда слушал историю, которую Зиновий осмелился рассказать мне...» — это место из статьи Орлова в журнале «Лайф» от 23 апреля 1956 года многозначительно цитируют Царев и Костелло в своей книге об Орлове (стр. 430). В приложенных к книге материалах опроса А. Орлова, проведенного американскими властями в 1965 году, они так характеризуют его позицию: «Он рассматривает материалы, опубликованные Левиным, как грубую подделку*. Материалы, о которых ему рассказал Кацнельсон, он считает подлинными» (стр. 470).

Сознательно или нет, мы не знаем, но Царев и Костелло обошли **истинную причину** приезда Кацнельсона — командарма 2-го ранга, заместителя начальника НКВД на Украине, к Орлову в Париж. Он умолял кузена позаботиться о судьбе своей дочери** в случае провала заговора Тухачевского, в который он был посвящен.

Оказывается, заговор, по словам Кацнельсона, действительно возник в 1936 году, после того как сотрудник НКВД Штейн (он кончит вскоре жизнь на Лубянке самоубийством)*** обнаружил в архивах бывшей охраны секретную «папку Виссарионова», заместителя директора Департамента полиции, свидетельствующую о провокаторстве Сталина, а также об его интриге против своего друга агента царской охраны Малиновского. Сталин, как оказалось, не только поставлял регулярные доносы на партийных товарищей, но и написал в своем доверительном письме, адресованном товарищу министра внутренних дел Золотареву, что Малиновский будто бы «работал усерднее для дела большевиков, чем для дела полиции». Разъяренный таким подживанием Золотарев приказал Виссарионову арестовать Сталина по приезду в Петербург и «ради пользы дела» сослать подальше в Сибирь. Это и было с ним проделано в 1913 году, после чего Сталин стал слать отчаянные письма своему «другу» Малиновскому и другим знакомым с мольбами о финансовой помощи (приведены Юрием Трифионовым в книге «Отблеск костра. Старик. Исчезновение». Изд-во «Московский рабочий», М., 1988, стр. 560—563).

«Папка Виссарионова» была отдана Штейном В. Балицкому — своему другу и бывшему начальнику НКВД Украины. Проверив вместе с Кацнельсоном подлинность документов, они, по свидетельству Кацнельсона, сумели передать ее маршалу Тухачевскому. Тот приступил к организации заговора с целью свержения и расстрела двурушника. В те дни, когда состоялась в Париже встреча Кацнельсона с Орловым, Тухачевский и его соратники находились в состоянии «сбора сил». Сведения о Сталине-провокаторе и заговоре против него высшего состава СССР и ужаснули Орлова. Как видим, поведение Сталина в 1936—1937 годах объяснялось отнюдь не «паранойей», как считают авторы (стр. 79).

Если бы Царев и Костелло обратились к статье «Был ли заговор против Сталина?», опубликованной в журнале «Октябрь» № 3 за 1994 год, то они увидели бы и полный перевод на русский язык статьи Орлова от 23 апреля 1956 года, которую мы выше вкратце пересказали, а также доказательства того, что «докладная» Сталина Золотареву была **вторым**, а не **первым** актом его интриги против Малиновского.

Еще в 1912 году, догадавшись о службе Малиновского в охране, Сталин послал ему из Греции в Россию **простой почтой** сугубо **конспиративное** письмо о заграничных партийных делах. Как он и задумывал, оно было через три дня перехвачено специальным отделом Департамента полиции в Санкт-Петербурге. Копия письма была переправлена жандармами за исходящим № 94182 от 25.I.1913 в Иностранное агентство Департамента полиции при русском посольстве в Париже. Смысл письма, копия которого хранится ныне в США в коллекции Гуверовского университета, прозрачен. Сталин изображал себя главным действующим лицом «при Ильиче», набивая себе цену в глазах охраны. В примечаниях к копии письма спецотдел Департамента полиции идентифицировал «Ильича» как Ленина, но не общал, кто же был отправитель письма Малиновскому, подписавшийся «Твой Вас.», «Вас.», «Василий», что было известно зарубежному отделу охраны,— пар-

* В 1956 г. американский историк Исаак Дон Левин пытался было объяснить репрессии 1937 г. принадлежностью Сталина к охране, но опирался на документ, оказавшийся фальшивкой. См. об этом: Р. Такер. Сталин. Путь к власти. 1879—1929. История и личность. М., 1990, стр. 106.

** Она дождала до наших дней и помнит обстоятельства ареста отца.

*** Факт этот, сообщенный в статье Орлова в журнале «Лайф», подтвердил на семинаре, который вел в Институте международного рабочего движения АН СССР Е. Г. Плимак, знакомый семьи Штейна В. И. Илюшенко.

тийный псевдоним Джугашвили, он же Коба, он же Сталин (См. об этом в книге американского специалиста по делам царской охраны Э. Э. Смитса — Eduard Ellis Smith. *The Young Stalin, the early years of an elusive revolutionary.* Cassel-London, 1966, p.p. 276—290).

Напомним наконец такой известный факт. Когда после Октябрьской революции был сведен воедино и повторно предан гласности список 12 агентов охраны, внедренных в ряды РСДРП, то 11 из них, фамилии которых были раскрыты, понесли заслуженную кару. Ушел от нее только 12-й, значившийся под партийной кличкой «Василий». В сумятице политических бурь 1917-го никто не догадался соотнести кличку «Василий» со Сталиным — деятели Охранного отделения были перебиты или бежали, а большевики были заняты встречами Ленина и обсуждением его «Апрельских тезисов», которые привели страну к Октябрю 1917-го. В решающие дни Октября Сталин (он же Василий) просто уклонился — что симптоматично — от работы в органах, решавших судьбу революции: Военно-Революционным Комитете (ВРК) и Военной организации большевиков (ВО) (См. подробнее: Роберт Слассер. *Сталин в 1917 году. Человек, оставшийся вне революции.* М., 1988, стр. 278; см. также сборник «Большевики». М., 1918, стр. IX.)

Вернемся теперь к 30-м годам. А. Орлов не уточняет в своей статье, в каком месяце 1936 года была обнаружена записка «папка Виссарионова», с которой тогда же были сняты копии. Но, видимо, в том же, 1936 году Сталин узнает о заговоре военных и начнет готовиться к нему как в СССР, так и за границей, надеясь на «подмогу» Берлина...

На вопрос, почему обе стороны так долго тянули с решительными действиями, мы бы ответили так. Промедление Сталина было связано с раскручиванием «ежовщины» и ожиданием реакции Гитлера. Промедление Тухачевского Карелл—Шмидт справедливо связывает с тем, что «трудно было координировать действия офицеров генштаба и командиров армий, которые находились на расстоянии тысячи километров друг от друга» (и тщательно опекались НКВД, добавим мы) (Paul Carell. *Op. cit.*, p. 191).

Какие-то слухи о возможных перемещениях мятежных частей РККА и даже якобы предупрежденном теракте против Сталина в день празднования 1 мая 1937 года передает в своих статьях Ю. Емельянов. Но В. Кривицкий, лично присутствовавший на первомайском параде, в своей книге свидетельствует о наводнении гостевых трибун агентами НКВД и рисует фигуры понурых военачальников на трибуне мавзолея, вряд ли способных на какое-либо активное действие против Сталина.

Одно дополнительное соображение по поводу «германофильства» Тухачевского, как причине его заговора. На Западе эту версию развивает Джоффри Бейли в книге «Заговорщики», у нас ее поддерживает до последнего времени Ю. Емельянов в своих статьях. «Разумеется,— пишет последний,— аресты многих военачальников накануне войны не способствовали укреплению профессионализма вооруженных сил. Однако вряд ли следует возлагать вину за происшедшие события на «параноидальную подозрительность» Сталина. Приход же к власти людей, веривших в перспективу сотрудничества с «новой Германией», мог привести к подчинению нашей страны интересам этой державы и игнорировал главную цель Гитлера: поход на Восток» («Мифы о Сталине», «Слово», 1995, №№ 11—12, стр. 79).

Но следовало бы обратить внимание на источник, которым пользуются Бейли—Емельянов. Все их сведения получены из инспирированной НКВД книги Майкла Сейерса и Альберта Кана «Тайная война против Советской России» (М., 1947. Впервые издана на английском языке в 1946 г.). Построена книга в основном на материалах сталинских процессов. Авторы уверяют в один голос, что Тухачевский на приеме в Советском посольстве в 1936 году сказал, обращаясь к румынскому послу Титулеску, следующее: «Напрасно, господин министр, вы связываете свою карьеру и судьбу своей страны с судьбами таких старых, конченных государств, как Великобритания и Франция. Мы должны ориентироваться на новую Германию. Я уверен, что Гитлер означает спасение для нас всех» (Указ. соч., стр. 330—331). Но можно ли вообще верить некоему неизвестному Э. Шакену Эссезу, который якобы «записал» эти слова? Правда, Сейерс и Кан ссылаются еще и на известную французскую журналистку Женевьеву Табуи, которая описала тот же прием в своей книге «Меня называют Кассандрой». Она свидетельствует, что Тухачевский «распылился в похвалах нацистам» и, склонясь к ней, громко повторял: «Они уже непобедимы». Но сравнение «пособия» Сейерса и Кана с книгой самой Табуи говорит о том, что воспроизведены воспоминания французской журналистки неполно, а главное, неточно. Табуи, присутствовавшая на двух официальных советских приемах (сначала в Москве, затем в Париже), обратила внимание на совершенно противоположное поведение Тухачевского в первом и втором случаях. На пьянке, устроенной Сталиным в Москве, он держался «сдержанно», «отстраненно» от веселья; на приеме в Советском посольстве в Париже был навязчив и громко болтал, разыгрывая, как мы полагаем, спектакль, рассчитанный на запугивание гостей силой немцев (всех их Табуи называет «нацистами»). Недаром же один крупный дипломат проворчал на ухо

Табуи, когда они покидали устроенный послом прием: «Надеюсь, что не все русские думают так!» (сравни: М. Сейерс и А. Кан. Указ. соч., стр. 330—331 и Geneviève Tabouli. Ils l'ont appelée Cassandre, N. Y., 1942, p.p. 247—249).

Полную лояльность Тухачевского советским властям подчеркивают германские должностные лица, имевшие с ним дело в 30-х годах. Так, немецкий дипломат Густав Хильгер в книге «Кремль и мы» передает содержание длительной беседы Тухачевского с советником посольства Германии фон Твардовским 6 октября 1933 года. Он пишет, что после прекращения Германией военного сотрудничества с СССР офицеры обеих армий сохраняли дружеские чувства друг к другу, о чем и заявил Тухачевский фон Твардовскому: «Не забывайте, нас различает ваша политика, а не наши чувства, чувства содружества Красной Армии с рейхсвером». Германия и Советский Союз «могут совместно продиктовать мир всему миру». Но в случае нападения на нас Красная Армия «сумеет показать, чему она научилась». То же самое, утверждает Хильгер, говорили в то время начштаба РККА Егоров и сам Ворошилов. В свете этого казнь 80% высшего состава РККА по обвинению в измене родине автор считает «полной нелепостью». «То, что говорили и делали Тухачевский и другие, делалось с ведома и одобрения и даже по прямому приказанию высших органов государства и армии. И прежде всего нельзя забывать, что Тухачевский одним из первых предупредил о немецкой опасности и поддержал политику Литвинова» (Gustav Hilger. Wir und der Kreml. Deutsch – sovietische Beziehungen 1918—1941. Erinnerung eines deutschen Diplomaten. Berlin. 1956, s.s. 259—260).

Об «антисоветских и реваншистских планах Гитлера» Тухачевский предупреждал своих соотечественников в статье «Правды» от 31 марта 1935 года «Военные планы нынешней Германии», которую игнорирует Ю. Емельянов (она была перепечатана в «Военном вестнике» № 4 за тот же 1935 год — М. Н. Тухачевский. Избр. произв., т. 2, М., 1964).

Если кто и страдал своеобразным «германофильством», то это сам Сталин, который, по данным Кривицкого, уже в 1937 году стал свертывать нашу агентурную сеть в Германии и послал в Берлин к Гитлеру своего полномочного представителя Давида Канделаки для заключения союза СССР с Германией (По данным В. Кривицкого). Справедливый вывод делает Шелленберг в своих «Мемуарах»: «Дело Тухачевского явилось первым нелегальным прологом будущего альянса Сталина с Гитлером, который после подписания договора о ненападении 23 августа 1939 года стал событием мирового масштаба» (В. Шелленберг. Указ. соч., стр. 45).

В своей статье в журнале «Октябрь» (1994, № 3) «Был ли заговор против Сталина?» мы приводили предсмертное пожелание, высказанное еще в 1989 году академиком А. Самсоновым на страницах «Московской правды»: «Надо **передать гласности и изучить** все документы, связанные с деятельностью Сталина, создав для этого компетентную комиссию». Ныне на дворе год 1997-й, приближается 60-летие страшной драмы, развязанной в СССР в 1937 году Сталиным с подачи Гитлера, драмы, за которую советские люди расплатились в Отечественную войну десятками миллионов жизней. Но никто не торопится изучать всерьез приведенные выше сведения и документы...

И все же мы верим, что столетнего «юбилея» — для внесения полной ясности в картину страшной расправы над Тухачевским и его соратниками — ждать не придется. Мы думаем, что недалек тот час, когда будут слова А. Орлова, сказанные еще в 1953 году в его книге «Тайная история сталинских преступлений»: «Когда станут известны все факты, связанные с делом Тухачевского, мир поймет: Сталин знал, что делал...» (Указ. соч., стр. 232). «Я говорю об этом, — добавлял А. Орлов в статье от 23 апреля 1956 года, — с уверенностью, ибо знаю из абсолютно точного и несомненного источника, что дело маршала Тухачевского было связано с самым ужасным секретом, который, будучи раскрыт, бросит свет на многое, кажущееся непостижимым в сталинском поведении».

Как бы глубоко ни прятал Сталин концы «дела» Тухачевского, уничтожая и копии «папки Виссарионова», и «досье Гитлера», и самого Тухачевского с его соратниками, и их следователей и судей, и самого Ежова с его приспешниками, и Скоблина,* и многие тысячи вообще не причастных к заговору генералов и офицеров, зловещая тайна, похоже, все-таки выходит на свет. Выходит, несмотря ни на что...

* Скоблина после его провала во время похищения руководителя РОБС генерала Миллера наши разведчики прятали некоторое время в Париже, а затем просто выбросили из самолета, зафрахтованного А. Орловым для полета из Франции в Испанию. План был разработан «Шведом» (Орловым) и «Яшей» (Серебрянским) и одобрен самим «Хозяином» (Сталиным.) (См. об этом: Никита Петров, Наталья Геворкян. Конец агента «13». «Московские новости» № 86 от 17 — 24 декабря 1995 г.)

«Это светлое имя — Пушкин»

По страницам Онегинской энциклопедии

Во втором номере журнала «Октябрь за 1995 год было напечатано 15 статей из Онегинской энциклопедии, обширного коллективного труда, работа над которым продолжается. К настоящему времени в основном завершена работа над первым томом (А—Ж), включающим около трехсот статей. Публикуемые ниже материалы, связанные с разнообразными явлениями литературы, искусства, культуры и быта первой трети XIX века, оразившимися на страницах «Евгения Онегина», приближают нас к постижению главного и любимого произведения Пушкина, которое стало одним из центральных явлений русской культуры.

Н. И. МИХАЙЛОВА

ДУЭЛЬ («Учтиво, с ясностью холодной /Звал друга Ленский на дуэль») — от франц. duel, от лат. duellum — поединок, бой с применением оружия, происходящий между двумя лицами по определенным правилам и имеющий целью восстановление чести одного из обиженных (оскорбленных) дуэлянтов. Дуэль — сословно-дворянский обычай, получивший распространение в России в XVIII—XIX вв. Упоминание о дуэли содержится еще в памятниках древнего римского права. Однако понятие duellum в то время употреблялось в другом значении. Оно было равносильно понятию bellum, то есть единоборство, и заключалось в особой форме войны, когда воюющие стороны представляли разрешение их спора определенным воинам, выбранным из их среды. Такое правило ведения войны известно и в российской истории. Так, знаменитая Куликовская битва (1380 г.) началась единоборством монаха Троице-Сергиевского монастыря Пересвета с татарским богатырем Темир-мурзой (Челюбеем). <...>

В России обычай дуэли получил распространение в дворянской среде гораздо позже, чем в Западной Европе (ее прообразом был кулачный бой, не являвшийся привилегией лишь дворянства, — см., например, у Лермонтова в его «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»). Тем не менее Петр I, фактически упреждая события, также запретил дуэли. В соответствии с Указом Петра от 14 января 1702 г. о запрещении поединков «всем обретающимся в России и выезжающим иностранным, поединков ни с каким оружием не иметь, и для того никого не вызывать и не выходить: а кто вызвав на поединок ранит, тому учинена будет смертная казнь...». Спустя некоторое время Петр I более детально разработал условия ответственности за дуэли, ужесточив за них наказание. Так, в 1715 г. им был издан Артикул воинский, в соответствии с которым регламентировалась ответственность непосредственно самих дуэлянтов, а также секундантов и тех, кто мог предотвратить поединок, но не сделал этого. Согласно с артикулом 139 наказывались непосредственные дуэлянты («... как вызыватель, так и кто выйдет, имеет быть казнен, а именно повешен, хотя из них кто будет ранен или умерщвлен, или хотя оба не ранены от того отойдут. И ежели случитца, что оба или один из них в таком поединке останетца, то их и по смерти за ноги повесить»). Такому же наказанию должны были подлежать и секунданты. Преступность дуэльного поединка была подтверждена и Манифестом Екатерины II о поединках 1787 г.

Некоторое смягчение ответственности за дуэль в России произошло в соответствии с изданием Свода законов Российской империи 1832 г. (вступившего в силу с 1 января 1835 г.). В нем наконец-то за дуэль отменялась смертная казнь. В дальнейшем уголовное законодательство России последовательно снижало размер наказания за дуэль и за причинение на ней смерти или увечий. Так, в Уложении о наказа-

ниях уголовных и исправительных 1845 г. (в редакции издания 1885 г., действовавшей до октября 1917 г.) за поединки, последствием которого являлась смерть или нанесение увечий, или иной тяжкой раны, виновный мог быть подвергнут заключению в крепость на срок от четырех до шести лет и восьми месяцев в случае смертельного исхода и от двух до четырех лет в случае нанесения увечий или иной тяжкой раны. В конце XIX в. Высочайшим повелением от 13 мая 1894 г. об установлении для военного ведомства правил о разбирательстве ссор, случающихся в офицерской среде, дуэль в России приобретает узаконенный характер. Дело о дуэли могло быть прекращено (и не только в отношении военных, но и гражданских лиц, участвовавших в поединке). Однако применительно к онегинским дуэлям эти нормы не имели никакого значения, и мы должны рассматривать вопрос о наказании дуэлянтов в соответствии с Воинским артикулом Петра I.

Следует отметить, что реальная судебная практика вовсе не соответствовала жестокому законодательству об ответственности за дуэль. Обычно дуэлянты приговорились к мягким мерам наказания. За дуэль переводили из гвардии в армию (например, Швабрин в «Капитанской дочке»), переводили в действующую армию на Кавказ (Лермонтов за дуэль с де Барантом), подвергали кратковременному заключению в крепости или на гауптвахте (Мартьянов — убийца Лермонтова — был приговорен к трем месяцам гауптвахты, а секунданты прощены). Все это вполне объяснимо, так как приговоры по делу о дуэли выносились военными судами, в которые по каждому конкретному случаю назначались офицеры. Последние, конечно же, не могли не разделять (внутренне) требования дворянской морали и чести, в соответствии с которыми дуэлянты и оказались подсудимыми. Каждый из них за пределами судебного разбирательства должен был подчиниться не соответствующим законодательным предписаниям о дуэли (на основании которых должен был выноситься приговор по делу), а тем же нравственным нормам.

Общей судебной практике не соответствовало наказание, вынесенное военным судом по делу о последней трагической дуэли Пушкина. Военно-судная комиссия в точном соответствии с требованиями Воинского артикула Петра I приговорила и Дантеса как непосредственного дуэлянта, и Данзаса как секунданта к смертной казни путем повешения. При этом было оговорено, что такового наказанию «подлежал бы и подсудимый Пушкин, но как он уже умер, то суждение его за смертью прекратит» (Дуэль Пушкина с Дантесом—Геккереном. Подлинное военно-судное дело. 1837. СПб., 1900, с. 107). Ревизионная инстанция (Генерал-аудиториат) хотя и не сочла возможным применить к дуэлянтам смертную казнь, однако вынесла также достаточно суровое по тем временам наказание Дантесу — разжалование в солдаты («лишив чинов и приобретенного им Российского дворянского достоинства написать в рядовые»). Данзас как секундант в соответствии с обычной для таких дел судебной практикой был присужден к пребыванию на гауптвахте на двухмесячный срок. И лишь царь (Николай I) фактически простил убийцу поэта, ограничившись его разжалованием и высылкой за границу.

Как бы то ни было, но в соответствии с российским законодательством убийство Онегина Ленского на дуэли рассматривалось как тяжкое преступление. В связи с этим в реальной действительности было два возможных варианта развития последовательных событий. Первый — судебный процесс по делу о дуэли. Второй — его отсутствие при удачном для главных действующих лиц сокрытии следов преступления. Последний вариант достоверно описан Лермонтовым в его «Герое нашего времени». Друг Печорина доктор Вернер в своей записке ему свидетельствовал: «Все устроено как можно лучше: тело привезено обезображенным, пуля из груди вынута. Все уверены, что причиною его смерти несчастный случай; только комендант, которому, вероятно, известна ваша ссора, покачал головой, но ничего не сказал. Доказательств против вас нет никаких, и вы можете спать спокойно, если можете...» (М. Ю. Лермонтов. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. М., 1958, с. 139).

Пушкин в «Онегине» выбрал именно второй вариант. А это означает, что дуэль и истинные причины смерти Ленского удалось скрыть от полиции и правосудия. Правда, в отличие от лермонтовской версии пушкинская, мягко говоря, менее обоснована самим автором (по крайней мере не так тщательно и, думается, вполне намеренно). Дело в том, что в случае, если бы Онегину и секунданту Ленского — Зарецкому, друзьям погибшего на дуэли — семейству Лариных и удалось бы представить смерть юного поэта в виде какого-то несчастного случая, то последний должен был бы быть похоронен, как и все православные, умершие естественной смертью, на кладбище. Пушкин же похоронил его в другом месте («Есть место: влево от селенья, / Где жил питомец вдохновенья, / Две сосны корнями срослись; / Под ними струйки извились / Ручья соседственной долины. / Там пахарь любит отдыхать, / И жницы в волны погружать / Приходят звонкие кувшины; / Там у ручья в тени густой / Поставлен памятник простой»). В седьмой главе романа автор вновь описывает место погребения Ленского («Меж гор, лежащих полукругом, / Пойдем туда, где ручеек, / Виясь, бежит зеленым лугом / К реке сквозь липовый лесок... / Там виден

камень гробовой / В тени двух сосен устарелых, / Пришельцу надпись говорит: / «Владимир Ленский здесь лежит, / Погибший рано смертью смелых, / В такой-то год, таких-то лет. / Покойся, юноша-поэт!». <...>

Несмотря на абсолютный церковный и уголовно-правовой запрет дуэлей как таковых существовали особые «нормативные» (разумеется, неофициальные) правила таких поединков. Конечно, эти правила были неписанные, так как, по справедливому замечанию Ю. М. Лотмана, «никаких дуэльных кодексов в русской печати, в условиях официального запрета, появиться не могло*, не было и юридического органа, который мог бы принять на себя полномочия упорядочения правил поединка... Строгость в соблюдении правил достигалась обращением к авторитету знатоков, живых носителей традиции и арбитров в вопросах чести» (Ю. М. Лотман. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Пособие для учителя. Изд. второе. Л., 1983, с. 96).

В «Онегине» знатоком таких дуэльных традиций является Зарецкий («В дуэлях классик и педант, / Любил методу он из чувства, / И человека растянуть / Он позволял — не как-нибудь, / Но в строгих правилах искусства / По всем преданьям старины...»).

Основные условия дуэли предполагали соблюдение следующих правил: 1. относительно порядка вызова на дуэль; 2. относительно выбора секундантов; 3. относительно выбора оружия; 4. относительно времени и места поединка; 5. относительно порядка производства выстрелов (если дуэль предполагалась на пистолетах).

Дуэльному поединку обязательно предшествовал вызов на дуэль. Его причиной было какое-либо столкновение между противниками, в результате которого один из них считал себя оскорбленным. Последний выбирал себе секунданта («Но где же, — молвил с изумленьем / Зарецкий, — где ваш секундант?»), то есть свидетеля, посредника между дуэлянтами и распорядителя на дуэли, и обычно уже тот направлял противнику письменный вызов, или картель, от инициатора дуэли («Тот после первого привета, / Прервав начатый разговор, / Онегину, ослабля взор, / Вручил записку от поэта. / К окну Онегин подошел / И про себя ее прочел. / То был приятный, благородный, / Короткий вызов, иль картель; / Учтиво, с ясностью холодной / Звал друга Ленский на дуэль»).

Правда, в реальной жизни указанное правило нарушалось, в том числе и самим Пушкиным. Так, И. П. Липранди следующим образом описывает в своем «Дневнике» вызов Пушкиным на дуэль (в кишиневский период) Ф. Ф. Орлова (брата генерала М. Ф. Орлова) и А. П. Алексеева по вполне пустяковому поводу во время выпивки и игры на бильярде: «Пушкин рванулся от меня и, перепутав шары, не оста ся в долгу и на слова; кончилось тем, что он вызвал обоих, а меня пригласил в секунданты» (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. В двух томах. Том I. М., 1985, с. 332).

После получения противником вызова будущие дуэлянты уже не должны были общаться, то есть встречаться или обмениваться письмами. Все это должны были делать их секунданты. Однако в дуэли Онегина с Ленским о секундантах во множественном числе можно говорить лишь весьма условно, так как, по сути дела, таковым можно было признать лишь секунданта Ленского («Зарецкий, некогда буян, / Картежной шайки атаман / Глава повес, трибун трактирный, / Теперь же добрый и простой / Отец семейства холостой, / Надежный друг, помещик мирный / И даже честный человек...») Из этой и последующей характеристик секунданта Ленского видно, что образ Зарецкого дан поэтом в сатирическо-юмористическом плане (в литературоведении небезосновательно предполагается, что прообразом Зарецкого является Ф. Толстой, с которым поэт в пору написания онегинских строф находился во враждебно-неприятных отношениях и к дуэли с которым он готовился). Однако главное, что Зарецкий (как Ленский и Онегин) — дворянин, помещик, то есть равный им по социальному положению. Другое дело — «секундант» Онегина, его лакей француз Гильо. Такой выбор не мог не оскорбить противную сторону. Трудно, например, представить преддуэльное обсуждение условий дуэли между этими секундантами. Но, поскольку для Зарецкого главным в этой истории было «Друзей поссорить молодых, / И на барьер поставить их...», и он понял, что Онегин не отступит от своего решения насчет секунданта, Зарецкий вынужден был согласиться с такой кандидатурой.

Следует отметить, что взгляд Онегина на выбор секунданта полностью разделялся самим Пушкиным. Онегинский вариант Пушкин пытался претворить в жизнь и в своей последней дуэли. Еще утром в день дуэли он направил секунданту Дантеса д'Аршиаку записку, в которой, в частности, сообщал: «Так как вызывает меня и

* Это утверждение относится к пушкинскому времени. Позднее, в конце XIX — начале XX в., когда обычай дуэли перестал носить массовый характер даже в среде военных и он фактически, как уже отмечалось, был узаконен, такие дуэльные кодексы издавались (см., например, Дурасов. Дуэльный кодекс. Град св. Петра. 1908).

является оскорбленным г-н Геккерен, то он может, если ему угодно, выбрать мне секунданта; я заранее его принимаю, будь то хотя бы его выездной лакей. Что же касается часа и места, то я всецело к его услугам. По нашим, по русским обычаям этого достаточно» (А. С. Пушкин. Собр. соч. в десяти томах. Т. 10, М., 1978, с. 320). Однако д'Аршиак был не Зарецкий и такой «номер» в этой дуэльной истории «не прошел». Д'Аршиак категорически настоял на том, чтобы Пушкин выбрал себе настоящего секунданта, и поэту пришлось втянуть в эту историю своего лицейского товарища Данзаса. <...>

Договоренность о месте и времени дуэли также являлась необходимым атрибутом преддуэльных переговоров, без которой, конечно же, никакой поединок не был возможен («Они на мельницу должны / Приехать завтра до рассвета, / Ввести друг на друга курок / И метить в ляжку иль в висок»). С местом было все в порядке, чего нельзя сказать о времени. В этом отношении произошел конфуз. В нарушение преддуэльной договоренности Онегин, банально проспав, значительно опоздал к началу дуэли, и ему пришлось извиняться. По строгим правилам неявка одного из противников в течение четверти часа давала право явившемуся вовремя оставить место поединка, а секунданты должны были составить протокол, свидетельствующий о неприбытии противника (см.: Дурасов, с. 56). Зарецкий этого не сделал. В связи с этим следует согласиться с мнением Ю. М. Лотмана о том, что «Зарецкий вел себя не только не как сторонник соблюдения правил искусства дуэли», но и «как лицо, заинтересованное в максимально скандальном и шумном — что применительно к дуэли означало кровавом — исходе» (Ю. М. Лотман, с. 99). В силу же серьезности нарушения дуэльных правил он (Зарецкий) не только мог, но и обязан был сделать это.

Наиболее тщательно условия дуэли должны были соблюдаться в ходе поединка как такового, то есть непосредственно во время обмена противниками пушечными выстрелами. В этом случае речь шла о размере дистанции, на которую разводились стрелявшие, о барьерах, от которых каждый из дуэлянтов мог стрелять в противника, о количестве шагов, которые он мог сделать при этом, об очередности выстрелов, о поведении противника после выстрела. Насколько скрупулезно порой соблюдались эти условия, можно судить по документально сохранившимся условиям трагической пушкинской дуэли, выработанных ее секундантами:

«Условия дуэли между г. Пушкиным и г. бароном Жоржем Геккереном.

1. Противники становятся на расстоянии двадцати шагов друг от друга, за пять шагов назад от двух барьеров, расстояние между которыми равняется десяти шагам.

2. Противники, вооруженные пистолетами, по данному сигналу, идя один на другого, но ни в коем случае не переступая барьера, могут пустить в дело свое оружие.

3. Сверх того принимается, что после первого выстрела противникам не дозволяется менять место для того, чтобы выстреливший первым подвергся огню своего противника на том же расстоянии.

4. Когда обе стороны сделают по выстрелу, то, если не будет результата, поединок возобновляется на прежних условиях: противники ставятся на то же расстояние в двадцать шагов, сохраняются те же барьеры и те же правила.

5. Секунданты являются неизменными посредниками во всяком объяснении между противниками на месте боя.

6. Нижеподписавшиеся секунданты этого поединка, облаченные всеми полномочиями, обеспечивают, каждый за свою сторону, свою честью строгое соблюдение изложенных здесь условий.

Константин Данзас,
инженер-подполковник
Виконт д'Аршиак,
атташе французского посольства»

(Модзалевский Б., Оксман Ю., Цявловский М. Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина. Пг., 1924, с. 86.)

Условия пушкинской дуэли были жестокие, но это соответствовало в первую очередь пушкинскому настрою. Известно, что еще в ноябрьские дни 1836 г., когда роль секунданта по просьбе поэта взял на себя В. А. Соллогуб, Пушкин сказал ему: «Ступайте завтра к д'Аршиаку. Условьтесь с ним только насчет материальной стороны дуэли. Чем кровавее, тем лучше. Ни на какие объяснения не соглашайтесь» (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. II, с. 341). «Кровавые» условия этого поединка вполне объяснялись его серьезнейшими причинами.

Условия дуэли Онегина с Ленским также были довольно жестокими («Зарецкий тридцать два шага / Отмерил с точностью отменной, / Друзей развел по крайний след, / И каждый взял свой пистолет»; «Теперь сходитесь / Хладнокровно, / Еще не целясь, два врага / Походкой твердой, тихо, ровно / Четыре перешли шага, / Четыре смертные ступени. / Свой пистолет тогда Евгений, / Не переставая насту-

пять, / Стал первым тихо поднимать. / Вот пять шагов еще ступили, / И Ленский, жмуря левый глаз, / Стал также целить — но как раз / Онегин выстрелил...»). <...>

Как отмечалось, необходимым условием дуэли было обозначение барьеров («И на барьер поставить их»). В «Словаре языка Пушкина» это понятие определяется следующим образом: «Каждая из двух черт на земле, отмечающих расстояния между дуэлянтами, с которого они стреляют друг в друга (Том 1, М., 1956, с. 56). В зимнее время барьеры обозначались обычно верхней одеждой противников. Так, из письма д'Аршиака Вяземскому об обстоятельствах последней пушкинской дуэли следует: «Когда барьеры были назначены шинелями... Господин Пушкин был ранен, что он сам сказал, упал на шинель, которая была вместо барьера...» (Дуэль Пушкина с Дантесом—Геккереном, с. 57—58).

Строгие правила дуэли предполагали и порядок (последовательность) производства выстрелов противниками. Однако эти вопросы решались неоднозначно и секунданты имели в запасе определенные варианты. Во-первых, признавалось право первого выстрела за оскорбленным. Во-вторых, очередность выстрелов определялась жребием (у Пушкина — в «Выстреле», у Лермонтова — в «Герое нашего времени»). В-третьих, в этом отношении противникам предоставлялось равное право (дуэль Пушкина с Дантесом, Онегина с Ленским).

Возможные варианты поведения противников и секундантов непосредственно во время дуэли, вызванные иногда различным толкованием дуэльных правил, подчас порождали споры в оценке правомерности выбора соответствующего варианта. Это произошло, например, в дуэли Пушкина с Дантесом. Д'Аршиак в упоминавшемся письме к Вяземскому отмечал: «Господин Пушкин был ранен, что он сам сказал... Секунданты приблизились, он до половины приподнялся и сказал: погодите; оружие, которое он имел в руке, было покрыто снегом, он взял другое; я бы мог на его сделать возражение, но знак Барона Жоржа Геккерена меня остановил; Г. Пушкин, опершись левою об землю, прицелил твердою рукою, выстрелил...» (Дуэль Пушкина с Дантесом—Геккереном, с. 57—58). Получается, что секундант Дантеса сделал попытку бросить тень как на репутацию самого поэта, так и его секунданта. Данзас, ознакомившись с этим письмом, категорически возразил такой трактовке данной дуэльной ситуации. В письме к Вяземскому он пишет: «...я не могу оставить без возражения замечания Г. д'Аршиака, будто бы он имел право оспаривать обмен пистолета, и был удержан в том знаком со стороны Г. Геккерена. Обмен пистолета не мог подать повод у время поединка ни к какому спору. По условию каждый из противников имел право выстрелить, пистолеты были с пистонами, следовательно, осечки быть не могло; снег, забившийся в дуло пистолета А. С., усилил только удар выстрела, а не отвратил бы его; никакого знака со стороны г-на д'Аршиака, ни со стороны Г. Геккерена подано не было. Что до меня касается, я почитаю оскорбительным для памяти Пушкина предположение, будто он стрелял в противника своего с преимуществами, на которые не имел права. Еще раз повторяю, что никакого сомнения против правильности обмена пистолета оказано не было; если б оно могло возродиться, то Г. д'Аршиак обязан бы был объявить возражение свое и не останавливаться знаком, будто от Г. Геккерена поданным; к тому же сей последний не иначе мог бы узнать намерение Г. д'Аршиака, как тогда, когда оно было выражено словами; но он их не произнес; я отдаю полную справедливость бодрости духа, показанной во время поединка Г. Геккереном, но решительно опровергаю, чтобы он произвольно подвергнулся опасности, которую бы мог от себя устранить; не от него зависело не уклониться от удара своего противника после того, как он свой нанес» (Дуэль Пушкина с Дантесом—Геккереном, с. 59).

Возвращаясь к жестоким условиям онегинской дуэли и в особенности к ее кровавой развязке, следует согласиться с тем, что автор романа в стихах психологически убедительно обосновал поведение Онегина. Безусловно, внутренне он не только не хотел убивать юного поэта, но, сознавая небезупречность своего поведения, вообще не хотел драться с ним на дуэли («...Евгений / наедине с своей душой / Был недоволен сам собой»). «... в разборе строгом, / На тайный суд себя призвав, / Он обвинил себя во многом: / Во-первых, он уж был не прав, / Что над любовью робкой, нежной / Так подшутил ввечор небрежно»). И все-таки он вышел на поединок и убил своего друга. И Пушкин приводит тому убедительные причины: «К тому ж — он мыслит — в это дело / Вмешался старый дуэлист; / Он зол, он сплетник, он речист... / Конечно, быть должно презреньем! / Ценой его забавных слов, / Но шепот, хохотная глумцов... / И вот общественное мнение! / Пружина чести — наш кумир! / И вот на чем вертится мир!». Именно в этом коренится психологическое обоснование «невольной» жестокости Онегина. Как справедливо отмечал Ю. М. Лотман, «Поведение Онегина определялось колебаниями между естественными человеческими чувствами, которые он испытывал по отношению к Ленскому, и боязнию показаться смешным или трусливым, нарушившим условные нормы поведения у барьера» (Ю. М. Лотман, с. 104). Онегин был человеком своего времени, своего класса, своего круга, носителем определенных нравственных представлений о чести. Иная ли-

ния поведения сделала бы его не только смешным, но и жалким во мнении окружающих, на что он, конечно же, не мог согласиться.

А. В. НАУМОВ

БУЯНОВ — герой поэмы В. Л. Пушкина «Опасный сосед» (1811).

В пятой главе «Евгения Онегина» Пушкин привел его на именины Татьяны и представил читателям так:

Мой брат двоюродный, Буянов,
В пуху, в картузе с козырьком
(Как вам, конечно, он знаком).³⁵

Называя Буянова своим двоюродным братом, Пушкин шутливо заявлял о том, что «отцом», то есть создателем этого литературного героя, был его дядя Василий Львович. 2 января 1822 г. в письме к П. А. Вяземскому, спрашивая о готовящемся издании стихотворений дяди, племянник не забыл о Буянове: «Скоро ли выдут его творенья? все они вместе не стоят Буянова; а что-то с ним будет в потомстве? Крайне опасуюсь, чтобы двоюродный брат мой не почелся моим сыном — а долго ли до греха». Опасения Пушкина были небезосновательны. Незадолго до приведенного письма в декабре 1821 г. он с И. П. Липранди был в Аккермане у полковника А. Г. Непенина. Когда поэта представили полковнику, тот спросил у И. П. Липранди: «Что, это тот Пушкин, который написал Буянова?» И. П. Липранди в своих воспоминаниях описал ребяческое огорчение поэта-племянника. «Как же, полковник и еще Георгиевский кавалер, не мог сообразить моих лет с появлением рассказа?» — говорил Пушкин («Русский архив». 1866, с. 1452). Таким образом, называя в «Евгении Онегине» Буянова своим двоюродным братом, Пушкин отводил от себя авторство «Опасного соседа», которое ему приписывалось.

Стих «В пуху, в картузе с козырьком» — прямая цитата из «Опасного соседа». Небезынтересно указать на то, что в 1815 г. этот же стих процитировал П. А. Вяземский в театральном фельетоне «Письмо с Липецких вод», где речь шла о комедии А. А. Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды», в которой был представлен пародирующий В. Л. Пушкина и его героя Буянова отставной гусар Угаров («Российский музей», 1815, № 12, с. 258).

В примечании 35 к «Евгению Онегину» Пушкин привел текст из поэмы дяди:

Буянов, мой сосед,
.....
Пришел ко мне вчера с небритыми усами,
Растрепанный, в пуху, в картузе с козырьком.
(«Опасный сосед»)

Черновые рукописи «Евгения Онегина» свидетельствуют о том, что Пушкин искал наиболее удачные слова, чтобы представить Буянова читателю:

Мой брат двоюродный Буянов
В ермолке, в бронзовых цепях,
В узорной куртке и в усах.

Другой вариант:

Мой брат двоюродный Буянов
В ермолке, в шпорах и в усах.

В конце концов он дословно процитировал поэму дяди, сославшись в примечании на ее текст. Заметим, однако, что приведенный Пушкиным текст из «Опасного соседа» дан с купюрами, связанными с имеющимся в тексте нецензурным словом:

Буянов, мой сосед,
Имение свое проживший в восемь лет
С цыганками, с б...ми, в трактирах с плясунами,
Пришел ко мне вчера с небритыми усами
Растрепанный, в пуху, в картузе с козырьком,
Пришел, — и понесло повсюду табаком.

(Василий Пушкин. Стихи. Проза. Письма. М., 1989, с. 156.)

Из-за нецензурного слова, и далее встречающегося в тексте поэмы, из-за ее фривольного содержания (В. Л. Пушкин рассказывал о своей поездке с Буяновым в веселый дом к блудницам) «Опасный сосед» в России при жизни автора не печатал-

ся (первое его издание, напечатанное литографированным способом в Мюнхене в 1815 г., составляло лишь несколько экземпляров). И все же «Опасный сосед», его герой Буянов были широко известны читателям, так как поэма В. Л. Пушкина широко распространялась в списках. Пушкин в «Евгении Онегине», представляя Буянова, очень точен в своем пояснении: «Как вам, конечно, он знаком». Появление поэмы В. Л. Пушкина в 1811 г. было настоящей литературной сенсацией: дядя-поэт остроумно включил в пикантный сюжет своего сочинения выпады, направленные против А. С. Шишкова и других писателей общества «Беседа любителей русского слова» — «угрюмого певца» С. А. Ширинского—Шихматова и А. А. Шаховского, которого Пушкин назвал в «Евгении Онегине» «колким» (комедии А. А. Шаховского задевали Н. М. Карамзина, восторженным почитателем которого был В. Л. Пушкин, и писателей карамзинской школы). Современники были восхищены легкостью и занимательностью изложения, живописностью и точностью бытовых деталей и жанровых сцен, меткостью портретных характеристик в «Опасном соседе». Недаром в нем видели «Гогартов оригинал, с которого копию снять невозможно», то есть сближали поэму В. Л. Пушкина с сериями картин и гравюр выдающегося английского художника-сатирика XVIII века Уильяма Хогарта («Московские ведомости», 1830, № 70, 30 августа, с. 3120). «Опасный сосед» был признан лучшим сочинением В. Л. Пушкина. Поэмой восхищались И. И. Дмитриев, Е. А. Баратынский, К. Н. Батюшков. «Опасный сосед» был объявлен кормчей книгой литературного общества «Арзамас». Арзамасец А. Ф. Воейков в «Парнасском адрес-календаре» наградил В. Л. Пушкина листочком лавра с надписью «За Буянова». После смерти поэта-дяди его приятель А. Я. Булгаков писал брату: «...его сосед Буянов останется памятником дарований его стихотворных» («Русский архив», 1901, № 2, с. 505). Первым же в печати о Буянове сказал поэт-племянник. В лицейском стихотворении «Городок», напечатанном в 1815 г. в журнале «Российский музей» (№ 7), он так обращался к дяде:

И ты, замысловатый
Буянова певец,
В картинах толь богатый
И вкуса образец.

В «Евгении Онегине» Пушкин включил поэму «Опасный сосед» в созданную им энциклопедию русской и мировой литературы. Поставив Буянова, восходящего к сатирической поэзии XVIII в. и, в свою очередь, являющегося литературным предшественником гоголевского Ноздрева, в один ряд со Скотининными — героями бессмертной комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль», племянник тем самым комплиментарно подчеркнул литературные достоинства дядюшкиного сочинения.

В отличие от многих литературных героев других авторов, упомянутых на страницах пушкинского романа, герой В. Л. Пушкина Буянов не просто упомянут, он является действующим лицом. Приехав в гости к Лариным, он ведет себя сообразно со своим кипучим характером:

Умчал Буянов Пустякову,
И в залу высыпали все,
И бал блестит во всей красе.

В черновиках романа была такая деталь:

... Буянова каблук
Так и ломает пол вокруг.

Начинается мазурка:

Буянов, братец мой задорный,
К герою нашему подвел
Татьяну с Ольгою.

По наблюдению Ю. Д. Левина, именно Буянов, в поэме В. Л. Пушкина затеявший драку в веселом доме, в «Евгении Онегине» по воле автора послужил первопричиной трагедии: он подвел Татьяну с Ольгой к Онегину, Онегин выбрал для танца Ольгу и вызвал тем самым ревность Ленского, Ленский покинул бал с намерением вызвать друга на дуэль, далее поединок состоялся, Ленский погиб.

Забавно, что в последующем Буянов — своеобразный соперник Онегина. Он хочет жениться на Татьяне: «Буянов сватался: отказ».

Образ Буянова был настолько жизненным, что Пушкин решил дать еще одну разработку этого характера. Нельзя не заметить, что Зарецкий в «Евгении Онегине» — тот же Буянов:

Зарецкий, некогда буян,
Картежной шайки атаман,
Глава повес, трибун трактирный.

Когда Пушкин называет Зарецкого «соседом велеречивым», он цитирует по-эму дяди: «Ни с места,— продолжал сосед велеречивый...» (Василий Пушкин. Стихи..., с. 158). Пушкин мастерски углубил начертанный Василием Львовичем образ, сообщил ему новые детали и комические черты. Пушкин стал биографом Буянова, показал созданный дядей характер в развитии, оставшись, как и творец «Опасного соседа», на иронической точке зрения по отношению к нему. Так Буянов — герой поэмы В. Л. Пушкина «Опасный сосед» — обрел новую жизнь в романе «Евгений Онегин».

Н. И. МИХАЙЛОВА

БИЛЬЯРД.

Один, в расчеты погруженный,
Тупым кием вооруженный,
Он на бильярде в два шара
Играет с самого утра.
Настанет вечер деревенский:
Бильярд оставлен, кий забыт...

Бильярд, за которым Онегин проводил время в деревне, представляет собой большой продолговатый стол с бортами, обтянутый сукном, по углам и посередине длинных бортов которого сделаны отверстия с сетчатыми сумками (лузы); стол этот служит для игры костяными шарами, которые загоняются в лузы специальными палочками (киями).

Родиной бильярда считается Китай, откуда к XVI в. пришел в Европу. В России бильярд появился в начале XVIII в., широко распространился в трактирах в царствование Анны Иоанновны. Во времена Пушкина бильярд также был популярен в трактирах и пивных. Так, у А. И. Полежаева в стихотворении «Рассказ Кузьмы, или Вечер в Кенигсберге» («Кенигсберг» — пивная на Большой Никитской в Москве) читаем:

«Ну, а там что за собрание?» —
Я рассказчика прервал.
«Там бильярдошно игранье», —
Он с почтеньем мне сказал...

С пятидесятых годов XIX в. в России быстро начала развиваться правильная игра на бильярде, то есть появляются первые руководства к игре в бильярд, правила сводятся воедино, определяются основные партии, предлагаемые к разыгрыванию. Самым первым доступным руководством к игре стала брошюра «Правила бильярдной игры, собранные и составленные маркером московского купеческого собрания Р. А. Бакастовым», вышедшая в 1830 г.

Маркер — это тот человек, кто прислуживает игрокам при игре; его занятия состоят в том, что он должен отмечать: счет партий, когда шар попадает в лузу, сколько будет таких попаданий, от чего происходит выигрыш или проигрыш, — все это он должен считать во всеулышание.

Онегин играет на бильярде один, дома, без маркера, поэтому выигранные и проигранные очки приходится считать самому, отсюда — «в расчеты погруженный». Заметим, что расчеты в бильярдных играх были сложны. А. И. Леман в 1885 г. писал: «Вы глубокомысленны, дальновидны, способны к глубоким расчетам — не думайте, что только шахматная игра может выказать в полном блеске эти способности: есть такие любопытные комбинации шаров, которые могут удовлетворить самый прихотливый ум» (Леман А. И. Теория бильярдной игры. М., 1885, сс. 6—7). <...>

Наибольшее распространение игра на бильярде получила в среде офицеров. Персонаж «Капитанской дочки», Иван Иванович Зурин, объясняет это обстоятельство следующим образом: «Это, — говорил он, — необходимо для нашего брата служивого. В походе, например, придешь в местечко — чем прикажешь заниматься? Ведь не все же бить жидов. Поневоле пойдешь в трактир и станешь играть на бильярде; а для того надобно уметь играть!». Интересно, что действительно, все известные игроки XIX в. были военными, более того — генералами: граф Остерман-Толстой, Д. Г. Бибииков, И. Н. Скобелев.

В частных домах бильярд встречался реже. Из описи имущества села Михайловского за 1838 г. узнаем, что у А. С. Пушкина был «бильярд корел-чистой березы старой с четырьмя шарами» (Бозырев В. По пушкинскому заповеднику. М., 1977, с. 46). До наших дней бильярдный стол не сохранился. Остались лишь четыре шара из слоновой кости, кий и палочка для киев. Друзья Пушкина, И. И. Пущин и

А. Н. Вульф, навещавшие поэта в Михайловском, отмечали, что он играл на бильярде. Биограф Пушкина П. В. Анненков писал, что поэт иногда один играл на бильярде в два шара. Отсюда можно предположить, что комментируемые строки «Евгения Онегина» автобиографичны.

А. С. Пушкин играл в бильярд не только в Михайловском. В письме к Наталье Николаевне из Петербурга он сообщает: «Я очень занят. Работаю целое утро — до четырех часов — никого к себе не пускаю, потом обедаю у Дюма, потом играю на бильярде в клубе — возвращаюсь домой рано».

Для Онегина, как и для самого поэта, бильярд — способ времяпрепровождения: причем для этой цели выбраны не карты, которыми увлечены соседи, что в определенной степени характеризует героя романа как человека, не стремящегося быть похожим на кого-либо.

Л. ВОЛОСАТОВА

ДИДЛО (Didelot) Карл Людвиг / 1767, Стокгольм — 7 (19). 11.1837, Киев / — артист балета, балетмейстер, педагог. Родился в семье танцовщика шведского Королевского балета. Впервые выступив на сцене в 5-летнем возрасте, стал одним из выдающихся танцовщиков своего времени. Первый балет («Ричард Львиное Сердце», 1788) поставил в Лондоне. Как балетмейстер работал в Париже, Бордо, Стокгольме. В 1801 г. по повелению Павла I был приглашен князем Н. Б. Юсуповым в Петербург, где прослужил до 1829 г. (с перерывом в 1811—1816 гг.). Дебютировал с блистательным успехом балетом «Аполлон и Дафна» (1802), Дидло поставил в России более 40 балетов и дивертисментов. Благодаря ему русский балет приобретает европейскую известность. Среди поклонников его творчества — представители разных поэтических поколений: Г. Р. Державин, А. С. Грибоедов, Пушкин.

В «Евгении Онегине» имя Дидло встречается дважды. Первоначально оно упоминалось только в реплике Онегина: «Балеты долго я терпел, / Но и Дидло мне надоел»; в черновых рукописях: «Уж и Дидло мне надоел». Еще раз «замечая разность» между собой и своим героем, Пушкин сопровождает слова Онегина следующим примечанием: «Черта охлажденного чувства, достойная Чальд-Гарольда. Балеты г. Дидло исполнены живости воображения и прелести необыкновенной. Один из наших романтических писателей находил в них гораздо более поэзии, нежели во всей французской литературе». В черновиках расшифровывалось имя «одного из [...] романтических писателей»: «А. П.», «Сам П. говаривал», то есть сам Пушкин. Онегин же подражает героям «своих возлюбленных творцов» (что было в духе времени), ибо «романтизм требовал постоянной маски, которая как бы срасталась с личностью и становилась моделью ее поведения» (Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. СПб., 1994, с. 197). Однако «черта охлажденного чувства, достойная Чальд-Гарольда», заставляет его оставаться равнодушным и к творчеству Дидло, которого называли «Байроном балета» (Цит. по: Гроссман Л. Пушкин в театральных креслах. Л., 1926, с. 114).

Стремясь создать новый балет, отвечающий требованиям современной поэтики, Дидло обращается к творчеству «первого романтического поэта России»: к «Кавказскому пленнику» Пушкина. 15 января 1823 г. на сцене Большого Каменного театра в Петербурге состоялась премьера балета «Кавказский пленник, или Тень невесты». Балет имел большой успех, и, по словам А. П. Глушковского, «никогда еще поэт не перелagal поэта в новые формы так полно, близко, так красноречиво, как это сделал Дидло, переложив чудные стихи народного поэта в поэтическую немую прозу пантомимы» (Глушковский А. П. Воспоминания балетмейстера. Л.; М., 1940, с. 170). В предисловии к балету сам Дидло писал, что балет «взят из прекрасной поэмы Пушкина». Значительно изменив сюжет поэмы (см.: Слонимский Ю. И. Балетные строки Пушкина. Л., 1974, сс. 103—119), Дидло впервые в своем «Кавказском пленнике» вводит мотив теней, ставший одним из основных мотивов романтического балета. Пушкин, которому в ссылке «брюхом хочется театра», узнает о сценической версии его поэмы. «Окруженный» «афишками [...] журналами, письмами», он просит брата: «Пиши мне о Дидло, об Черкешенки Истоминой, за которой я когда-то волочился, подобно Кавказскому пленнику». Неизвестно, что писали Пушкину о балете Дидло и какими конкретно «журналами и афишками» он был «окрыжен», но, вероятно, с откликами на балет связано появление в рукописях поэта стихотворного наброска: «Мой пленник вовсе не любезен / — Он хладен, [скучен], бесполезен / Все так — но пленник мой не я. / [Напрасно]... славил, / Дидло плясать его заставил, / Мой пл-енник», следст-венно», не я» (февраль 1823 г.).

В 1824 г. по программе А. П. Глушковского Дидло вместе с Огюстом поставил балет «Руслан и Людмила, или Низвержение Черномора, злого волшебника». Вопреки ожиданиям большого успеха балет не имел, и у Пушкина мы не встречаем упоминаний о нем. Однако именно в это время, в 1824—1825 гг., имя Дидло появляется в белом тексте строфы о петербургском театре — «волшебном крае», которому Пушкин посвятил почти три года после выхода из Лицея. Перечисляя театральных деятелей-драматургов, Пушкин называет в этом ряду и единственного ба-

летмейстера — Дидло: «Там и Дидло венчался славой, / Там, там под сению кулис / Младые дни мои неслись».

Хотя Дидло приехал в Россию, уже будучи известным балетмейстером, Пушкин «венчает» его славой в Петербурге: там он видел балеты Дидло в период расцвета его творчества, там гений Дидло в 1816—1829 гг. достиг своей зрелости. Деятельность Дидло в России была связана именно с Петербургом. «Кто видел в Москве балеты Дидло, тот не может об них иметь полного представления [...] Тамошний театр не имел еще достаточных средств к постановлению их в роскошном виде, т. е. с великолепными костюмами, декорациями и машинами [...] не было там таких хороших артистов, каковы были при Санкт-Петербургском театре [...] главное — не было в Москве самого творца этих балетов», — писал А. П. Глушковский (Воспоминания балетмейстера, с. 177).

В последующие годы интересы Пушкина достаточно далеки от театра, и все же в 1830-е гг. он еще дважды «вспомнит» о Дидло. 11 июля 1832 г. он пишет М. Н. Погодину: «Ваша Марфа, Ваш Петр исполнены истинной драматической силы, и если когда-нибудь могут быть разрешены сценической цензурой, то предрекаю Вам такой народный успех, какого мы, холодные северные зрители Скрибовых водевилей и Диделотовых балетов, и представить себе не можем». В письме Пушкина имя «модного» Скриба поставлено рядом с именем Дидло, который к тому времени уже в опале, и, вероятно, эпитет «холодный» указывает здесь не столько на отношение театральной публики к Дидло, сколько на национальную особенность русских как народа Севера.

Однако «холодные северные зрители» слишком легко отдают своих кумиров. Столкновения властного, полного творческих замыслов балетмейстера с Дирекцией Императорских театров начались уже во второй половине 1820-х гг. В 1829 г. в результате конфликта с Директором Императорских театров князем С. С. Гагариным реформатор европейского балета подвергся аресту и потребовал отставки. В 1830 г. он был уволен со службы «согласно прошению», и только в 1831 г. ему было позволено проститься с публикой: бенефис Дидло был назначен на 1833 г. А в 1834—1835 гг. в рукописях Пушкина появляется (на французском языке) план повести или романа: «Две танцовщицы — Балет Дидло в 1819 году.— Завадовский.— Любовник из райка — Сцена за кулисами — дуэль — Истомина в моде. Она становится содержанкой, выходит замуж — Ее сестра в отчаянии — она выходит замуж за суфлера. Истомина в свете. Ее там не принимают — Она устраивает приемы у себя — неприятности — она навещает подругу по ремеслу». (См.: Слонимский Ю. И. Балетная повесть Пушкина. «Нева», 1970, № 6, сс. 204—211).

Возможно, замысел «балетной повести» возник у Пушкина в связи с прощальным бенефисом Дидло, ставшим триумфом балетмейстера. Несмотря на запрещение актерам выходить на сцену, когда будут вызывать Дидло, балетмейстер появился перед публикой, окруженный толпой «созданных» им танцоров, танцовщиц, учащих театральную школу. Аплодисментам и вызовам не было конца. Под гром рукоплесканий Дидло передавали венки, и все, кто был на сцене, прощаясь с ним, целовали его руки.

В 1836 г. Дидло уехал в южные губернии России, чтобы поправить расстроенное здоровье, где в 1837 г. умер в Киеве.

С. П. БЕЛЕХОВА

ВЕНОК.

Обычай плести венки идет из глубокой древности. Во времена античности венками из роз украшали статуи богов, при этом розы, увядшие на челе богини любви Венеры, считались чудодейственными. У греков и римлян жениха и невесту увенчивали венками из лилий и пшеничных колосьев, что означало пожелание чистоты и изобилия в жизни, в Германии голову невесты украшали миртовым венком — символ чувственной любви и пожелание мира в семье, а во Франции принято было дарить новобрачным венки из фиалок — символ невинности, скромности и чистоты.

И тайна брачныя постели
И сладостный любви венки
Его восторгов ожидали.

В «Письмах русского путешественника» Н. М. Карамзин рассказывает: «13 мая, в день Вознесения, ходил я в деревеньку Сюрень, лежащую в двух милях от Парижа на берегу Сены. Мне сказали, что там с великой торжественностью будут короновать розами осмнадцатилетнюю добродетельную девушку...» Этот праздник, который называли праздником Королевы Роз, возник в XVI столетии. Праздновали его в день св. Медара 8 июля по старому стилю в местечке Ланси. Из всех девушек провинции выбирались три самые красивые, добродетельные и целомудреннейшие. Их имена заранее провозглашались в церкви, чтобы те, кто знает достойней-

ших, могли бы внести свои предложения. В день праздника из трех красавиц выбрали одну, двенадцать пар празднично одетых девушек вели избранницу в церковь св. Медара, где лежал приготовленный для нее венок из чудных роз, который священник с молитвою возлагал на голову «розьеры». Так происходило увенчание добродетели — жизнь давала материал для литературы, а литература отражала обычаи, застывавшие в языке в виде метафор:

И при конце последней части
Всегда наказан был порок,
Добру достойный был венок.

Или:

Но тише! Слышишь? Критик строгий
Повелевает сбросить нам
Элегии венок убогой.

Элегия — в своем первоначальном смысле плач по умершей возлюбленной, стихотворение грустное. В элегии венок приносят на могилу:

На ветви сосны преклоненной,
Бывало, ранний ветерок
Над этой урной смиренной
Качал таинственный венок.

Обычай украшать могилу венками — символ бессмертия — известен также с древнейших времен. Греки посвящали покойникам венки из роз. К этому обычаю относились столь серьезно, что богачи даже завещали крупные суммы денег для того, чтоб после смерти могила их всегда была украшена свежими розами. У древних иудеев покойников украшали миртовыми венками, потому что, по преданию, ветку мирта Адам унес из рая в день изгнания как символ надежды, отголосок райского счастья, единения неба с землей.

Но ныне... памятник унылый
Забыт. К нему привычный след
Заглох. Венка на ветви нет...

Н. А. МАРЧЕНКО

БЕС (демон, сатана, черт, злой дух, змий, коварный искуситель) — согласно библейским текстам и апокрифическим сказаниям (см.: Амфитеатров А. В. Дьявол. Дьявол в быте, легенде и в литературе средних веков. Собрание сочинений в 25 тт. СПб., б. г. Т. 18), существо, олицетворяющее силу зла. В романе упоминается в широком семантическом диапазоне. Так, маскарадных «чертей, змий», кажется, ничуть не страшнее непочтительно-шутливые поминания: «В меня вселится новый бес» (то есть страсть к прозе), «Любовью шутит сатана», «разрозненные томы / Из библиотеки чертей» (об альбомах светских красавиц). Иной спектр значений раскрывается в связи с заглавным героем романа, от начала (с полушутливого чертыханья) и до конца как бы сопровождаемого нечистой свитой.

В главе третьей, ненароком угадывая извечную причину смятения молодой девушки, няня Татьяна никак не может припомнить сюжеты «старинных былей, небылиц / Про злых духов и про девиц». Впрочем, этого намека достаточно для читателя, знакомого с легендами и сказками («небылицами»), бывальщинами и быличками («былями») о чертях, соблазняющих молодых женщин: они «оборачиваются змеями, молодцами, летают к девкам, сожительствуют с ними» (Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. М., 1975, с. 122). Особенно трудно устоять тем, кто безоглядно отдается тоске по любимому («Тужит, тужит, а нечистая-то сила и рада, потому что такого человека всегда можно смутить». — Там же, с. 140). Нечистый коварно является в виде суженого, чаще всего во время гадания, этого небезопасного общения с потусторонним миром (см. напр.: Чернышев В. И. Сказки и легенды пушкинских мест. М.; Л., 1950, сс. 22—23).

Сомнение, поселившееся в душе Татьяны, выражено в письме Онегину:

Кто ты, мой Ангел ли хранитель,
Или коварный искуситель?

Далее, в сне Татьяны, Онегин уже предстает начальником сил зла («шайка домовых» здесь могла вызвать в памяти современного Пушкину читателя некоторые детали лубочной картинки «Бесы искушают святого Антония». См.: Боцяновский В. Ф. Незамеченное у Пушкина. «Вестник литературы», 1921, № 6—7; Лотман, с. 272), по существу, он исполняет роль Сатаны, коему подвластны «адские приви-

денья». Сон Татьяны отвечает на ее вопрошание «Кто ты?» и актуализует фольклорный мотив, намеченный в словах няни.

После смерти Ленского Татьяна в опустевшем кабинете Онегина вновь возвращается к своему вопросу:

Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он?

Татьяна склоняется к фольклорной версии, поддержанной, впрочем, новейшей литературной традицией (любовь демона к земной девушке у Метьюрина, Мура, Байрона; ср. позднее у Лермонтова). Это подозрение, тень Сатаны не рассеиваются и в последней главе, во вполне сочувственных словах Автора: «Несносно <...> / между людей благоразумных / Прослыть притворным чудачком, / Или печальным сумасбродом, / Иль сатаническим уродом, / Иль даже Демоном моим» (Пушкин отсылает читателя к собственному стихотворению «Демон», изобразившему вслед за Гёте «вечного врага человечества» как «духа отрицания или сомнения», а также «печальное влияние оного на нравственность нашего века»), — тем более что далее любовь Онегина полушутливо соотнесена с соблазном «прародительницы Евы»: «Вас не престанно змий зовет». Последний намек в семантическом поле Онегина (тема искушающего змия поддержана в романтическом восприятии Ленского: «Не потерплю, чтоб развратитель / Огнем и вздохов и похвал / Младое сердце искушал; / Чтоб червь презренный, ядовитый / Точил лилеи стебелек») последовательно возвращает читателя к подспудной фаустианской теме романа. Любовью Онегина «шутит Сатана», во всяком случае, к такому представлению о нем склоняется Татьяна и еще более укрепляется в своем решении.

В. А. ВИКТОРОВИЧ

ДВОЙНОЙ ЛОРНЕТ — приспособление, которым пользовались посетители спектакля или бала. Вошло в моду около 1817 г. Из-за своей хрупкости, по-видимому, скоро вышло из употребления и забылось. Произошел перенос значения по функции, и двойным лорнетом стали называть театральные бинокли, лорнеты в форме очков на длинной ручке и другие подобные приспособления, что и зафиксировано словарями. Первое упоминание двойного лорнета находится в журнале «Русский пустынный, или Наблюдатель отечественных нравов» за 1817 г.: «Не успели изобретательные англичане выдумать так называемый *двойной лорнет*, как все наши щеголи и щеголихи явились с двойными лорнетами на пальцах. Лорнет сей подобен только тем обыкновенной зрительной трубке, что и в нем есть два передвижные стеклышка. К металлическому основанию, на котором они движутся, прикреплено кольцо, надевающееся на палец, и я, признаюсь, считаю, что новомодные двойные лорнеты, а особенно в театре, гораздо удобнее обыкновенных зрительных трубок [...] В лорнет, хотя и двойной, должно смотреть только одним глазом» (№ 4, сс. 75—76).

Теперь можно оценить всю меру пушкинской наблюдательности и точности, когда он пишет: «Двойной лорнет скосясь наводит». Скосясь, ибо в двойной лорнет смотрят только одним глазом.

Вероятно, когда Пушкин писал: «Все, чем для прихоти обильной / Торгует Лондон щепетильный», — под этим «все» подразумевались, в частности, двойные лорнеты русских денди.

Статья, опубликованная в год выхода Пушкина из лица и вступления в свет, привлекла его внимание, запомнилась и многократно от азились в «Евгении Онегине». В ней описывается не только двойной лорнет, но и театральные нравы вообще, например: «Запрещение свистать в императорских театрах породило другого рода вреднейшее зло: перестав свистать, наша публика научилась шикать. И это шиканье, по несчастью, до того в наших театрах усилилось, что многие проказники, которые бы иногда постыдились или поленились без нужды вынимать настоящие свистки, нередко теперь шикают без малейшей причины, или, лучше сказать, для препровождения времени. Сколько раз случалось, что эта партерно-кресельная буря, тем опаснейшая, чем таинственнее начало ее, заглушала прекраснейшие драматические и гармонические места оттого только, что некоторым шалунам не нравился актер или певица, выразившие их» (сс. 79—80). Вот что стоит за текстом Пушкина:

Онегин полетел к театру,
Где каждый, вольностью дыша,
Готов охлопать *entrechat*,
Обшикать Федру, Клеопатру,
Моину вызвать (для того,
Чтоб только слышали его).

Кроме «Евгения Онегина», двойной лорнет упоминается в «Горе от ума»: жеманная модница графиня-внучка «направляет на Чацкого двойной лорнет» (действие III, явление 8. Полное собрание сочинений А. С. Грибоедова. СПб, 1913, т. 2, с. 62). Также упоминается в «Герое нашего времени» как деталь мундира модничающего Грушницкого, который собирается на бал: «К третьей пуговице пристегнута была бронзовая цепочка, на которой висел двойной лорнет» («Княжна Мери», запись от 5 июня. Лермонтов М. Ю. Собрание сочинений в 4 тт. Л., «Наука», 1981, т. 4, с. 271). Можно думать, что Тютчев знал эту реалию, когда в своей пьесе «Четырнадцатое декабря» заставил «спекулятора» перед скачками кричать: «Предлагаю почтеннейшей публике разыскательные лорнеты! Двойные лорнеты! Двойной лорнет дает увидеть конское состязание на далеком расстоянии при любой погоде» (Тютчев Ю. Н. Сочинения в 3 тт. М.— Л., ГИХЛ, 1959, т. 2, с. 490).

В. С. БАЕВСКИЙ

ВЕНЗЕЛЬ — слово польского происхождения («wenzel» — «узел»).

В «Словаре Академии Российской» о его значении говорится: «Начальные буквы собственных имен,— просто или с прозванием соединенные и на чем-либо изображенные» (СПб., 1806, т. 1, с. 437),— а в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля о вензеле сказано: «...начальные буквы собственных имен, отчеств, прозваний, писанных вязью, или перевитые как-либо между собою» (М., 1955, т. I, с. 177).

В пушкинскую эпоху вензель прочно вписался в атрибутику государственной, общественной и частной жизни.

Вензеля с начальными буквами имен царствующих монархов украшали здания, триумфальные арки в дни особых торжеств. Это хорошо видно, например, на старых, XVIII и первой половины XIX в., изображениях московских Красных ворот.

Использовались вензеля в оформлении фейерверков. Например, в 1796 г. на празднике, устроенном Измайловским полком на даче С. Ф. Голицына на Петербургской дороге, «...в заключение ...сожжен был огромный фейерверк, и когда в щите загорелся вензель императрицы (Екатерины II.— Н. Н.), со всего полка собранные барабанщики били поход и музыка играла» (Записки графа Е. Ф. Комаровского. М., 1990, с. 33). Императорские вензеля присутствовали и в московском фейерверке во время коронационных торжеств в 1826 г.

Об убранстве московских домов в это время рассказывает журнал П. П. Свинына «Отечественные записки». Так, перед кадетским корпусом была устроена своего рода декорация: «...вензеля Виновников сих торжеств, горящие светом и округленные лавровым венком». (СПб., 1827, № 92, с. 358). Внутри здания на одной из стен «вензельные имена» были изображены при помощи «мелкого оружия» (там же, сс. 359—360).

Один из великолепных домов-дворцов в Москве, принадлежавший генерал-лейтенанту Шепелеву, известный впоследствии как Яузская больница, занимал в 1826 г. герцог Девонширский. Снаружи, в центре портика, было помещено «вензельное имя» императора и императрицы. В танцевальном зале из роз «сплетены были по стенам вензельные имена Высоких посетителей — императора Николая Павловича и императрицы Александры Федоровны и Георга IV, короля Великобритании» (там же, с. 217). <...>

Вензель мог украшать печать из металла или камня, тисненый золотом книжный переплет, парадную фарфоровую посуду и т. д.

В романе «Евгений Онегин» слово «вензель» встречается дважды.

В XXXVII строфе третьей главы оно употреблено в самом прямом значении. Строфа начинается с описания идиллической картины усадебной жизни:

Смеркалось, на столе, блистая,
Шипел вечерний самовар,
Китайский чайник нагревая;
Под ним клубился легкий пар,
Разлитый Ольгиной рукою,
По чашкам темною струею
Уже душистый чай бежал,
И сливки мальчик подавал,—

а далее:

Татьяна пред окном стояла,
На стеклах хладные дыша,
Задумавшись, моя душа,
Прелестным пальчиком писала
На отуманенном стекле
Заветный вензель О да Е.

Не просто «вензель», а «заветный вензель». В «Словаре» В. И. Даля «заветный» означает «задумчивый, тайный, свято хранимый» (В. И. Даль. Т. I, с. 565). Для Татьяны Лариной в начертанном ею вензеле — любовь и тайна.

И сейчас еще можно увидеть на разноцветных страницах девичьих альбомов пушкинской поры искусное соединение начальных букв чьих-то имен, то есть вензель, остающийся для нас чаще всего неразгаданной тайной.

В «Словаре» В. И. Даля слово «вензель» объясняет и другое понятие — «шифр»: «...знак отличия, резной вензель Государыни, какой получают на выпуске институтки, и знак фрейлинского звания» (В. И. Даль. Т. IV, с. 636).

В этом значении слово «вензель» встречается в XXV строфе восьмой главы романа при описании гостей на вечере у князя N, в Петербурге:

Тут был на эпиграммы падкий,
На все сердитый господин:
На чай хозяйский, слишком сладкий,
На плоскость дам, на тон мужчин,
На толки про роман туманный,
На вензель, двум сестрицам данный...

Фактическая подоплека бывшей в действительности истории о вензеле, «двум сестрицам данным», упомянута в воспоминаниях А. О. Смирновой-Россет и на основании этого свидетельства обстоятельно рассмотрена Ю. М. Лотманом в его книге «Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (Комментарий. Л., 1980, сс. 356—358).

О возникновении фрейлинского шифра в виде вензеля императрицы Пушкин в 1830—1831 гг. записал легенду, публикуемую обычно вместе с рассказом П. В. Нащокина «Богородицыны дочки»:

«При Елисавете было всего три фрейлины. При восшествии Екатерины сделали новых шесть — вот по какому случаю. Она, не зная, как благодарить шестерых похвальщиков, возведших ее на престол, заказала шесть вензелей с тем, чтоб повесить их на шею шестерых избранных. Но Никита Панин отсоветовал ей сие, говоря: это будет вывеска. Императрица отменила свое намерение и отдала вензеля фрейлинам» (А. С. Пушкин, ПСС, Изд. АН СССР, 1949, т. XXII, с. 202).

О том, как выглядели вензеля-шифры, которыми награждали лучших выпускниц-институтков, рассказывает И. М. Долгорукий. Его будущая жена Евгения Смирная воспитывалась в Смольном институте.

«Пришло время ее выпуска. Ето было в 1785-м годе; она выдержала экзамен и кроме похвального листа удостоилась получить в награждение золотой вензель Императрицы. Сим означалось преимущество самых лучших Монастырок по их успехам. Он разделялся на три класса; первой вензель на белой ленте о трех золотых полосах, второй о двух и последний об одной. Вензеля все были одинаковы, их носили так, как и алмазные фрейлинские вензеля, публично, и они служили отличием Монастыркам во всю жизнь их, во всяком состоянии. Смирной был дан бант о двух полосках; раздавали вензелей таких при всяких выпусках только шесть, а выпускали вдруг по пятидесяти девушек. В память покровительства покойной Великой Княгини принята была Смирная к меньшому двору, представлена Государыне и стала жить на половине Великой Княгини Марии Федоровны во всем на равне с придворными ее фрейлинами, хотя и не пользовалась сим наименованием, потому вероятно, что им положен был штат и он был наполнен» (И. М. Долгоруков. Повесть о рождении моем, происхождении и всей жизни... Пг, 1916, с. 83).

А. О. Смирнова-Россет, окончившая Екатерининский институт благородных девиц, была награждена при выпуске «вензелем средней величины». «...меня подкузьмила арифметика...» — признавалась она.

«Шифры очень красивы,— писала Смирнова-Россет,— золотая буква «М» с короной на белой муаре ленте, окаймленной красным цветом. Императрица (Мария Федоровна.— Н. Н.) сама прикалывала шифры и раздавала медали» (А. О. Смирнова-Россет. Дневники. Воспоминания. М., «Наука», 1989, с. 143).

На женских портретах XVIII—XIX вв. можно увидеть, как выглядел этот знак особого отличия.

Так, на портрете смолянки Е. И. Молчановой работы художника К.-Л. Христинена (Харьковский художественный музей) тщательно выписан вензель Екатерины II на белой ленте с тремя золотыми полосами. Фрейлинские вензеля можно увидеть на многих портретах: Е. Р. Воронцовой и Е. Н. Орловой Левицкого, Е. А. Долгорукой Боровиковского (ГТГ), миниатюре Рисса — портрете Т. В. Голицыной (собрание В. М. Голод, Петербург) и других.

Н. С. НЕЧАЕВА

Чистое истечение бытия

ПУШКИН И ДЗЭН

I

Бесмысленно вопрошать, хороша или плоха жизнь, ибо, хороша она или плоха, определяется внутренней установкой нашего сознания, неким нашим направленным из глубин вовне импульсом. Сама необъяснимо упрямая настойчивость той или иной модальности нашего мироучаствования — вот что изумительно отличает один тип интенции (направленного на мир внимания) от другого. Если засевшая в глубинах нашего мировопрошания установка разрушительна, она всегда найдет пищу для глубочайшего и сокрушительного недовольства. Иной тип интенции в столь же обобщенном виде можно назвать попросту довольством. Проиллюстрирую ее суть старинной поэтической миниатюрой, воспроизведенной Леопольдом Стаффом в его грациозной книжке «Китайская флейта». Фрагмент так и называется — «Довольство» (перевод мой. — Н. Б.).

«Весною листья орхидеи ниспадают, как волосы. Летом луна невесомее скользит по небу. Осенью коричневые цветы становятся белыми. Зимой возле лампы можно почитать стихи.

Как же мне не быть довольным жизнью? Временами мне хорошо просто оттого, что смотрю на камень или слушаю ветер.

Не подумайте, что я влюблен. Цветок не станет ароматнее, если его сорвет красавица».

Послепушкинская эпоха в России породила тоскующе-раздраженный (именуемый чаще всего интеллигентским) тип сознания, неуклонно и целенаправленно недовольного «тем, что есть», настоящим, статус-кво. Белинский, околованный атеистическим раем будущего. «В Москву, в Москву!» — чеховские герои. «Жизнь через сто, двести лет будет изумительной!..» Сколько раздражения на «нынешнюю» жизнь!

Здесь ухватываются за иллюзию будущего блаженства, ибо ощущают свое бессилие перед натиском сейчас-здесь-свеченья-мерцанья. Здесь страдают импотенцией, следовательно, стремятся скрыть ее от себя в парадных мундирах «высоких требований» к бытию. Импотенция эта, конечно же, особого рода, и не справляются именно со стремительно разворачивающимся «сейчас». Потенции здесь расходуются на мифологизацию перманентного процесса недовольства и мечтательных манипуляций с идеалом.

Для пушкинского сознания (быть может, даже для пушкинского типа сознания?) жизнь, то есть актуальный процесс существования, не может не быть изумительной. Существование по самой своей сути (вне всяких условий) есть изумленность и изумительность. Это потрясающее событие, не заменимое ни в один свой миг. Невозможно представить себе Пушкина, ноющего по поводу безобразия «нынешней жизни» и воспевающего унылый скепсис или «прекрасную жизнь» через сто — триста лет.

На высоких ступенях монашеской аскезы достигают, как известно, именно состояния просветленного вседовольства, а не критиканского брюзжания и пророческой гневливости. Довольство — черта людей не только благодарных, независтливых, но и одухотворенных. Недовольство — знак длящегося внутреннего конфликта, хаоса, непотребности, знак жажды длить внутреннее противоборство ощущений и чувств.

Послепушкинская эпоха в России была в магистральных своих течениях настолько глубоко поражена означенным «вирусом», что всякое довольство жизнью и судьбой интеллигентское сознание автоматически помечало метой «мещанства», «пошлости» и прочими ярлыками. Быть недовольным сиюминутной жизнью, быть бдительно неудовлетворенным с той поры по сю пору почитается хорошим тоном. Мироощущение стало катастрофически поверхностным, всплыв на поверхность идеологичности и политиканствующей рефлексии из глубин метафизичности, спонтанного космизма.

Что кроется за инстинктом «критического взгляда» на реальность? Нигилизм, то есть, если смотреть в суть, воля к разрушению, воля к смерти. Аpellируя к Э. Фромму, можно назвать это и разновидностью некрофилии. Почему у Чехова (прямого антипода пушкинскому стилю и духу) такая атмосфера омраченности в рассказах и пьесах? Не потому ли, что сердцевина того типа сознания, которое он изображает, — более или менее вуалируемый либо поэтизируемый нигилизм? Традиционный романтик сбегает (если, конечно, сбегает) в прошлое, то есть в ту реальность, которая все же существует, обладает плотью, поддается любви. Нигилист же внутренне сбегает в будущее, то есть в умственную химеру, в амбициозное самозаговаривание.

В чем суть просветленности старца Зосимы у Достоевского? Разве не в умопомрачительном довольстве, благодати всепрятия и всеблагословления? Подобной ослепительному вседовольству Франциска из Ассизи или Серафима Саровского в его пустыньке. И все апокалипсически-эпилептические экстазы Достоевского — как пробивание «пробок» нигилизма, который пытался охватить его и сжать в своих объятиях.

Случайно ли основная философская посылка позднего Р.-М. Рильке — «güthen» (восславлять, благословлять)?

Западный человек во многом сформировался именно как нигилистический человек, ибо величайшим нигилистом был Иисус из Назарета, проповедовавший величайшее из всех возможных недовольств — недовольство «миром сим». Во всяком случае, это была одна из важных интенций, приписанных христианскому духу. В сознание, в ментальность человеческую вошла невероятной силы воля к смерти, смерти для всего «чересчур земного», хтонически укорененного. Началось величайшее бегство в будущее: обетование Новой земли и Нового неба. Тайное тайных христианской-молитвы стало молить космос спалить Землю в огне Духа.

Но в этом смысле Франциск, равно как и Зосима и иже с ним, — весьма сомнительный христианин. И в целом христианство (особенно западное) стоит, и бытует, и процветает именно как тайно несогласное с Христом (что великолепно подмечали и Кьеркегор, и Розанов). Нигилистический пафос первохристианства выплеснулся, как известно, именно у нас с такой коварно извращенной и наивной силой. Антихристианский пафос питался христианнейшим пафосом. Внутреннее неистребимо бездонное противоречие христианского учения взорвалось атомной бомбой русской революции. Расщепление атомного ядра христианства произвели именно русские как простодушнейшая и эсхатологическая нация, к тому же наименее других укорененная в плоти и эстетике земной, менее других привязанная к чувственно-эстетическим благам цивилизации, к ценностям культурного гедонизма.

2

Пушкин чуть ли не единственный человек, чье сознание было изначально *просветленным*. Панорама великих писателей Руси являет собой череду сознаний больших, глубоких, но в той или иной степени омраченных, раздираемых конфликтами, проблемами, «вопросами». Это и неудивительно, ведь все они жили и творили в христианской традиции, в контексте христианского понимания человеческой природы, связанного с мифом о первородном грехе.

Здесь следует пояснить, о чем именно я говорю, сопрягая имя Пушкина с дзэн. Речь, конечно, не идет об исторически сложившейся в V — VI веках школе чань-буддизма, благодаря своему японскому варианту ставшей не только знаменитой во всем мире, но превратившейся в этакую ложно-обиходную стилистическую эмблему. Речь идет о сути дзэн, которая существовала до всех и всяческих слов о дзэн (чань) и не связана ни с какой-либо нацией, ни с событиями истории. Дзэн там, где перед космически-неизреченной, пьянящей мощью самого по себе процесса существования бесследно испаряются все вопросы о смысле жизни. Как заметил Сокэй-ан: «Для Бодхидхармы всякое действие с утра до вечера было религией — утолить жажду, вкусить пищу, поспать, сходить в лавку, поболтать с соседом; любое действие становилось для него религиозным. Действие было его способом практической медитации. И вот: либо вы пребываете в таком состоянии, либо вы не пребываете в таком состоянии».

Конечно, всякий истинный художник проецирует в мир энергию дзэн; причем как раз в той мере, в какой спонтанно проявляет в себе интуицию ребенка. И в этом смысле Пушкин не исключение. Исключительность его в том, что энергии дзэн были в нем не периферийными, а центральными.

В этом смысле я разделяю всех художников (разумеется, условно, метафорически, а отнюдь не теоретически-научно) на христианских и дзэнских*. Христианский тип творчества исходит из бессознательной (хотя мера этой бессознательности может быть разной) убежденности в том, что природа (сознание) каждого человека изначально греховна (адамов грех). И при всех субъективных усилиях, даже героических, человек обречен: он принципиально отрезан от мировой чистоты, непорочности бытия. Дзэнский художник интуитивно убежден в обратном: в том, что природа (сознание) каждого человека изначально чиста и каждый в состоянии прорваться в эту блаженную изначально Пустоту.

3

Ясно, что Пушкин прожил жизнь весьма несерьезно, несолидно, что ли. (Никто, пожалуй, не выразил так точно и лаконично дзэнскую суть Пушкина, как барон А. Дельвиг в письме к поэту: «Великий Пушкин, маленькое дитя!..») Не было в этом ни гётеанства, ни байронизма. Пушкин как-то не удостоил жизнь излишним чинопочтением. Князь Воронцов имел все основания пренебрежительно смотреть на этого вертопраха. Уверён, что многим было за Пушкина несколько неудобно. Впоследствии в России так на литераторов уже не смотрели: литераторы стали либо моралистами, «учителями жизни», либо политиками. Солидность литераторов от Белинского до Толстого и Горького очевидна. Жизнь литераторов становилась даже сверхсолидной, какой-то гигантски, порой сверхчеловечески серьезной. Писатель превратился в наиважнейшего сановника...

Не то Пушкин. Жизнь его состояла из смеха и дурачеств, из «чаньского» зубокальства, которое именно тем и очевидно, что мы его сегодня ощущаем как непроверяемую данность. Утверждать, что Пушкин поднимал «серьезные темы» — как бы даже и нелепость. Основная масса его произведений ни о чем**. О чем «Онегин»? «Энциклопедия русской жизни»? Глупейшее определение, но даже если, то: обо всем и ни о чем. Ничего, только это скольжение туч, только эта радость искрящегося снега, прозрачного льда, летящей женской руки, прелесть бессодержательных разговоров... И метель, и снег, и балы, и первые воспоминания... И никакой неизбывной меланхолии — этого вечного спутника и вестника христианского образа мира. Никакого религиозного страдания. Пушкин не знал его. И в том он уникален. Позднейшая русская литература основное свое содержание находила либо в религиозном страдании (вершина этой напряженности — Достоевский), либо в активном опровержении оногo.

Пушкин, безусловно, верил в изначально целомудренность человеческой природы, в то, что она не испоганена «первородным грехом». В этом исток его феноменальной прозрачности при всей колоссальной импульсивности его бытового поведения, воистину не укладывающегося в какие бы то ни было рамки «объяснимости». Современное, антидзэнское по своей сути сознание цинизм воспринимает только как цинизм, а душевную чистоту только как чистоту, не желая видеть их зеркальных взаимотражений. Как понять «гения чистой красоты» в контексте пушкинской похабщины? Да, конечно, «гений чистой красоты» в своей абсолютности — изобретение романтиков, в мироощущении которых он защищен и застрахован от малейшей профанации. Пушкинская же личность мерцает внутренним парадоксом, где всякий «гений чистой красоты» в то же самое время — просто баба, порой и недалекая, и похотливая. Романтизма здесь нет, ибо нет внутреннего противопостав-

* Разумеется, большинство художников представляют собой не чистые типы, но смешанные, где возможности той или иной стороны мерцательно приоткрыты и волнующе желанны, где соблазн попеременно идет от обоих источников, создавая вполне специфическое томление и хаос Промежутка. Почти в каждом крупном художнике нового времени похоронен «дзэнский» человек внутри «христианского» человека, либо же наоборот. Отсюда-то и неразрешимость, метафизическая глубинность, почти неизъяснимость внутреннего противоречия, изливающегося на нас неиссякаемым потоком Художественной Меланхолии, будь то творчество Рихарда Вагнера, Марселя Пруста, Роберта Музиля, Анны Ахматовой, Иосифа Бродского или Андрея Тарковского... Список бесконечен.

** Уже почти два века эта странная пушкинская черта шокирует многих и многих. На так называемую «беспредметность» его романа в стихах обижались еще при жизни поэта. «Но Пушкин нарочно писал роман ни о чем», — Абрам Терц.

ления греха и чистоты, низа и верха: все чисто, все изначально чисто. И потому соитие может быть названо своим именем без унижения оно: оно чисто так же, как и сама поэзия «чудного мгновенья».

Пушкин не был романтиком, ибо душа его не знала принципиального разрыва между «идеалом» и «действительностью». Действительное и идеал являлись одновременно, мерцая в одном и том же мгновении. Оттого-то колоссальнейшая влюбчивость, одновременность, почти безразличие влюбленностей. Пушкин невероятно не привязан в своей любовной страсти. Можно подумать, что он любит всех хороших (прекрасных) женщин сразу. Но это так и есть. Как в одной травинке поэт прозревает свойства космической гибкости, так в одной женщине поэт любит женственность как таковую. (Ср. цветаевское: «О, как я люблю любить!»)

Никто, вероятно, не пользовался такой посмертной любовью у женщин, как Дон Жуан, а в более «реальной» действительности — Казанова и Пушкин. Ибо все они любили искренне, но не были замкнуты на одно лицо; их любовь, простираясь на всю сферу вечно женственного, выходила далеко за рамки их эмпирической жизни, так что и современные женщины вполне могут самоощущать себя потенциальными объектами этой свободно льющейся любви. Воистину «мою любовь свободную, как море, вместесть не могут жизни берега...». Не оттого ли такая страстная, отнюдь не архивно-историческая влюбленность Цветаевой и в Казанову, и в Пушкина. Это вечные любовники, чья распахнутость в принципе не ограничена.

Но герой ошибается один раз. Так и Пушкин был неуязвим лишь до первой привязанности. Стоило ему погрузиться в традиционную любовь-привязанность (Наталья Гончарова), как внутренней его стихии — дзэнскому стилю — был нанесен сокрушительный удар. Пушкин своей беспамятной привязанностью к Натали, владением ею вступил в бесконечный конфликт с теми внутренними силами в себе, которые его до сих пор питали и хранили. В конечном счете дзэнскому человеку был нанесен смертельный удар: Пушкину ничего не оставалось, как сделать следующий шаг на пути к статуарности, сановности в том или ином ее виде. Пушкин поймал себя. Немедленно явился некто вроде вчерашнего двойника Пушкина — Дон Жуана: Дантес. И вот поэт уже вступает в смертельную схватку с самим собой вчерашним. Пушкин, до сих пор весело хохотавший над мужьями-рогносоцами, без устали наставлявший рога и легко, покушывая черешни, выходивший из дуэлей, наливается тяжелой и безысходной яростью мужа-ревнивца, в то время как вокруг хохочет толпа — Пушкин-вчерашний.

В одном смысле Пушкина убивает он сам. В другом — Пушкина убивает статуя, ибо Дантес — осколок сановного мира, своего рода двойник Николая: тот же рост, благообразие, большие светлые глаза, усы, та же величественность, близость к власти. Это, вообще говоря, Каменный гость, но в данное мгновение выступивший в роли Дон Жуана. Пушкин же, всегда бывший Дон Жуаном, вдруг становится Каменным гостем. Но поскольку он еще ненастоящий Каменный гость и уже ненастоящий Дон Жуан — он гибнет. Гибнет дзэнский человек. Нужен ли был Пушкин сам себе в качестве неизбывного Каменного гостя, в качестве лица, мечтающего втайне о сановном величии и благообразии? Нужен ли был Пушкин своей музе в качестве защищающегося от жизни, ищущего убежища?

Импровизируя свою жизнь соответственно ритмам ее самой, Пушкин однажды отступил от этой спонтанности, устремившись к идеалу. Но жизненность приходит в упадок, как только позволяет начать хозяйничать в себе идеалам.

Многозначительна такая история: «Дядя Ириной часто ездил к Инзову в дом. Инзов просил дядю, чтоб он почаще беседовал с Пушкиным и наставлял его. Раз, в страстную пятницу, входит дядя в комнату Пушкина, а он сидит и что-то читает. «Чем это вы занимаетесь?» — спросил его дядя, поздоровавшись. «Да вот читаю историю одной особы», — или нет, помню, еще не так он сказал, не особы, а «читаю, — говорит, — историю одной статуи». (Да, именно так передавала этот факт П. В. Дыдицкая. В продолжение трех лет, через длинные промежутки, я все просил ее повторить тот рассказ, и она все говорила одно: «Историю одной статуи». Что хотел выразить этим Пушкин?) Дядя посмотрел на книгу, а это было Евангелие! Дядя очень вспылил и рассердился. «Как вы смеете это говорить? Вы безбожник. Я на вас сейчас бумагу подам!» На другой день Пушкин приезжает в семинарию и ко мне... «Зачем же вы, — говорю, — так нехорошо сделали?» «Да так, — говорит, — само как-то с языка слетело». (Из заметок В. Яковлева.)

Историю Иисуса Христа, изложенную Евангелиями, 23-летний Пушкин воспринял как историю Статуи. Слово это вырвалось у него нечаянно, необдуманно, спонтанно. Оно выглянуло по контрасту с самим собой — крайне антистатуарным. Затем у Пушкина эта статуарность будет выплывать в разных образах: Каменный гость как антипод Дон Жуана* (князь Воронцов, по всем описаниям, — прекрасная статуя, Пушкин же по отношению к княгине Воронцовой — своего рода Дон Жуан), Скупой рыцарь — это статуя скупости, даже и Ленский статуарен: он раб своей о себе концепции... Онегин непредсказуемее и тем для Пушкина интереснее.

Вот что вспоминает Станислав Моравский, друг Мицкевича, не раз встречавшийся с Пушкиным и наблюдавший его вполне невовлеченно: «Манер у него не было никаких. Вообще держал он себя так, что я никогда бы не догадался, что это Пушкин, что это дворянин древнего рода». Вот именно: манер никаких. А какие манеры могут быть у маленького ребенка?

А эта страсть к переодеваниям (в бытовом поведении и в творчестве), то есть к непрерывному слову некоего статуарного своего имиджа, страстное нежелание превращаться в статую (а как только сочинил «Памятник», то почти сразу был убит — «нарвался на смерть, как на мину»), убегание от самоотождествления, эти игры в порнографические стихи — словно выливаемые на приятелей ушаты ледяной воды, это вечное сочетание серафической утонченности чувств и грубости выражений — что это все значит? Куда устремлялась пушкинская ментальность, которой ничуть не грозили ни ученость, ни многознайство, ни должность тайного советника? Его сознание устремлялось в чистый праздник игры, и чувство греха, громадного и неизбывного, не давило камнем его душу, как душу Гоголя, Толстого или Достоевского. Пушкин — это наш русский праздник дзэн.

5

Пушкинский дух чань попытаюсь проиллюстрировать тремя стихотворениями, приоткрывающими словно бы три разных ипостаси чаньского умонастроения.

Первое стихотворение — «Туча». Одновременность восторга перед конкретностью того, что совершается у поэта на глазах, и тотального отвержения: «Одна ты наводишь унылую тень, Одна ты печалишь ликующий день».

Довольно, сокройся! Пора миновалась,
Земля освежилась, и буря промчалась,
И ветер, лаская листочки древес,
Тебя с успокоенных гонит небес.

Эта легкость встречи и прощания, одновременный восторг и перед тем, и перед этим (как перед рождением и смертью — в другом случае). Эта опьяненность джазовостью бытия, его неостановимостью, его изначально не изреченной импульсивностью. На маленьком пространстве «туча» и обласкана, и отвергнута, и вознесена, и забыта. Все здесь слито в едином мифологическом синтезе: и меланхолия, и подъем, и странная задумчивость, и всерастворенность. И надо всем — великий покой. В сущности, как-то «понять» это стихотворение невозможно. «Понято» оно не может быть так же, как, скажем, стихотворение Мандельштама «Я слово позабыл, что я хотел сказать...» («Ласточка»).

«На холмах Грузии...» Образец дзэнской религиозности. Печаль здесь именно светла. «Унынья моего Ничто не мучит, не тревожит...» Глубина невинности покоится на ощущении изначальной «пустотности» человеческой природы. И венчает стихотворение ключевая для Пушкина фраза: «...Что не любить оно не может». Отчего же «печаль светла», отчего «грустно и легко», отчего унынье не переходит в грызущую меланхолию? Да оттого, что любовь у Пушкина еще не собственническая, что Пушкин не привязан к предмету любви. Его любовь скользит и касается всего, на что упадет взор. Сердце дзэнского поэта «не любить не может».

И потому в «Калмычке»: «Друзья! не все ль одно и то же: Забыться праздно душой В блестящей зале, в модной ложе, Или в кибитке кочевой?» Именно — все равно, ибо все — блаженство. «К привычкам бытия вновь чувствую любовь: Чредой слетает сон, чредой находит голод...» Именно так, как учил великий Линьцзы: «Дхарма Будды не нуждается в специальной практике. Чтобы постичь ее, необходимо лишь обыденное не-деяние: испражнитесь и мочитесь, носите свою обычную

* Не аналогичен ли в каком-то смысле пушкинский донжуанизм той «священной проституции», о которой размышляет В. Розанов?

одежду и ешьте свою обычную пищу, а когда устанете — ложитесь спать. Глупый будет смеяться надо мной, но умный поймет!»

В известнейшем стихотворении «Не дай мне Бог сойти с ума...» прорывается тоска Пушкина по тому первоосновному, изначальному состоянию человека, когда он еще был «без-умен», то есть не впал в соблазн «умствований», иначе говоря, в «разум».

Когда б оставили меня
На воле, как бы резво я
Пустился в темный лес!
Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
Нестройных, чудных грез.

И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья полн,
В пустые небеса
И силен, волен был бы я,
Как вихорь, роющий поля,
Ломающий леса.

Да это же вся программа мифологического рая, еще не умерщвленного рациональными схемами! Именно так: «расстаться с разумом», чтобы «пуститьсь в темный лес». Чтобы «петь в пламенном бреду», «заслушиваться волн», «глядеть в пустые (то есть никак рационально не обозначенные, не вписанные ни в какую знаковую систему, чистые) небеса»! Вот оно, одно из тайных влечений природы Пушкина: «сойти с ума»!

«Да вот беда: сойди с ума, И страшен будешь, как чума, Как раз тебя запрут...» Лишь в этом все дело. А иначе бы...

Как учил Бодхидхарма, отвечая на вопрос, в чем смысл святой истины: «Простор открыт — ничего святого».

Воды глубокие
Плавно текут.
Люди премудрые
Тихо живут.

Написано в то же время, что и стихотворение о безумии.

6

Пушкин — самый нехимеричный из русских писателей. Химеричность вошла в русскую жизнь после Пушкина. Пушкин обладал секретом спонтанного переживания реальности. Химеры умственных построений не мучали его. Странно, что он не почувствовал будущей химеричности Гоголя, в «Вечерах...» которого его восхитила расковывающая стихия хохота. Лермонтов — весь из острых углов мрака и света. Но эталон разорванности — Гоголь, омраченный в жизни и ослепительно-раскованный в творчестве.

Можно сказать, что вместе с Пушкиным в русскую литературу впервые и единственный раз вошла стихия детства. Пушкин — вечное дитя, само его отношение к эросу, для многих загадочное, — это суперэротизм отрока, который живет захлеб и зачарованно, порой настолько сливаясь в своих ощущениях с объектом, что не различает, где кончается объект и начинается «я». Сама обида Пушкина на Дантеса, смертельность этой обиды есть обида ребенка, которого невозможно утешить, раз у него украли любимую игрушку. И здесь Цветаева совершенно права: Натали — кукла, прекрасная, чудесная игрушка! Но: игрушка для ребенка — нечто бесконечно более значительное, нежели для взрослого живой человек! (Ср. у Рильке: «Лучше кукла, чем не вполне содержательная маска»).

После Пушкина пошла *взрослая* озабоченность, прагматизм, серьезность «разрешения проблем». Мир терял свою могучую намагниченность исконным мифологизмом.

Пушкин — менее всего интеллектуал, все попытки сделать из него «серьезного дядю», исторического мыслителя — в высшей степени нелепы*. Ребенок, даже самый высоколобый, не может быть интеллектуалом, не может мыслить концепциями-приговорами, умерщвляющими живой поток созерцания-схватывания бытия.

* Свое понимание истории, свое ощущение истории Пушкин выразил всей суммой своих писаний, своих стихов; внутренним ритмом своих текстов Пушкин постиг «смысл истории». Пушкин не был и не мог быть «узким специалистом» ни в одной сфере: его «специальностью» была вся «сфера» бытия.

Вселенная, которая, выражаясь словами Рильке, всегда дитя, в равной мере не интеллектуальна и не рефлексивна, не одолеваема бесконечно сменяющимися концепциями. Вселенная интеллектуально невинна, хотя и хранит в себе безбрежность интеллектуальных форм.

Лишь в детстве-отрочестве так держатся за дружескую компанию, так самозабвенно отдаются самому процессу дружбы, «дружения» (процессу абсолютно бескорыстному, поскольку исключительно игровому), как Пушкин до самого конца держался за лицейский круг, ощущая это единение едва ли не мистически. Распад кружка и уход все новых и новых членов этой «игры» оказывал на поэта почти ошутимо смертоносное воздействие.

Жизнь с ее «серьезными» проблемами не стóбит и ломаного гроша рядом с ослепительной игрой непосредственного мифологизма, когда каждая вещь, каждый ракурс, каждый грамм вещества умопомрачительно сверкают метеоритно-ошеломительным, неправдоподобным праздником. Невозможно состыковать два эти мировосприятия. Это две абсолютно разных формы существования человеческого материала, человеческой ментальности. Кто такой адепт дзэн? Это взрослый, таинственным образом прозревший свою вечно-детскую природу, постигший эту детскость как *сакральный* модус сознания.

7

Пушкин не морален (как Жуковский), не аморален (как Лермонтов), он внеморален.

Что значат пушкинские слова о том, что «...меж детей ничтожных мира, Быть может, всех ничтожней он. Но лишь божественный глагол До слуха чуткого коснется, Душа поэта встрепенется...»? Не спонтанность ли? Не то ли, что сознание поэта принципиально ничем не отличается от сознания не-поэта: лишь этой вот свободой, громадной раскованностью, этой всекликаемостью, способностью *вдруг* отзваться и звучать?..

8

Пушкин — это некий Бодхисаттва нашей культуры, потому-то его земная жизнь, все ее подробности так для нас важны, важны как некий энергоноситель. Каждый жест и поворот головы мы ловим как некую ценность, ибо суть Пушкина — сам *процесс* (между тем ценность Тургенева или Достоевского для нас — почти исключительно в их словах, в писаниях); не столько слово пушкинское важно, сколько сам факт пушкинского бытия, пластика его пребывания в пространстве, присутствия его просветленности, его изначальной безгрешности. Потому-то Пушкин утонул в апокрифах. Апокрифы важнее текстов.

Почему именно о Пушкине ходит наибольшее число анекдотов? О самом «святом» для русского духа — наибольшее число анекдотов? Почему это не коробит? Почему подобное «снижение образа» не только не может повредить Пушкину, но словно бы что-то важное в нем схватывает? Да потому, что личность Пушкина находится в той плоскости, куда моралистике не добраться. Над Пушкиным смеяться можно, потому что он сам смеется тоже: Пушкин есть смех.

Пушкина читают мало. Его либо сразу, в детстве, с ходу выучивают наизусть, либо дышат им, даже не зная его. Пушкин принципиально не ассоциируется с православной церковью, ибо Пушкин внецерковен. Но он и не язычник: он — Бодхисаттва русской земли и ее литературной жизни.

Совершенно прав Вл. Соловьев, уличая Пушкина в нехристианскости: Пушкина в этом смысле исправить могла только пуля.

Стихийно стоя вне христианской традиции (христианская меланхолия входит в душу Пушкина лишь на заключительном этапе его пути), он навсегда остается одним из коренных столпов нашей культуры. Он — тот витамин, по которому тайно томится христианское сознание, обреченное на безнадежное подавление в себе «гения чистоты».

Пушкин внеморалистичен. Проза его совершенно «пуста», она прозрачна до такой степени, что не поддается никакой «интерпретации». Любые «интерпретации» Пушкина ложны. Именно по той причине обречены на поражение переводы Пушкина на другие языки: «пустоту», уловленную однажды спонтанно в формах случайно-языковых, невозможно интерпретировать, а ведь перевод и есть не что иное, как именно интерпретация. Невозможно интерпретировать спонтанность, прозрачность, безгрешность.

Пушкин мудр, не будучи мудрецом. Он соединяет бесконечные пары противоположностей: он повеса и хороший семьянин, он влюбчив и независим от женщин, он вертопрах и философ и т. д. и т. п.

Все попытки открыть секрет могучего влияния Пушкина и его величия через понятия «народности», «гуманности», «историчности» и проч. — смехотворны. Мощь влияния Пушкина именно в том, что он безыскусен и совершенно бессодержателен. «Бессодержательность» Пушкина — его величайшее достоинство, ибо таким образом Пушкину удалось схватить и выразить самое невыразимое — пустоту феноменального мира, мировую пустоту, если хотите. Поражает именно *пустота* пушкинских поэтических медитаций. О чем они? Совершенно неведомо. О чем «Туча»? Не о бессловесном ли, неопределимом *дао*? О чем «Бесы»? В чем смысл этого размытого стихийными играми пейзажа? И чем пленительно «Зимнее утро»? Не устрашающей ли детскостью, полным отсутствием *взрослого* содержания?

9

После выхода книги Абрама Терца (Андрея Синявского) «Прогулки с Пушкиным» стало невозможным произнести «пустота», «пустотность» в связи с именем Пушкина, чтобы не быть обвиненным чуть ли не в плагиате. Между тем это тот параметр закваски и творчества Пушкина, который издавна и постоянно-смушенно фиксировался, однако нигде не рассматривался «в лоб». Блуждания вокруг темы «Пушкин и пустота» имели место всегда. Всегда томил загадкой парадоксалистский феномен Пушкина: при громадности ощущаемого для нас всех его значения отсутствовало как раз то промышленное *громадное* содержание, которое нам как бы непременно следовало *изучать* и *интерпретировать*. Именно это «проблемное» содержание как-то таинственно всегда исчезало; улетучивалось, расплывалось меж пальцев. Огромное количество исследователей, поэтов, критиков восторгалось лютостью, «эхо»-сообразностью, всеокликаемостью, всеприсутствием, неслыханной прозрачностью внутреннего лика и творчества Пушкина (см., например, у Ю. Айхенвальда: «Проза его — венец словесной прозрачности»), однако все эти восторженные справедливые характеристики почему-то никак не сходились в один центр, в некий корень, который бы все объяснял, делал бы более или менее уяснимой тайну этой удивительной гармонии, более того — делал бы объяснимым, почему мы все уже почти двести лет так тянемся к Пушкину, так тоскуем по нему.

Вот почему феномен «дзэнской» пустотности Пушкина ставится мной во главу угла; потому что иначе все восторженные характеристики Пушкина превращаются в очередную, хотя и искреннюю, банальность.

«Сердце мудрого человека, при всей чуткости своей, невозмутимо...» — писал Чжуан-цзы. Так оно и есть: огромная подвижность чуткой «окликаемости» и при этом, под этим — фантастическое спокойствие, если хотите — равнодушие, отмечавшееся еще директором лица Е. Энгельгардтом. А вспомним знаменитое пушкинское «Дар напрасный, дар случайный...», вызвавшее в свое время довольно-таки наивную полемику. Со всем «дзэнским» простодушием Пушкин обнажил гениальную антиномичность своего бытия. С одной стороны, некто «Душу мне наполнил страстью, Ум сомненьем взволновал», а с другой — «Сердце пусто, празден ум...». Одновременность трепетной вовлеченности и глубочайшей отрешенности.

«Сердце мудрого человека, — продолжает Чжуанцзы, — зеркало земли и неба, оно — незамутненное отражение всего сущего. Пустотность, тишина, спокойствие, равенность, молчание, нереагирование — вот уровень неба и земли. Это — совершенное Дао. Покоясь, мудрецы сливаются с пустотностью всего мира»*. Однако этот ментальный феномен так называемой «неподвижной мудрости» вовсе не означает бесчувственности и окостенелости. Напротив. «Это означает высшую степень подвижности при сохранении неподвижного центра. В этом состоянии ум достигает величайшей степени живости и готовности направить свою энергию туда, куда нужно... Внутри есть нечто неподвижное, и оно спонтанно перемещается вместе с предметами, появляющимися перед ним. Зеркало мудрости мгновенно отражает эти предметы по мере их появления, но само остается незамутненным и неподвижным» (А. Уотс). Чем это не феномен Пушкина?

«Идеал дзэна состоит в том, чтобы постичь реальность, не испытывая затруднений интеллектуального, морального, ритуального и какого бы то ни было друго-

* Для буддиста подлинники вещей выявляют себя в Пустоте, посредством Пустоты, и нарабатывается человек на это невидимое «сердце мира» посредством внутреннего ритма.

го плана», — Д. Судзуки. Это к вопросу о сущности «реализма» Пушкина. К вопросу о непосредственном созерцании истины.

Пушкину потому и не нужны были сложные темы, интеллектуальные подходы, «проблемы» и т. п., что он потрясен был, был потрясаем и взволнован самым простым, близлежащим, наглядным, очевидным. Эта изумительность ощущения мира как своего собственного всеприсутствия (жить в вещи, чтобы таким образом понимать ее) превращала каждое прикосновение к мельчайшей детали в чудо. И та «каталогизация» мира, которую отмечает Абрам Терц, — это отнюдь не предчувствие постмодернизма, а прямо проникновение в блаженство произрастания. Ибо «я» и вещь — неотделимы. И реализм Пушкина, о котором сокрушался Терц, не имеет ничего общего с тем реализмом, по чьему пути покати́лась русская литература в дальнейшем. Реализм Пушкина — это тот прорыв Реальности, который только один чего-либо и стоит; это, если хотите, именно «дзэнский» реализм: в дзэн есть метод «прямого действия», «прямого указания» на что-то, и цель его — разорвать кружение сознания в символических представлениях о своем «я» и «ткнуть нас носом прямо в реальность» (Уотс), в *таковость*, в «*вот оно!*». Пушкин и действует в рамках этой методики: прямоком отсылает нас к *беспокровной* реальности, к голлизне вещей.

Зрелый Пушкин — не романтик и не реалист, его творчество — «дзэнский» вариант русской ментальности, чистое языковое действие, ясное и простое, как удар клинка.

Пушкин не загружает нас никаким определенным «содержанием», и это самое лучшее, что он мог бы сделать, ибо он непрерывно транслирует своими текстами чистую энергию (внеидеологическую и тем самым безупречно экологически праведную), излучает некую эссенцию «поэтичности». В этом и заключена вся чистая власть его воздействия, его родниковая сущность. Именно этим может быть объяснен тот факт, что Пушкин почитается нами как некий камертон, как сущность самой поэзии.

Пушкин — сакральный автор. Все это чувствуют, однако попытки объяснения этого феномена всегда были хаотичны и малоубедительны. В лучшем случае все объяснялось языком, созданием свободной, легкой речевой структуры. Все в конечном итоге сводится к словесной магии, то есть к специфически техническому дару, своего рода цирковому искусству того уровня, который однажды уникально счастливо был найден.

Ощущение сакральности текстов Пушкина (несмотря на то, что там, вообще говоря, нечего *трактовать* и *обсуждать*) позволяет публике вновь и вновь задавать наивные вопросы типа: «Можно ли нынче писать, как Пушкин?» За этим вопросом, конечно же, стоит плохо осознаваемая тоска по сакральной и одновременно внятно-прозрачной речи. По некой иконописи слова, где все просто и ясно, однако же неистошимо и неистошечно сакрально-таинственно.

Пушкин, как никто в русской литературе, говорил бытию «да!» И этим метафизическим, «бесосновным», ни на чем, ни на каких аргументах не возлежащим «да!» он отвергал подход к слову как к идеологическому инструменту. Пушкин противостоит нигилизму тотально и безаргументно; и в этом безупречная женственность, если хотите, софийность его позиции. И русскому духу, и русскому человеку он сказал свое трепетное, свое метафизическое «да!».

У Пушкина, конечно же, не было и не могло быть стремления к самоусовершенствованию, жажды *превращать* себя в кого-то.

«Когда жизнь пуста по отношению к прошлому и бесцельна по отношению к будущему, вакуум заполняется настоящим — тем настоящим, которое, как правило, в обычной жизни сводится до волосной линии, до доли секунды, когда ничего не успевает произойти» (Уотс). У Пушкина же как раз происходит громадное раздвижение этой «волосной линии». Кто, например, как он, умеет наслаждаться скукой, тоской, печалью?.. «Куда как весело! Вот вечер: вьюга воет; свеча темно горит; стесняясь, сердце ноет; По капле, медленно глотаю скуки яд...» А безупречно сакральное торжество презенса в «Зимнем утре»! А какое сгущенье актуального презенса в «Онегине!» Жизнь замедляется почти беспредельно, но отнюдь не искусственно, она замедляется, почти останавливается по методу, близкому той «остановке времени», ума и мира, которые происходят в традиционно-восточной чайной церемонии.

Есть чистое истечение бытия, и чистое (непредвзятое, не захлавленное «матрицами восприятия») сознание-внимание откликается ему, пьет его, как утоляет жажду у ручья путник.



Вячеслав КУРИЦЫН,
Алексей ПАРЩИКОВ

1 9 9 6

Привет, Слава!

Поскольку у меня быт иностранца, я думаю часто о переводе и переводчиках, о месте этого явления и о времени, о переводческих провокациях. Перевод — это динамика двойничества и промежутка. Я это чувствую, как Близнец. Перевод как промежуток. Двойственность. Целостность. Я скажу об этом в форме повествовательных притч, что ли.

Как-то шагая по надолбам зимней Москвы с тусовки на тусовку, мы с Юккой Маллинемом, финским переводчиком и поэтом, заговорили о непонимании нас мэтрами шестидесятых на всех континентах. Разговор шел в тоне закономерных преувеличений. «У нас разные конфликты», — сказал я. «Да, вы поэты рая», — ответил Юкка. «На медленном огне», — согласился я. Много раз позже, фильтруя этот момент и навязывая Данту образ интервьюера в Аду, представляя себе его дух, которому открылся бы «Ванинский порт», я вспоминал, что выпало на долю наших предков и как я летел до Океана треть суток над сплошным лесом, который мой дед семь лет валил на Байкале, а государство мне пудрило мозги, что нет бумаги, чтобы издать важные для меня книжки, и т. д., все это общеизвестно, и я понимал, что надо оставить в покое чужое достоинство. Покинем Ад, переберемся в Рай. В Раю наступает конфликт с вещами, не имеющими видимых причин, а только следствия, много превышающие порог восприятия. Песни «Рая» почти все начинаются с подробного описания космической механики и топологии, что в отрочестве мне казалось крчкотворством, мне хотелось добраться до интриги «он — она» — и все дела. Но с годами именно эти вступления обогатились месмерической притягательностью и драматизм Рая обнаружился в некой присущности реализму.

Лет десять назад, в районе моего тридцатилетия, моими поэтиками были «Монадология» Лейбница и статья Игоря Смирнова «Барокко и футуризм», поддерживающими меня, так сказать, спиритуально и историко-литературно, с разных флангов. Понять общий знаменатель этих вещей можно только в состоянии мохнатого аффекта, отвязанной радости, поэтому не буду объяснять. В Лейбнице был «мультипликационный» уровень описания, как выразился бы Кальпиди. Например, этот странствующий философ говорит: «Если мы вообразим себе машину, устройство которой производит мысль, чувство и восприятия, то можно будет представить ее себе в увеличенном виде с сохранением тех же отношений, так что можно будет входить в нее, как в мельницу». Здесь уже где-то поблизости Ерёменко, не так ли? И дальше — чуть ли не заповедь метареализма: «...совершенство есть не что иное, как величина положительной реальности, взятой в строгом смысле, без тех пределов или границ, которые заключаются в вещах, ею обладающих». Это уже голос в пользу Жданова и установки Аристова на «смутное» восприятие границ образа, и об этой смутности мне особенно нравится вычитывать у Лейбница. У него же было написано, что «действия и страдания между творениями взаимны». В приспособлении одного к другому возникает страдание, а в поисках коммуникации мы натываемся на двойничество, как самое простое. Полнота коммуникации часто по простоте душевной и оценивается как явление дубля. Этим двойничеством и рядами симметричных, мертвенных подобию и отпугивает среднего человека реализм в образах коммуникаций, — зеркало первым встречается на пути, но это поверхностное препятствие и надуманное даже. Двойник уничтожает границу вещи, поэтому виртуальные

подмены, которыми озабочены болтливые друзья Бодрийар и Верильо, я не воспринимаю как опустошение, а только как первый шаг к расширению, первый ответ формы на потенциальную энергию. Всегда в разговорах о приоритете симулякра или подмены как определения качества дизайна коммуникаций вижу двух симметрично хохочущих лошадей, глядящих друг другу в зубы.

Ну, хорошо, я слишком разматываю удочки не туда, и пора вернуться к литературе, которой порт приписки, если пользоваться средневековой классификацией миров, находится в зонах Чистилища или Лимба скорее — одним словом, там, где промежуток составляет динамическую очевидность. В Лимбе находятся личности, умершие до крещения, ветхозаветные отцы и те, чья вина по какой-либо причине не объявлена. Лимб — для патеров, младенцев и неопределенного контингента, думаю, что последние — поэты по преимуществу. Топос зоны мне неизвестен, и на памяти висит только описание Поля Валери, где он дает картину человеческого тела, видимого последовательно во все моменты его жизни, получается безумный поезд, хвост и голова которого теряются в горах, разделенных равниной, плетень жестов и положений (предполагаю, в стилистике роденовских «Ворот Ада»). Кофейно-шахматная атмосфера, рассеянный свет, погружение во внутренний диалог, порождающий время от времени и в зависимости от темперамента безадресные выступления. Это среда переводчиков, потенциально говорящих на всех языках и находящихся всегда только внутри одного непереводаемого текста. Переводческая стратегия, в смысле личной медитации, и не только, кажется мне сегодня очень эффективной для литератора, знающего об интертексте и о гипертексте.

Для меня совсем не существует критерия мастерства как точного перевода. В конце концов нельзя превращать перевод в законничество и довольствоваться правилами измерений, как известно, влекущих за собой уточнения, а это кошмар. Намечу две равностоящие и противоположные вершины перевода.

Перевод как чистая провокация для последующего произведения. Текст дает вилку, выбрасывая последующие формы. Это может быть переписывание, дописывание, производство римейка внутри одного лингвистического континиума. Например, пушкинские «Египетские ночи» по характеру построения и игре смыслов оказались созвучны современной литературе, точнее, ее постмодернистскому периоду со всей его стилевой разномастностью и допустимостью. Настолько выразительна загадка незавершенности пушкинского произведения, сама история написания его корпуса, конструктивно тянущая почти до настоящего времени и превращенная фактически в коллективное письмо интерпретаторов разных поколений и дарований, что всякое новое перечитывание этого великолепного наброска оставляет нашу фантазию ненасыщенной. Пушкинский отрывок повествует о легендарном прошлом, а текстуально продолжает строиться в будущем, и эта обратная связь уполномочена циркулировать по воле конкретного автора, жившего в своей суверенной действительности «на брегах Невы». Преломление этих конфликтов под пером В. Брюсова и М. Гофмана, проективное осмысление пушкинского материала Ю. Лотманом на примере анализа «Повестей из римской жизни» могут дать только примеры развития основных тем произведения. Пушкин использует для столкновения идей петербургскую сцену, Брюсов — образы стиля «модерн», пускаясь в стилизацию, Гофман вводит мелодраматический детективный элемент эпохи кино, Лотман — операционные модели культурологических ассоциаций. Такую работу в целом я бы назвал переводческой, от стиля к стилю, от модели к модели.

Есть в переводчестве и другой феномен, не оставляющий следов на бумаге. Это когда вы действительно хотите именно перевести и натываетесь как бы на физиологическое отторжение, на невозможность адекватата. Невозможность и является целью ваших медитаций, если хотите — противозелью. Такой перевод я называю carbon translation, именно по-английски, чтобы избежать русского слова «копирка» или понятия «копируемая бумага» («калька» не годится, хоть тоже «уголь» по-немецки), а цепляет понятие транспаративности, слишком философски обременительное), в которых фонетически заключено представление о копии, а это уже другая эстетическая и правовая категория, за ней идут и модели, и симулякры, и всякое такое, короче, объяснения по этому поводу нам нестати. Carbon — это термин химический, углерод, представляющий в нашем случае межъязыковую тьму, о которой мало что может сказать филолог, но в этом, естественном по ассоциации мандельштамовском грифеле активен образный поток, не остановленный словом, не продолженный речью, это голое струение воображения, чистый ответ переводчика-читателя на провокацию автора, а ведь в сознании автора была другая картина, иные краски и фигуративы, телесность, синкретичность и состояние духа. Я совсем не хочу подменить перевод чтением, у чтения — другой вектор и интенция. В пере-

воде важно зарождение состояния переносчика, оно и есть подлинное, оно возникает в промежутке или на границе. Тут в удовольствие выбрать из Валерия Подороги: «Эта граница — вибрирующая, постоянно меняющая свою линию напряжения, консистенцию, толщину, активность двух сред, совпадающих с ней (Внешнего и Внутреннего), — и есть промежуток жизни, который мы не в силах покинуть, пока живем, нечто, что всегда между, может быть, интервал, пауза, непреодолимая преграда, охранительный вал, а может быть, и дыра, разрез — тем не менее только здесь мы обретаем полноценное чувство жизни». Из всего этого следует, что не всегда хочется говорить только о вербальном переводе.

Известно, сколько дали исследования по переводу из звука в видеоряд. Так работы Копелева и Солженицына на шарашке в конце 40-х, начале 50-х фактически можно рассматривать как создание допотопного Интернета. Не буду преувеличивать, но скажу — модела, то есть его теперешнего прапрапра. Это описано и в «Утоли мои печали» у Копелева, и в «Круге первом». За решеткой шла работа над созданием речевых дешифраторов с целью защиты от прослушивания и децентрализации распространения сигнала по целям, по будущей кибернетической «паутине». Позднее эти дешифраторы стали называться модемами, а на серверах собирались воедино части сигналов, обтекающих весь земной шар по всем существующим линиям, что использовалось Пентагоном, крутившим подобные исследования и подарившим гражданскому миру в пользование Интернет, первоначально милитаристский. У Копелева и Солженицына не было еще компьютера, но был осциллограф, экран, они пользовались кодовой системой «Мозаика», дожившей до первых опытов эксплуатации Интернета. Отслаивание зрительного образа от вербального в киберпространстве создало виртуальность, которая сразу же напугала нас дублями, двойниками, словно мы были гуманоидами из палеолита, изгнанными духов из самодельных подобий, восковых и глиняных кукол, в надежде повлиять на оригинал.

Понятие Тела заменило понятие Знака — вот что произошло в конце восьмидесятых и катит по сей день. Гипертекст образует тело. Тело информации, чью площадь нельзя измерить, как длину береговой линии острова. Для меня всегда было два тела: космическое и мое. Космическое пришло с изучением школьной физики и рисовалось классическим цилиндром, имеющим устрашающие усечения. Это слово — «тело» — учитель физики произносил всегда напряженно и отдельно от всех других, иногда задерживаясь на «эль».

Ведь мы видели все вокруг воображением эпика, так складывалось наше дуктивное-индуктивное мышление. Например, однажды в Киеве на Теличке, в районе, что лежит вверх по Днепру за мостом Патона и Выдубецким монастырем барочного стиля, неподалеку от республиканского своза макулатуры, перемалываемой на рубероид, где я бродил часами и нашел оплошно собрание сочинений В. Жуковского и марксовское издание Тютчева, короче, решили выстроить очень высокую трубу и сделать на ней партийную надпись по ободку на самой верхушке, всего несколько букв, но таких больших, что всякий раз на круглой трубе с одной точки обзора можно было видеть только одну пятую одной какой-либо буквы, и для осуществления дела развесили по всему городу до самой Куренёвки пригласительные объявления: мол, всякий смельчак, кто возьмется писать на такой головокругительной высоте, получит денег — на две легковые машины хватит. Двое назвавшихся за неделю исполнили задание, и весь город с разных холмов следил за ходом нелегкой работы и эмоционально реагировал по ходу появления надписи. Люди перезванивались из разных районов по кругу и докладывали, какая литера уже видна из ихнего пункта. Наконец маляры завершили дело и для понта под занавес, понимая свою популярность в народе, прошлись по торцу трубной стенки толщиной в три кирпича, а поскольку они на радостях не пристегнулись и были нервно не уравновешены, их так и затянуло в трубу, куда они попадали и разбились насмерть.

Это понятно, но вечерние газеты описывали происшествие с космической точки зрения. Автор заметки утверждал, что маляры умерли еще до того, как долетели до дна трубы, — их тела разбились о стены во время падения. Естественно, труба покоится на Земле, которая вращается, и тела, находящиеся в длинном свободном падении, рассуждал журналист, естественно, опять-таки дождалась, пока стена трубы вместе с планетой не нагнала их, мчащихся вниз по справедливо отвесной траектории. Угол сместился, и — бац! — все дела. Подобным образом вращение Земли демонстрировал Фуко со своим маятником, и этот маятник по сей день запускают в Лавре, и все заканчивалось в упомянутой заметке какими-то эталонами, хранящимися где-то «в Севре близ Парижа», что как-то неточно, если речь идет об

эталонах, где ирония неуместна, и Севр, куда нельзя поехать без визы, додумывал читатель и мы, школьники, вместе с ним. В атмосфере такого чудовищного рода моделей мира и их описаний мы существовали и впитывали.

Умберто Эко, этот Брюсов времен «Огненного Ангела», но трезвее, постоянно обращается к школьному запасу. Очевидно, для среднего класса, который его так превозносит, неосновные предметы оказались в ностальгической перспективе детства чем-то вроде личного золотого века, заняли место эпоса — какая-нибудь география или факультативная физика с опасными опытами «на удивление». С возрастом школьные модели остаются последним островком доказательств существования неочевидного и попадают в план романтизированного интеллектуализма, который почти уже не встречается в возрасте создания обиходных карьер и репутаций. Лично меня тоже согревают самые параболические классификации как симуляции знаний, только я предпочитаю кластеры, сформированные по различиям, а не по сходствам, потому что вторые ниже достоинством. А вообще-то в начале этих умственных движений лежит уверенность в целесообразности мира, в которую я поверил, будучи еще студентом Сельскохозяйственной академии. Тот же Эко в «Острове предыдущего дня» пишет: «Чтобы выжить, ты должен рассказывать истории» (идея, явно услышанная от другого), — так я и постараюсь сделать в двух словах. Эпизод из агрожизни. Была у нас практика в южном хозяйстве в начале осени. Благодарить, пчела в маках, молоко, мотоцикл, девки, не думающие о деньгах, стада, а в частности — корова и бык семенной в два раза выше коровы, и после шланга он был снежного цвета, пока не замарывался. Практиковали мы искусственное осеменение и знали цену этому быку — таких генетически значимых скотин было несколько на всю область, и учитывался каждый грамм ихней спермы. Бык же проявлял такую радость при освоении коровы, такой ток лупил ему в голову, что проблема была в том, как его удержать при возлюбленной, пока он не вложит в нее все свое будущее до последней капли, а иначе он вырывался и, эмоциональный, выбежал, вращая глазами, в поля за горизонт и там пребывал уже в духовном единстве с ритмом природы, в музыке, плевать ему было на нас, зооинженеров, — он своей семенной жидкости не считает и расплескивает от страстности. Никогда не подумаешь так про него, — он стоит в сарае, на свои ресницы смотрит и ведет себе внутренний обмен веществ.

Для коренного решения проблемы существует крохотный сторож. Он заводит корову в станок, состроенный из узловатых пепельных дрынов с продольными трещинами от стояния не первый год под открытым небом, и закрепляет молодицу. Выводят быка с кольцом в носу, кипящего, красноглазого с длиннющим, живущим как бы своей жизнью органом. Быка отпускают, он немедля атакует и соединяется с коровой. Сторож выпивает водки, плюет на руки, ловит миг, когда быка начинает торопить происхождение видов и забирать, кидается между аплодирующими махинами, попадая в точности между телами, не боясь расплющиться. Он хватается быка за орган у основания, словно брошенный ему в ледяную пучину канат, и держит изо всех сил. Бык достигает долгого оргазма, излучается и, брыкаясь, уходит в состояние покоя на лужок, а сторож выпадает... Выпадает из чего? — вот вопрос. Маленький человек в стеганке как бы выпадает из полости, образованной кривыми тел животных — впадиной коровьего таза и лекальным животом быка, выпадает из некоей отворившейся раковины, из мандорлы. То есть я хочу сказать, что между быком и коровой образуется полость, вмещающая как раз щуплого сторожа, пространство, убежище, уготованное для его тела, для его миссии, для неслучайной жизни этого сторожа, чтобы сохранить его для нас, коровы, быка и себя самого.

Тогда я поверил в целесообразность и намеренность природы, усвоил, что так все и было задумано — одно для другого, что если все устроено так, что рождается сторож со специальным местом для осуществления судьбы, то это и есть провидение. Вернемся к тому месту, где сторож выпадает из полости, обнаруживая одновременно и себя, и полость, событие. Сторож сосредоточенно выпадает из растворившейся раковины, из мандорлы, которая остается уже сама по себе, как чистая форма от разъединившихся быка и коровы, двух сельскохозяйственных высочеств, но ни они, ни сторож уже ни при чем. Само пространство, задуманное и исполненное, трепещет и просеивается передо мной, как если бы это была свежая гипсовая маска, какую снимал с меня швейцарский художник Эрик Буслингер, поставленная на просушку, и я бы глядел на незнакомую изнанку своей запечатленной мины со стороны центра своего мозга, с изнанки, пока маска выгнулась бы мне навстречу и стала позитивной, выпуклой формой моего живого лица.

Алеша, привет!

Страницы твоего последнего письма были скреплены скрепкой, а не степлером, как раньше. Это глубоко верно. Вот и администрация нашего президента издала документ (он воспроизводился в «Итогах»), требующий не сцеплять бумажки, подаваемые президенту, степлером. Дескать, некрасиво и неудобно, мы президенту носим в кожаной папочке, а острую скрепку к тому же он может разомкнуть и заглотить. По схожей причине у заключенных отрезают пуговицы.

Кривулин рассказывал историю, как у него во время обыска нашли пачку карточек Рубинштейна. Гэбэшный чин долго крутил их в руках, вспоминая, какие же сложные названия имели те лекции, на которые он не ходил и на которых, очевидно, о чем-то таком и шла речь. В инструкции сказано, что считать самиздатом. В описании есть слово «сброшюрованные». То, что не сброшюровано, может являться листовками, но рубинштейновские откровения типа «Мама мыла раму» и «Это не ветер шумит. Чего ему, ветру, шуметь?» на листовки явно не тянут. Не зная, как отнестись к объекту, майор рывкнул: «Почему не сброшюровано?»

Нынче время несброшюрованной литературы. Тех же писем. В Москве событие: бизнесмен по фамилии Шарапов расставил по всему городу биг-борды с физиономией своей жены и текстом «Я тебя люблю». Высокая литература, и никакой брошюровки.

У меня завелся пейджер. Как средство коммуникации он мне, в общем, не нужен, но как игрушка ничего — пищит, показывает время, погоду, рассказывает, где пробки на дорогах. Больше это, конечно, игрушка для ребенка, которому приятно позвонить оператору, сказать текст, а потом, когда я приду домой, прочитать его на экранчике. Во-первых, читает. В мирной-то жизни он не читает — играет больше в компьютер и в телеприставку. Во-вторых, пишет. Сочиняет текст, просит потом не стирать его из памяти пейджера и, что самое любопытное, называет его, текст, стишком. «У меня вырвали зуб. Федя», «Приходил участков., проверял паспорта. Все в порядке. Федя», «У нас перегорела лампочка. Федя». Нажатием некоторых кнопок на корпусе пейджера можно добиться других текстов на экране: «У меня вырвали меню. Защита?», «У нас перегорела, удалить?» и «Я рад, что у тебя нет защиты?». Литература настоящего времени. Род текстов, умирающих естественной смертью: ненужные сообщения ты стираешь, одни стираешь сразу, другие хранишь несколько дней. Ура! Постмодернизм — культура добрая, милосердная, теплая: не выбирает брезгливо, что эпопеи и поэмы — литература, а стишок на пейджере — не-литература. Дескать, белые люди — люди, а всякие чучмеки — нелюди. Что письменность, то и литература.

Это все к тому, что было очень приятно получить от тебя под занавес нашей переписки письмо о том, что мир «целесообразен» и «целостен». Творение Божие целокупно и осмысленно, и высокое эхо отражается от скал, и ныряет солнечным зайчиком в бездну (бездна — имени Вани Жданова, который, кстати, отсидел тут с Вадиком Месяцем ночь в участке за то, что распевал на Павелецком вокзале русские песни), и выныривает обратно, и возносится к солнцу, и это нормально, как говорит все тот же поминаемый тобою Кальпиди.

Кальпиди мне недавно звонил: сделанная им антология уральской поэзии выйдет типа вот-вот. И подвижническая деятельность Кальпиди во славу русской поэзии тоже является доказательством осмысленности Творения. Кроме того, Кальпиди сообщил, что очередной номер «Несовременных записок» он собирается посвятить городским сумасшедшим. Их в уральских городах хватает (ты, например, помнишь Мокшу). Звонок от Кальпиди раздался в тот день, когда я начал сочинять статью о московских городских сумасшедших: от Василия Блаженного до Бренера с Куликом. Последние описываются не как художники, а просто как люди, которые вытворяют на улице Бог знает что, радуя глаз москвичей и гостей столицы, делая нашу жизнь ярче и интереснее. Это к той же самой теме: об отсутствии необходимости различать — скажем без обобщений, в конце одна тысяча девятьсот девяносто шестого года от рождества Христова — искусство и неискусство. А также, что особо приятно, нет необходимости различать творчество и потребление: существуешь себе в пространстве культуры, ходишь там, в ус дуешь или не дуешь, кубики с места на место перекладываешь за здорово живешь. Бытуешь. Плавно бытуешь.

Письмо запуталось, как заячья тропка, как линия судьбы, как осел в равновеликом сене, как голова в кустах. Темы откладываются, как яйца, как партии нефтяного и ледяного короля. Тема коров. Тема рождества Христова. Тема плавного бытования.

Тема коров. На заре нашей переписки, в начале года, нас волновала тема невинно умерщвляемых британских буренок, которых человек заразил мерзким вирусом, а теперь отправляет их на заклание. Кончается, кажется, эта история благополучно: коров не уничтожают, а отправляют на пенсию. К закату нашей переписки ты поднял тему физиологии коровы, доказывая тезис об осмысленности Божьего мира. Это очень благородно с твоей стороны. Я же рад тебе сообщить, что ученые уральской Академии наук изобрели в отчетном году новый тип мясной коровы, так называемую трехразовую корову. Когда животное достигает жирной кондиции, его не умерщвляют. С него лишь срезают мясо, а потом, в течение некоторого времени, кости вновь обрастают аппетитной плотью. С каждой коровы снимается по три урожая мяса. Ее так и не убивают — после третьего урожая она отправляется на пастбище престарелых коров, где спокойно завершает свои дни в аутентичном коллективе.

Тема рождества Христова. У меня дома Библия какого-то очень крутого издания, пять тысяч тонюсеньких страниц с множеством карт, протоколов, схем и таблиц. В ней утверждается, что согласно правильным исследованиям правильных ученых Христос родился не в нулевом году нашей эры, а в минус третьем. Что-то там в документах немножко перепуталось, но родился он за три года до своего рождества. И соответственно через год мир имеет возможность праздновать двухтысячелетие Иисуса Христа.

Тема плавного бытования. К концу года не только политическая ситуация в России стабилизировалась, но и в сердце моем стабилизация тоже произошла: мы сменили жилье, привезли одного ребенка и сидим себе тихо, получая, как говорят французы, удовольствие от текста. Я записался в писательской поликлинике на электрический массаж и простой массаж. От дома пешком до нее пятнадцать минут. Это даже не поликлиника, а так называемая «старая поликлиника» — там же, на Аэропорте, древнее помещение, в котором совсем уж остановилось время. Пустота, тишина. Литфондовские санитарки ведут себя правильно: больных записывают немного и большую часть дня проводят в беседах, в походах по ближайшим магазинам за творогом и сосисками. Посетители — главным образом старые писательницы и вдовы писателей из аэропортовского гнезда. Аппарат высокочастотной электротерапии, произведенный четверть века назад. Я ложусь животом на кушетку, головой ныряю в огромную литфондовскую подушку, санитарка, пользовавшая пиявками еще Константина Симонова, укрепляет на моей спине какие-то датчики, включает ток, спрашивает: много ли, не много ли? По телу начинают бегать, что ли, катоды с анодами, электричество приятно пощипывает кожу, электрическая кровь внутри тебя становится шустрее, но поступательное движение, кажется, замедляет. Ток меняют — он начинает идти волнами, упруго и бережно перебирая мышцы, жировые складки, распугивая заплутавших лейкоцитов. Сердце оплывает в электрическую корону, как муха в янтаре. На каком-то этапе всплывают неприятные ощущения, но ты тут же вываливаешься из сознания на подушку, и так потом странно вставать, столько в тебе вялости и плавности, что можно и остаться. Хотелось бы, чтобы смерть в свой срок явилась именно с этими ощущениями.

И если сделать это утром — а я так и делаю, — то весь день живешь со смещенной картинкой и с любопытством наблюдаешь весь день, как рука входит в воздух, как раздвинутые его края безжалостно схватываются тут же вокруг руки.

Особо правильно было бы после такой процедуры зайти к какому-нибудь праздному писателю — на Аэропорте друзей много — и пить с ним чай, и говорить о Вяземском, и потом брести домой по первому снежку (который в Москве — а пишу я эти строки в середине декабря — не то что никак не ляжет, а и моросить-то начал всего два-три раза), и занимать на диване позицию «Русский писатель». Во всей этой литфондовско-аэропортовской атмосфере есть эта великолепная неторопливость, аристократическая медлительность. Если я и имею какие-то претензии к постсоветской литературе, то только такие: она не может предложить своим рыцарям искомой плавности.

Ты упоминаешь в своем письме роман про первый круг. Я читал его совсем недавно, полгода назад. Там есть страницы, на которых эта шарашка описывается, как рай земной. Люди живут в тепле и относительной сытости, в достаточно хорошей интеллигентной компании, занимаются интересной работой. Их не волнует, что происходит за стенами, каково приходится там их женам и детям, кого там убивают и бьют, какие там существуют материальные, социальные и мало ли еще какие проблемы существуют у людей, живущих на воле, — их от всего этого оберегают всемогущие органы. Шарашка, между прочим, в нескольких минутах езды на троллейбусе, но очень надежно отделены тамошние люди как от московских огней

и радостей, так и от страшной московской жизни своих родственников, родственников врагов народа. В выходные дни (каковые там бывают) или долгими вечерами (сон не торопит: тебя ведь не погонят на лесоповал) эти люди предаются вольным философским беседам, и веет под старыми сводами дух чистой мысли,— Солж прямо так и пишет. Очень возвышенно пишет.

Собственно говоря, спокойствие стоит того, чтобы им овладеть.

Ох, у меня напоследок очень смешная новость. Мои екатеринбургские друзья затеяли в конце января «Дни В. Курицына в Екатеринбурге»: две художественные выставки, выставка в областной библиотеке моих книг-журналов-газет, три моих лекции, научная конференция про меня, два-три вечера моих друзей (Кулика привезем из Москвы, попрошу Сашу Верникова, еще кого-нибудь), каких-нибудь правительственных местных музыкантов, открытие фэн-клуба, открытки, значки... Затея вполне самодетельная, но, я думаю, все получится: я сам в нее активно включился и тоже ишу деньги на какие-то мероприятия.

Наша переписка заканчивается, грустно,— можно было бы, конечно, продолжить, но это уже неправильно по отношению к жанру, который был придуман на год. Всякая книга должна когда-нибудь кончаться. Хорошо, что людям прощаться необязательно: в будущем году мы непременно увидимся и в Москве, и в Германии, а может, и еще где-нибудь (я говорил тебе, что вписал нас обоих на какое-то гипотетическое варшавское мероприятие, кроме того, может, ты попробуешь выбраться в июне на биеннале в Венецию — в конце концов это не очень далеко). Мне кажется, что все у нас будет хорошо. И в России снова будет можно жить не только в Москве, и шахтеры не будут голодать, и толстые и тонкие журналы продолжают выходить, и Карпов обыграет Каспарова.

И всегда не хочется обрывать, всегда хочется длить последние строчки — предложить, скажем, написать в дополнение к существующим письмам еще по постскриптому, благо до конца года еще больше двух недель. По три странички текста в жанре: как я провел Рождество? Полагая под Рождеством двадцать пятое декабря.

Последнее. Была презентация десятого номера «Комментариев», я там выступал, говорил, что поскольку журнал московско-питерский, то надо помнить о наших братьях, живущих в городе на Неве, о том, как им тяжело, как закрываются бюджетные организации, где работают сотни тысяч интеллигентов, как метро у них стало ходить до полуночи, как их третируют москвичи... Но был у нас Пушкин, из-за которого у Москвы и Питера конфликтов нет, ибо это наш общий национальный гений. Надо было что-нибудь из Пушкина прочесть, и я вспомнил и прочел только одно:

Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца:
«Тятя, тятя, наши сети
Притащили мертвеца!»

Твой Слава



Роман ЯКОБСОН. ЯЗЫК И БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ. М., «Гнозис», 1996. 2000 экз.

Выпущенный к столетию со дня рождения одного из самых крупных лингвистов XX века Р. О. Якобсона сборник должен дать общее представление о вкладе ученого в мировую науку и показать направления, по которым развивалась его мысль. Разделы «Бессознательное и язык», «Поэтика», «Семиотика», «Структура языка» объединяют статьи в подавляющем большинстве впервые переведенные на русский язык. Особенно важна органичная связь разнородных исследований Якобсона и какая-то изначальная запрограммированность его жизни. В статье «О русском фольклоре» автор вспоминает: едва научившись писать, он уже собирал пословицы. А далее следует неожиданная в научном тексте самооценка: «...пословица — это наибольшая кодированная единица, возникающая в речи и, одновременно, самое короткое поэтическое сочинение. [...] Шестилетний мальчик, замороженный этими переходными формами между языком и поэзией, был обречен оставаться на распутье между лингвистикой и поэтикой».

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СУЕВЕРИЙ. М., «Локид» — «Миф», 1995. 25 000 экз.

В основу книги положена «Энциклопедия суеверий», составленная английскими исследователями Эдвином и Моной Рэдфорд и выпущенная в 1947 году. Само по себе это уже интересно, ибо даже на первый взгляд такие иррациональные вещи, как суеверия, на самом деле отражают духовную жизнь народа (в данном случае британцев). Русским издателям пришла в голову удачная мысль — дополнить английскую энциклопедию русскими суевериями, это и сделала сотрудница Института мировой литературы Е. В. Миненок. В результате видно, что, хотя культура каждого народа своеобразна, тем не менее она имеет многочисленные параллели в других культурах. К сожалению, русские дополнения, на которые не рассчитывали английские авторы, выглядят несколько чужеродными, несмотря на всю глубину и обширность использованного материала.

Белла АХМАДУЛИНА. ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ... Рассказы, эссе, воспоминания. СПб, «Пушкинский фонд», МСМХСХVI. [Б. т.]

Если поэзия Беллы Ахмадулиной пристально-повествовательна, то ее проза, как часто бывает, обретает качества стиха — она рассчитана на голос, едва ли не на чтение вслух. Этим можно объяснить, что наряду с рассказами и эссе в небольшой сборник включены устные выступления и даже речи памяти В. Ерофеева и П. Антокольского. Впрочем, и воспоминания о С. Чиковани, В. Шукшине, Б. Пастернаке, С. Параджанове или Л. Шепитько, не столько воспоминания, сколько поминания — так остра в них боль утраты, и все объединяет неповторимая ахмадулинская интонация. Также следует учесть, что книга, составленная и подготовленная О. П. Грушниковым, адресована тем, кому дорога русская культура в любом ее проявлении.

НЕИЗВЕСТНЫЙ МАРИЕНГОФ. Избранные стихи и поэмы 1916—1962 гг. СПб, Альманах «Петрополь», Фонд русской поэзии, Издательство «Лань», 1996. 5000 экз.

Такие фигуры, как Анатолий Борисович Мариенгоф, обвешены неким кругом таинственности. Становиться легендой еще при жизни трудно, и не менее трудно вместе с легендой еще при жизни тонуть в забвении. Мариенгоф канул, будто и не существовал. Почти не осталось брошюрок с громкими названиями «Витрина сердца», «Стихами чванствую», «Развратничая с вдохновением», «Кондитерская солнц». Сейчас они, собранные под одной обложкой вместе с неизданными стихами разных лет, извлеченными из архивов, подтверждают: Мариенгофа-поэта не было (что бы ни твердил в развязном и смутном послесловии составитель). К счастью, был Мариенгоф-мемуарист, Мариенгоф-человек, но это — иное. Порой самые авангардные поэты в конце жизни приходят к простому и внятному слову. В данном случае не так: редко-редко среди странно косных, почти неумелых стихов прозвучит трогательная интонация, послышится внятный человеческий голос, как, например, в обращении к любимой жене, обращении, подводящем итоги:

С тобою, нежная подруга
И верный друг,
Как цирковые лошади по кругу
Мы проскакали жизни круг.

Юрий ЛЕВИН. Комментарий к поэме «Москва — Петушки» Венедикта Ерофеева. Грац, 1996. 1000 экз.

Комментарий написан известным семиотиком по просьбе слависта Хайнриха Пфандля и рассчитан на «тех, кто достаточно хорошо читает по-русски, но для кого русский язык и русская культура не являются родными». По величине комментарий почти равен знаменитой поэме Вен. Ерофеева. Хотя российские реалии, подтексты и аллюзии (особенно обильные библейские и, как ни странно, из произведений Достоевского) раскрыты с большой полнотой, по-

степенно создается впечатление, что работа, проделанная комментатором, скорее пародия, чем подлинный научный труд. Объяснения, что такое зубровка или зверобой, соседствующие с отсылками на евангелия от Матфея и Марка, рождают бурный смех у тех, для кого русский язык и культура все-таки являются родными.

МОСКВА АЛЕКСЕЯ РЕМИЗОВА. Автобиографическая проза. Рассказы. Сны. Исторические были-небыли. Встречи. Московские легенды. Взвихренная Русь. М., «Кстати», 1996. 5000 экз.

Важен не столько сам материал — в сборник вошли фрагменты из хорошо известных ремизовских книг «Подстриженными глазами», «Взвихренная Русь», «Пляшущий демон», — сколько его подбор. Куски автобиографических сочинений, к которым добавлены несколько рассказов, опубликованных до революции, а также рассказ «Крестики» из книги, вышедшей в 1921 году в Ревеле, слагаются в своего рода мозаику, дающую представление о личности автора и о многоликой Москве — городе реальном, но преобретшем под пером Ремизова ирреальные, фантазмагорические черты.

Ганс Гейц ЭВЕРС. Альрауне. (История одного живого существа). СПб, «ИНА-ПРЕСС», 1995. 10 000 экз.

Трудно сказать, что более интересно — знаменитый роман Эверса, повествующий о рожденной от висельника и проститутки девушке Альрауне, или судьба романиста, начинавшего как модернист, совершенно независимого во мнениях, в тридцатые годы сотрудничавшего с нацистами и даже написавшего книгу о Хорсте Весселе, а в конце жизни не издаваемого автора, прежние книги которого были запрещены. Впрочем, даже для прочитавшего лишь этот роман Эверса станет ясно: взгляды автора естественно совпали со многими положениями нацистской доктрины. Главный герой — Франк Браун, считающий, что он может смеяться над мировым порядком, затеял противоестественный эксперимент: он вырастил Альрауне. Девушка, ассоциирующаяся с корнем мандрагоры, альрауном, и андрогином, сочетающая в себе как бы и мужские и женские черты, проходит по жизни путем зла, на ходу губя других, но, влюбившись, гибнет сама, потому что изменяет своей природе. В пространном послесловии Евг. Перемышлева предпринята попытка не только рассказать о жизни и творчестве Эверса, прозаика, сценариста, повлиявшего на пути развития мирового кинематографа, но и хотя бы отчасти проанализировать роман, раскрыть мерцающие в нем аллюзии. Исследователь приходит к неожиданному и многозначному выводу: роман «Альрауне» вырос в полемику с книгой Ф. де ла Мотта Фуке «Ундина», классическим произведением немецкой литературы.

СОВРЕМЕННОЕ ЗАРУБЕЖНОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины. Энциклопедический справочник. М., «Интрада», 1996. 3000 экз.

• Часть I посвящена «новой критике», структурализму, рецептивной эстетике, нарратологии и деконструктивизму, часть II — герменевтике, феноменологическим школам, мифологической критике, постмодернизму. Каждая часть снабжена пространной библиографией, в конце книги помещены указатели имен и терминов. Справочник такого рода появляется в нашей стране впервые. Если учесть, что всякий новый научный термин есть новое освоение мира, взгляд на него под особым углом зрения, а потому развитая терминологическая система является очередной картиной Вселенной, то понятно, сколько мы потеряли из-за того, что эти сведения долгое время были недоступны.

Лазарь Моисеевич КАГАНОВИЧ. ПАМЯТНЫЕ ЗАПИСКИ РАБОЧЕГО, КОММУНИСТА-БОЛЬШЕВИКА, ПРОФСОЮЗНОГО, ПАРТИЙНОГО И СОВЕТСКО-ГОСУДАРСТВЕННОГО РАБОТНИКА. М., «Вагриус», 1996. 15 000 экз.

В этой книге интересно скорее не содержание, а сам факт ее выхода. Более-менее подробно повествование о детских и юношеских годах постепенно переходит в беллетризованный и вовсе не беллетризованный краткий курс истории партии. Чтобы дать понятие о стилистике, а также о позиции автора, следует привести несколько строк, взятых почти наугад: «И никакие визгливые «москвичи», лающие сегодня на «слона», не снизят, не замажут великие заслуги верного ученика Ленина — Иосифа Виссарионовича Сталина в создании СССР и укреплении его могущества и мирового Величия». В приложении представлены письма, заметки, черновые наброски и даже отдельные мысли пламенного коммуниста, относящиеся к разным годам. Особое любопытство вызывает то, что автор называет себя иногда «я», иногда в третьем лице — товарищ Каганович.

Б. ФИЛЕВСКИЙ

Премии журнала «Октябрь» за 1996 год

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. **Маленькая волшебница.** Ку-
кольный роман (№ 1);
Простые и волшебные сказки (№ 4);
Непогибшая жизнь. Рассказы (№ 9).

Юнна МОРИЦ. **Бу и Гря.** Стихи (№ 5).

Специальная премия «Дебют»

Валерий БЫЛИНСКИЙ. **Июльское утро.** Повесть (№ 11).

Павел САНАЕВ. **Похороните меня за плинтусом.** Повесть
(№ 7).



Ю. Мориц



Л. Петрушевская



В. Былинский



П. Санаев

14 500 руб.

Индекс 73293